Николай Полотнянко

Жертва сладости немецкой

Ульяновск
2013

ББК 84 (2 Рос=Рус)
П. 52

Полотнянко Н.А. ЖЕРТВА СЛАДОСТИ НЕМЕЦКОЙ
Современный русский роман. — Ульяновск: Издательство ООО «Вектор-С», 2013 — 318 с.

Подьячий Посольского приказа Григорий Котошихин, автор одного из самых известных исторических и литературных памятников «О России в царствование Алексея Михайловича», изменил своему Отечеству, бежал в Швецию, где написал книгу «О России в царствование Алексея Михайловича…». За совершённое им вскоре убийство на бытовой почве был обезглавлен, и его скелет несколько десятков служил наглядным пособием для обучения студентов медицинского отделения Упсальского университета.

Трагическая судьба самого значительного русского летописца середины 17-го века почти не известна современным читателям. Она послужила автору основой для создания исторически верного и психологически точного романа.

© Полотнянко Н. А. 2013
© ООО «Вектор-С», оформление. 2013

Николай Полотнянко

Жертва сладости немецкой

Исторический роман

Ульяновск
2013

История России

История России необъятна.
Она как затонувший материк
Из толщи временной и невозвратной
Лишь иногда нам свой являет лик.

В ней — радость человеческого детства,
И горечь от несбывшихся надежд,
И подвиги, и подлые злодейства,
И наши мненья жалкие, невежд.

В ней наше всё — и радости, и беды,
Исканья правды и дурман идей,
Все смыслы руской жизни, все ответы,
Всё прошлое, всё будущее — в ней.

Сонм пращуров державных не попустит
Нам позабыть про свой святой исток.
Россия как река вливается всем устьем
В безмерный океан, чьё имя — Бог.

Глава первая

1

Встрельчатое окно царского терема из-за кремлёвской стены брызнул луч восходящего солнца, и комнатный стольник Голохвастов вопрошающе глянул на Алексея Михайловича, который, отложив в сторону гусиное перо, недовольно хмыкнул и поднялся с кресла:

— Гаси свечи да открой продух.

Великий государь был раздражён: речь, которую он хотел произнести сегодня на Ближней думе, никак не складывалась, слишком многое в ней нужно примирить из того, что было непримиримым. Шестой год шла война с поляками за Украину, в кровавую прю между славянами ввязалась Швеция и с ней сейчас после заключения Валиесарского перемирия шли трудные переговоры о перебежчиках и заключении полного мирного договора; не давали вздремнуть турки и крымские татары. Но больнее и обиднее ранили душу Алексея Михайловича низкие поступки тех, кого он числил среди людей к себе ближних. Не далее как два месяца назад сын валиесарского посла Войка Нащекин захватил важные государевы бумаги, казну и переметнулся к ляхам. И впору было великому государю заоглядываться, ожидая нового подвоха.

Стольник неловко загасил свечи, в комнате заприпахивало гарью, но Алексей Михайлович не осерчал:

— А ты, злодей, Федька, государя из его комнаты выжил! Сбегай к Ртищеву, пусть он вместе с царевичем идёт в сад.

В сенях на скамье сидели несколько бояр и окольничих. Завидев государя, они повалились в земном поклоне. Алексей Михайлович успел подхватить князя Одоевского.

— Подремли, Никита Иванович, ещё чуток, а я скоро буду.

Он прошёл через несколько покоев. Стоявший возле крайней двери стремянной стрелец открыл её, и царь оказался на пустом крыльце перед дворцовым садом. Сзади хлопнула дверь: догнавший государя комнатный стольник возложил на его плечи лёгкую, для межсезонных выходов, соболью шубу.

Затяжная и часто прерываемая морозными метелями весна 1660 года всего лишь две недели назад наконец-то взялась за своё хлопотное дело. И в несколько дней, как раз к Благовещенью, успела очистить Москву от грязного, превратившегося в стекловидную кашицу снега, наполнила все низменные места водой, и на Кремлёвском холме возле стен соборов, палат царского двора и изб приказов уже успели зазеленеть полоски гусиной травки, и вербы надо рвом подёрнулись цыплячьим пухом.

Дворцовый сад, огороженный решетчатым забором, был невелик и предназначался для гуляний царской семьи. За плодовыми деревьями и кустарниками ухаживал садовник, который, попирая коленами толченый кирпич дорожки, встретил царя рабьим поклоном.

— Что, Маркелыч, не забыл уговор? — весело сказал Алексей Михайлович.

— Как забыть! — всплеснул руками старик. — Записал на бумажку и отдал попу, и он мне сегодня напомнил.

— Вот послушай, Алёша, о чём мы с Маркелычем прошлой осенью уговорились, — сказал Алексей Михайлович сыну, который, поцеловав отцу руку, отступил к своему воспитателю, окольничему Ртищеву и, улыбаясь, глядел на садовника.

— Ты скворца в этом году слышал? — сказал Алексей Михайлович. — Конечно, не слышал и не видел. А они, должно быть, прилетели?

— Не все, но уже есть, — доложил садовник. — Главное, что твоя, государь, избушка занята.

— Ну и как? — нетерпеливо спросил царь. — Вернулись те самые, что и в прошлом году здесь жили?

— Не могу верно сказать, я ведь слепну, государь, день ото дня хуже вижу…

— Веди! — поторопил садовника Алексей Михайлович и оборотился к Ртищеву. — Я, Фёдор, прошлой осенью с Маркелычем побился об заклад, что весной прилетят в мою избушку те же самые скворушки, что там и жили. Вот и поглядим сейчас, кто оказался прав.

Государев кузовок, или скворечня, был, как и другие, расставленные на шестах по всему саду, резной избушкой с теремной, украшенной по краям узорчатыми балясинками, крышей и просторным перед летком крылечком, где было

нетесно миловаться птахам. Крылечко глядело на солнечную сторону, и на нём, сияя перламутром горловых и грудинных перьев, пошевеливая от усердия крылышками и раскрыв клювные щипчики, восторженно и самозабвенно изливал свою песню влюблённый скворец.

Алексей Михайлович умиленно вслушался в скворчиное, с самыми затейливыми коленцами и выкрутасами, пение и, наконец, уверенно произнес:

— Он, точно, он вернулся!

Маркелыч не сдержался и недоверчиво хмыкнул.

— Что, старый, не узнаёшь?

— Поди, его узнай, — сказал садовник. — Все они на один цвет — чёрные, как пережаренные шкварки.

— Да ты не только слеп, старик, но и глух! — взволновался Алексей Михайлович. — А ты, Алёша, слушай, слушай… Вот он сейчас закулыкал, а это ямской посвист, а это, внимай, ржание, вот и в червякову дудку заиграл. Я, Алёша, это сызмальства знаю. И ты, Маркелыч, мне не перечь, это тот самый скворец, что прошлым годом здесь жил. А где, Алёша, твоя скворчиная избушка?

— Вот она, с зелёной крышей! — оглядевшись, закричал царевич. — И мои скворцы вернулись!

Алексею Михайловичу радость сына было видеть утешно, он повлажневшим от прилива нежности взглядом посмотрел вслед царевичу и тихо промолвил:

— Я готов за сына тебя, Фёдор, пожаловать, чем пожелаешь.

— Счастлив тем же, чем и ты, великий государь, — поклонился Ртищев. — Царевич весел и здоров, это и есть для меня награда.

— Вон как выщелкивает! — восхитился Алексей Михайлович затейливой руладой вошедшего в раж скворца. — Надо будет завтра опять с утра его проведать. Рад бы в этом раю хоть до обедни пробыть, да людские грехи не пускают. Сейчас явятся дьяк Алмаз и подъячий Никифоров. Мы оба с тобой, Фёдор, оказались тетерями, обвёл нас Войка, похохатывает над нами в обнимку с панами. Я ему свои розмыслы по шведским и польским делам изустно и письменно доверил, то-то ляхам радость, а ты его на бегство деньгами снабдил.

— Виноват, промахнулся я с этим Войкой, — смущённо вымолвил Ртищев. — Я ведь ему и раньше деньги давал для передачи отцу на лифляндские дела, и всегда они были целы. Утрату этих денег я казне возмещу.

— И не вздумай! — запротестовал Алексей Михайлович. — Ты что, Фёдор, решил в этой беде лучше меня выглядеть? Вернёшь деньги и очистишься, а что прикажешь делать мне? Я ведь ему не деньги доверил, а державные тайны, мне моей глупости не исправить. Уважь, Фёдор, старого друга, побудь и ты со мной заодно в виновных: этим от меня людские укоризны отведёшь. Станут говорить, что Ртищев сбил с толку государя, а ты ведь не станешь оправдываться? Так что деньги не возвращай, что с воза упало, то пропало. Мне этого Войку безмерно жаль: сгубил свою душу страшным грехом — предательством. А каково его отцу Афанасию знать, что сыну предстоит вечно пребывать в аду? Ведь ему спасение верно заказано: многим православным из-за его предательства суждено сгинуть, а скольким, и посчитать нет мочи.

— Ужели и до такой беды может дойти дело? — вздрогнул Ртищев. — Может, и обойдётся?

— Одна надежда, что у поляков иной раз такое безурядье начинается, что оно почище нашей бестолочи бывает. Они хоть и рядом с немцами живут, да никак от них порядку не научатся. Дьяк Алмаз не зря явится, у него да у подьячего Никифорова должны быть новости из Лифляндии и Польши. Можешь отпустить Алёшу и пойти со мной.

Царевичу не хотелось расставаться с воспитателем, и он взял его под руку.

— Добро, — сказал Алексей Михайлович. — Загляни ко мне, Федя, как освободишься от занятий с Алёшей.

В царских сенях прибавилось сильных людей: бояр, окольничих, думных дворян. Появление великого государя заставило всех замолчать и склониться в поклоне. Алексей Михайлович взглядом отыскал высокорослого дьяка Посольского приказа Алмаза Иванова и кивком позвал его за собой.

— Отыщи Никифорова! — велел он комнатному стольнику. — Его, поди, затёрли на крыльце и не дают пройти в сени.

Хотя в саду было безветренно и светило солнце, руки у царя озябли, он подошёл к креслу, взял в охапку большого рыжего кота и устроил его у себя на коленях.

— Что, дьяк, невесел? — сказал Алексей Михайлович. — Или у тебя в Посольском приказе какой-нибудь подьячий своровал, как Войка Нащекин?

Алмаз удивлённо глянул на царя, но не смутился, ибо ведал, что тот был горазд на неожиданные и каверзные выпады.

— В Посольском приказе, великий государь, переметчиков нет, — поклонившись, ответил дьяк.

— Ты меня утешил, но я этих слов не слышал, — усмехнулся Алексей Михайлович. — Ради твоих заслуг это, заметь, делаю, чтобы не наказывать тебя двойной карой, если из твоих ребят кто-нибудь сворует и переметнётся, хотя бы к шведам. Кстати, есть ли вести об их новом короле?

— На шведский престол воссел молодой король Карл, по счёту одиннадцатый, — уверенным голосом произнёс Алмаз. — В межкоролевье, как тебе, великий государь, ведомо, все посольские и переговорные дела встали, послы начали отговариваться от утверждения Валиесарского договора тем, что им от нового короля нужна новая грамота, но дело явно не в грамоте.

— А в чём тогда? — настороженно глянул Алексей Михайлович.

— Есть сведения, что шведы вздумали с поляками замириться, отказаться от Валиесарского договора и потребовать для себя условий Столбовского мира.

— Стало быть, придётся отдать шведам все города на балтийском побережье, — нахмурился царь. — А эти известия верны?

— Они от моего человека в Стокгольме, — сказал дьяк. — До сей поры всегда подтверждались. О том же доносит наш доброжелатель из Кракова. Поляки не могут опомниться от радости после наших неудач в Малороссии, воспряли духом и желают мира со Швецией, чтобы всеми силами воевать с нами.

— Надо этому помешать! — воскликнул Алексей Михайлович и покраснел от гнева, но ещё больше от осознания той правды, что у него нет сил воспрепятствовать неблагоприятному развитию событий. Шведские и польские послы съехались в Оливе и спешили изо всех сил заключить мир, который сразу ставил Россию в заведомо проигрышное положение в отношениях с этими странами.

Шесть лет назад Переяславская рада единодушно высказалась за воссоединение Украины с Россией, а более чем сто тысяч не присутствовавших на раде казаков дали поручную запись, что они поддерживают это решение. Вскоре началась война между Россией и Речью Посполитой, которая была поначалу весьма

удачной для русских войск и казаков Богдана Хмельницкого. Были заняты в 1654 году города Дорогобуж, Рославль, Орша, Гомель, Могилев, Смоленск, Полоцк, Витебск, и поляки терпели одно за другим поражения. Однако в самый разгар русских успехов в войну вмешалась Швеция, занявшая значительную часть территории коренной Польши, включая Варшаву и Краков.

— Не поторопились ли мы в своё время объявить войну Швеции? — задумчиво промолвил Алексей Михайлович. — Помогли устоять Польше, а ведь желали другого — заиметь Лифляндию, а нет, так хотя бы добрую гавань в Финском заливе.

Дьяк Алмаз слова царя оставил без ответа. Замирение с Польшей в 1656 году было вызвано неразумным чаяньем Алексея Михайловича избраться на польский престол, что было немыслимым делом из-за непримиримого противостояния католицизма и православия. Русские войска одержали несколько побед над шведами в Ливонии и Курляндии, однако вскоре шведы добились успехов, и Москве пришлось срочно искать мира, заключение которого было осложнено Конотопским разгромом в 1659 году армии Трубецкого, учинённом крымскими татарами и казаками гетмана Выговского.

— Со Швецией нам надобен мир, — сказал Алексей Михайлович. — Я велю Прозоровскому добиваться от шведов вечного мира, только пусть у них выговорит, хоть за деньги, город или два на берегу моря.

— С Карлом нам надо мириться, — горячо согласился Алмаз. — Искать следует мира и с поляками, с тем, чтобы за нами осталась Слободская Украина.

— Мне ведомо, что ты радеешь за черкас, как за своих, — сказал государь. — Только не стоят они этого: на черкас надеяться никак невозможно, верить им нечего: как трость ветром колеблема, так и они — увидят выгоду или нужду и русскими головами помирятся с ляхами и татарами.

— Среди черкас измене подвержена большая часть старшин, что тянутся к панству и ляшскому своеволью, а православный народ держит нашу сторону. Украину нам отдавать нельзя, великий государь, ради православия. Балтийское море от нас никуда не денется, а черкас свои же полковники загонят в униатство, а это так усилит Польшу, что она может опять, как при Василии Шуйском, пойти на Москву.

— За скорейший мир со Швецией высказались все бояре Ближней думы, — сказал Алексей Михайлович. — Против мира мне много пишет Ордин-Нащекин, а он посол на переговорах со шведами. Я жду, что он попросит уволить его от этого дела. Размысли, кого можно будет отправить на замену Афанасию Лаврентиевичу.

— Шведы, пока стороной, но доносят, что думный дворянин подкуплен ляхами и стоит на их стороне, — осторожно сказал дьяк. — Шведский посол Бенгт Горн в открытую говорит, что Войка не сам бежал к полякам в Данцинг, а был направлен туда родителем.

— Ты силён в немецких хитростях, Алмаз, вот и разбирайся, где, правда, — сказал великий государь. — А я Афанасию Лаврентиевичу верю. А это, дьяк, мне важнее, чем даже правда. Шведы известные умельцы строить всякие гадости. Или ты забыл, как они меня Геростратом обозвали? Я тебе велел узнать, что это за некресть такая — Герострат?

— Проведал, великий государь, — услышав в голосе царя грозовые нотки, склонился дьяк. — Это ветхий грек, который жил во времена царя Соломона.

— И что он такое учудил, что меня шведы обругали его именем и воздвигли на православного государя злые бесчестья, хулы и укоризны?

— Сжёг языческий храм…

— И только-то! — после некоторого молчания воскликнул Алексей Михайлович. — В его деянии я не усматриваю ничего зазорного. Для лютеран шведов, чья вера недалеко ушла от язычества, сей Герострат может и тиран, а православный человек его поступок признает добрым.

— Истинно так, великий государь, — серьёзно произнёс Алмаз. — В Швецию послан гонец с требованием сжечь все, порочащие честь великого государя памфлеты.

— Что им твоё требование! — махнул рукой, напугав кота, лежавшего у него на коленях, Алексей Михайлович. — Они зачешутся, когда за бесчестие мы потребуем этак тысяч пятьсот ефимков. Жаль, что этого нельзя сделать: православный государь не вправе торговать своей честью.

— Можно было бы и миллион ефимков с них стянуть, — усмехнулся Алмаз.

— Впрочем, в сем деле есть большая для нас наука: от немцев можно всегда ожидать немыслимой пакости, на которую

не способны даже такие некрести как султан и хан. Турок и татарин не станут марать бумагу хулой на иноверного государя, а пойдут на него всей своей воинской силой. А немцы — ловкачи уязвить исподтишка, а потом заявить, что у них свобода, и каждый волен говорить и писать, что похочет. Может и мне поволить людишкам писать, что им прибредёт в головы?

— Страшусь, великий государь, что наши людишки кинутся не шведские порядки обличать, а свои, и выйдет великое в государстве нестроение,— сказал дьяк.— Тут за своими писарями в приказе не всегда углядишь.

— Ага! — весело воскликнул Алексей Михайлович.— Значит, я угадал, когда глянул на тебя сегодня в первый раз, что ты явился с дурной вестью. Ну, говори, что там стряслось? Или моё несчастье в грамотке, которую ты держишь в руке? Тогда читай!

— Сия грамота есть отписка послов о съездах со шведскими послами, но читать её немочно…

— Ну, не тяни, Алмаз, читай! — поторопил дьяка Алексей Михайлович.

— Не могу, великий государь! — вымолвил Алмаз Иванов.— В сей грамотке есть поношение твоего титула, великий государь.

— Ах, вот как! — построжел Алексей Михайлович.— Стало быть, не только шведы и поляки меня хулят, но и свои людишки.

— В сей грамоте, великий государь,— скорбно произнёс Алмаз,— в первом столбце, где надобно писать «великого государя», прописано «великого», а «государя» не написано.

— Ну и кто тот остолоп, что всё это сотворил?

— Молодой подьячий Гришка Котошихин,— осторожно произнёс дьяк.— Какую поволишь, великий государь, учинить над ним казнь?

Остережение государевой чести было первоочередным делом для всех служилых людей Московского государства. Считалось, что за государеву честь должно и умереть. В государевом титуле указывались пределы его власти, иногда из-за пропуска в титуле названия какой-нибудь местности случались крупные ссоры между государями, виновники предавались смерти. Однако здесь не было очевидного умысла на злодейство, и Алексей Михайлович снисходительно промолвил:

— Мне голова этого дурака не нужна. Читай дьяк мою отписку послам. Она у тебя, поди, готова?

Дьяк поклонился царю, откашлялся и развернул бумажный свиток.

— От царя великого князя Алексея Михайловича всея Великия Малыя и Белые России самодержца нашим великим и полномочным послам думскому дворянину и наместнику Шацкому Афанасию Лаврентиевичу Ордин — Нащекину со товарищи. К нам свейских послов с вами о съездах с листами свейских же послов прислан перевод. В отписке вашей в первом столбце прописано, где надобно написать нас «великого государя», и написано «великого», а «государя» не написано. И то вы учинили неостерегательно. И как к вам сия наша грамота придёт, впредь в отписках своих и делах, которые будут на письме, нашего великого государя наименование и честь писали с остерегательством, а вы, дьяки, вычитывали всякие письма сами не единожды и высматривали гораздо, чтоб впредь в наших письмах таких неосторожностей не было, а подьячему Гришке Котошихину, который тое отписку писал, велели б за то учинить наказание, бить батоги…

Алмаз скатал лист в трубку и низко поклонился царю, который в ответ благодушно улыбнулся, поскольку был доволен тем, как выполнена отписка: не только с обережением титула, но и души великого государя — он никогда не брал на себя греха, назначая казнь подданным, этим занималась Ближняя дума и высшие чины приказов. И в этом случае царь лишь указал бить Гришку «в батоги», но не определил тяжесть наказания, и теперь во власти посла Ордин — Нащекина было забить провинившегося подьячего до смерти или ограничиться несколькими лёгкими шлепами.

Комнатный стольник закрыл за Алмазом дверь на железный крюк и шмыгнул за тяжёлую, из лилового бархата, занавесь, но вскоре вернулся оттуда с подьячим приказа Тайных дел Никифоровым, который имел право заходить к царю через особые двери.

— Говори, Юшка,— хмуро промолвил царь.— Чем готов меня обрадовать, а то я, признаться, заскучал от худых вестей?

— Доброго, великий государь, и я не смог для тебя припасти, кроме правды. Думный дворянин пребывает в здравом уме и никому вида не подаёт, что с ним случилась такая беда. Твой

ответ он вычитал при мне, и на том месте, где написано, что ты, великий государь, не ставишь дурость сына его Войки в упрёк думному дворянину, залился слезами и поцеловал трижды твою грамоту.

— Ты передал ему мои слова, чтобы он об отъезде сына не печалился? — спросил царь. — Думает он о своём сыне промышлять, чтобы опростать его из Неметчины?

— Он мне не единожды говорил, что печали у него о сыне нет, и его не жаль, а жаль дела, и печаль его о том, что Войка, призрев государя неизреченную милость, своровал. Государевы десять тысяч рублей на возвращение сына он тратить не хочет, это дело думный дворянин положил на суд Божий, Войка за свою неправду и без того пропадёт, и будет судим судом Божьим.

— Говорил ли ты Афанасию о небытии сына на свете, поскольку тот увёз многие наши тайны врагам православия? — вопросил Алексей Михайлович, пристально вглядываясь в подьячего.

— По твоему слову, великий государь, я примерился к отцовским речам и не нашёл в них убийственного гнева на сына. Думный дворянин положился на суд Божий, и я решил, что не вправе ему мешать.

— Добро, раз так; будет нужда и Войка от нас не уйдёт, — промолвил Алексей Михайлович. — Не вызнал ли ты тех людишек, что отвратили Войку от материнского и отцовского и заразили его чужебесием?

— Таких долго искать не надо, великий государь, — помявшись, осторожно произнёс Никифоров. — Они с отроком всегда были рядом: хвалили всё немецкое, хаяли всё русское…

— Ну и кто же это такие? — вопросил, закипая гневом царь.

— Отец…

— Какой отец? — удивился Алексей Михайлович. — Афанасий?..

— Он — главное зло для своего сына, — сказал подьячий. — Он приучил его с младых лет смотреть с благоговением на Запад своими толками, что в тех государствах всё делается иначе и лучше, чем у нас. Думный дворянин, желая образовать сына знанием чужих языков, окружил его пленными поляками, а те постарались усилить в нём страсть к чужеземному, нелюбье

к своему, воспламенили хилый ум юнца рассказами о польской воле.

— Не лишнее ли ты, Юшка, клепаешь на Ордин-Нащекина? — подозрительно воззрился на подьячего Алексей Михайлович. — Ты же сам мне доносил в том году, что Афанасий велел бить сына батогами за обман латышей.

— Боюсь, что поздно думный дворянин принялся учить сына русскому ладу, — твёрдо ответствовал Никифоров. — Батоги ума Войке не прибавили, но озлили и ожесточили. Возможно, с той поры и он стал лелеять свой поганый умысел — уйти в Польшу с большим вредом для нас.

— Вот что, Юшка, — Алексей Михайлович приблизил к себе подьячего, прошептал ему в ухо. — Войка унёс от нас не только деньги и мои розмыслы о польских делах, но и посольские тайнописные таблицы, оттого вся переписка с послами может быть ведома полякам. Таблицы мы заменим, но ты всегда имей их в уме, чтобы не упустить, если где-то появятся их следы.

— Мне возвращаться в Ливонию, к послам? — спросил Никифоров, правильно истолковав слова царя.

— Можешь до Пасхи побыть в Москве, — разрешил Алексей Михайлович. — К тому времени будут готовы послам новые поручения. Подойди.

Никифоров приблизился к великому государю, и тот положил в просторную ладонь подьячего несколько золотых монет.

— Что бояре? — спросил Алексей Михайлович у комнатного стольника.

— Все здесь, кто в сенях, кто в Думной палате.

— Скажи им, чтоб не разбредались, — сказал Алексей Михайлович. — Я скоро буду.

Он взял со стольца тетрадь с черновиком речи, которую намеревался произнести перед Ближней думой, и, подойдя к окну, стал её вычитывать. Пробежав взглядом несколько строк, он недовольно поморщился и бросил тетрадь на столец. В окно светило молодое весеннее солнце, Алексей Михайлович подумал, что пришла пора промять свою соколиную охоту, от этой мысли сердце бывалого птичьего добытчика возожглось не единожды изведанным восторгом, какой он всегда испытывал, при виде сокола, бьющего лебедя влёт.

2

Думный дворянин, Лифляндский воевода и уже несколько лет как великий посол русского царя на переговорах о мире со Швецией Афанасий Лаврентиевич Ордин — Нащекин любому даже самому покойному коню предпочитал карету, чем иногда вызывал затаенные насмешки людей, глядевших на этот способ передвижения как неличащий воеводе пограничья, но он не смущался, а даже наоборот находил в карете много достоинств и всего лишь один недостаток: она иногда ломалась, на ухабах и яминах русского бездорожья не выдерживали ни оси, ни колеса. Зато в карете можно было и спать, и дремать, и думать, верхом на коне этого делать было нельзя, ну, разве что подремать и то с большим риском сверзиться на землю, а какие могут быть у всадника думы, когда его то и дело подбрасывает, подталкивает, трясёт и качает? Потому-то, наверно, среди кавалеристов много людей вспыльчивых и горячих, и мало рассудительных и спокойных.

У посла карета была свейской работы; хотя он душой лежал больше к полякам, но не мог не признать, что шведское рукомесло одно из лучших в Европе и уступает, разве что чуть-чуть, только английскому. То, что карета из западных стран, было видно и по тому, что пара краковых коней в неё были запряжены дышлом, а не в оглобли, о том же говорило искусство, с которым были выполнены кузов, с узорчатыми на обе стороны дверьми, и высокий облучок, на котором восседал кучер в красном кафтане. Внутри карета была обита телячьей кожей, а сидения уложены мягкими подушками в замшевых наволочках. Сопровождали посла конные стрельцы во главе с капитаном Иваном Репиным, а на облучке покачивался рядом с кучером подьячий Посольского приказа Григорий Котошихин, которого думный дворянин взял с собой в поездку для письменной работы и как свидетеля своих переговоров со шведским послом Бенгт Горном.

Карета русского посла ехала, покачиваясь, по мягкой песчаной дороге среди дубового редколесья, Афанасий Лаврентиевич поглядывал по сторонам, занятый разрешением непростой загадки, которую загадал ему свейский посол Бенгт Горн, приславший к русскому посту близ Гдова своего гонца с трубачом и депешей. Сие было удивительно, поскольку шведы

поначалу из-за своего бескоролевья, затем из-за переговорных шашней, начатых ими с поляками в прусской деревеньке Оливе, уклонялись от встреч с русскими послами, хотя те наседали на них с требованием закрепить перемирное соглашение в Валиесаре заключением мира. И вот вчера игра в прятки закончилась, в русском посольском стане депешу вычли, и по зрелому размышлению было решено ехать на встречу Ордин-Нащекину, собственно, это выяснилось сразу, когда стало ясно, что другой великий посол князь Прозоровский не горит желанием сражаться за эту честь с Лифляндским воеводой.

Весьма терпимый ко всему западному, Ордин-Нащекин неблагосклонно относился к шведам, предпочитая им поляков, в которых видел заблудившихся в католицизме кровных славянских родичей. Неприязнь к шведам у Афанасия Лаврентиевича была наследственной, с ними воевали его дед в Ливонскую войну и отец во времена Смуты, шведские войска то и дело разоряли Псковщину, где находилось поместное владение Ордин-Нащекиных, немало перетерпел и сам он от заносчивости и грубости шведов во времена своего воеводства в русских городах, которые находились в Лифляндии, но на исконно русских землях.

«К несчастью, у меня сейчас нет под рукой тридцатитысячного войска, как два года назад, когда шли переговоры в Валиесаре, — размышлял Афанасий Лаврентиевич, покачиваясь на мягких замшевых подушках. — Тогда, чуя русскую воинскую силу поблизости, Бенгт Горн был мягок в жестах и податлив в речах. Согласился, правда, поупрямившись, отдать русским три города на побережье, а это тебе не комар чихнул».

С той счастливой для Ордин-Нащекина поры прошло всего полтора года, но многое за это время переменилось. Вчера хорошо оплачиваемый доброжелатель доставил Афанасию Лаврентиевичу список с мирного договора, который заключили в Оливе Польша и Швеция. Пункт пятый договора гласил, что все земли, приобретённые Россией в войне, оставались за этими странами. Ордин-Нащекин срочно усадил в секретную палатку под крепкий караул подьячего Гришку Котошихина и переписанный им договор немедленно был отправлен в Москву на рассуждение великому государю и ближним боярам.

От нелёгких дум посла отвлекли крики, и он выглянул в окно кареты.

— Что стряслось?

— Шведские драгуны, — с облучка наклонился Котошихин. — Собираются проводить нас к своему стану.

Коляска спустилась в низину, где были развёрнуты несколько больших шатров и с два десятка жилых палаток. Над лагерем раздался звук сигнальной трубы, и послышалась барабанная трескотня: русскому послу оказывались принятые между народами Европы знаки внимания и почёта. Перед невысоким земляным валом в два ряда стояла рота пехотинцев, по обоим её краям находились по полусотне драгун на гнедых конях, а впереди всех стоял посол Бенгт Горн, за ним — посольские чины и несколько офицеров.

Лифляндский воевода, увидев великолепие встречи, нисколько сим не смутился, взял кожаный сундучок с бумагами, затем легко, ибо был скор на ногу, высунулся из коляски, ступил на траву левой ногой, повернулся вполоборота к встречающим. Бенгт Горн, видимо, уже решил, что московит сошёл на землю раньше его, и принялся слезать с коня, но когда швед уже опускался вниз, Ордин-Нащекин вскочил в коляску и вышел из неё после того, как шведский посол уже стоял на земле двумя ногами. Утвердив таким образом государеву честь, Афанасий Лаврентиевич бдительности не утратил: оба посла, приезжий и встречающий, были в головных уборах, но никто не спешил обнажить голову первым. Ордин-Нащекин, щупловатый, играя живыми глазами, оглядывал костистого и высокорослого шведа, в его усах и бороде пряталась язвительная улыбка. Наконец, Бенгт Горн, видимо, посчитал, что проявил достаточную выдержку и первым снял сверкнувший на солнце стальной шлем, над которым, играя всеми цветами радуги, закачалось петушиное перо.

Свейский посол всю жизнь прожил в Прибалтике и говорил по-русски довольно внятно:

— Будь здрав, Афанасий Лаврентиевич! Как жив — здоров великий государь Алексей Михайлович?

— Великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, — ответствовал с большой важностью русский посол, снимая бобровую шапку, — всея Великия, и Малыя, и Белые России самодержец благодаря Пресвятые Троицы жив — здоров и вельми печётся о том, чтобы между его православным царством и Шведским королевством наискорейше был заключён честный и справедливый мир.

За сим оба посла поклонились друг другу, и Бенгт Горн произнёс, делая широкий жест:

— Изволь, Афанасий Лаврентиевич, отдохнуть с дороги в гостевом шатре.

Красная ткань шатра делала всё внутри него сукровичным на цвет, это не понравилось Ордин-Нащекину, и он велел раздвинуть полог пошире, чтобы можно было любоваться нежарким и светлым, от просторного и безоблачного неба, майским днём. От шведского посла явился пристав с двумя солдатами, которые принесли для русского посла с его людьми еду и питье в судках, кувшинах и корзинах. Афанасий Лаврентиевич на подношения глянул мельком и велел капитану Репину раздать всё людям, а также выставить караул к его кожаному сундучку и к бумагам подьячего.

— Смотри, Иван, чтобы твои люди не разбредались по округе. Сдается мне, что мы здесь и на полдня не засидимся. Шведам не терпится сунуть мне под нос ведомую всему миру новость. Что ж, сдюжу, не впервой.

Услышав сии слова, Гришка Котошихин, разбиравший из своей укладки письменные снасти, поднял голову и вопросительно глянул на Ордин-Нащекина.

— Шведу хочется уязвить меня Оливским договором с поляками, другого дела для меня у него нет, — сказал Афанасий Лаврентиевич. — Бенгт Горн — генерал, и всегда норовит огорошить соперника какой-нибудь неожиданной пакостью. На съездах в Валиесаре от него много претерпел Прозоровский, швед ему все уши прожужжал тем, что я отбираю у князя Ивана Семёновича славу великого переговорщика.

— Стало быть, письменных дел сегодня может и не быть? — сказал Котошихин.

— Ты, Гришка, от меня далеко не отходи. Прислушивайся, вникай, что шведы между собой говорят. Ты шведский язык достойно изучил?

— Не совсем ещё, господине, наловчился в разговоре, а понимаю почти всё.

— А ты побольше промеж шведов бывай и в шведском письме набирайся толку, я ведь тебе не возбраняю ходить, куда тебе вздумается. Вот и пользуйся этим для дела.

Котошихин, и в самом деле, своей грамотностью, живым умом и тягой к знаниям выгодно отличался от большинства подьячих даже в Посольском приказе. Это углядел дьяк Алмаз Иванов,

и уже почти два года Гришка находился на посольской службе в Прибалтике, получал наградные и прибавку к жалованию, и до сего часа был весел, не ведая, что и над ним готова вот-вот разразиться беда.

Около полудня к русскому послу явился пристав и объявил, что шведский посол ждёт в переговорном шатре и готов с ним встретиться. Ордин-Нащекин был бережлив, и его парадный посольский кафтан покоился в мешке из кожи нерпы, откуда его извлёк слуга, встряхнул, освобождая от пыли, и водрузил на плечи господина. Афанасий Лаврентиевич потребовал ножницы английской работы и тщательно подстриг ногти, затем самым лучшим казанским мылом вымыл руки, за чистотой коих следил со всей тщательностью, и даже полировал пилкой и щёточкой свои крупные ногти.

Бенгт Горн тоже оболокся в парадное одеяние, где главным украшением был блестящий железный доспех на левое плечо, что весьма личило воинственно распущенным усам генерала и жестокому и пустому взгляду оловянных глаз. Он встретил русского посла возле переговорного шатра, они обменялись поклонами и прошли внутрь, где расположились в креслах напротив друг друга. Афанасий Лаврентиевич лениво поглядывал на Бенгт Горна, а тот тоже не торопился начать беседу, пока ему не поднесли бумагу.

«Без подсказки и шагу боится сделать», — усмехнулся про себя Ордин-Нащекин и решил заговорить первым, избрав для беседы довольно небрежный тон разговора.

— Господин посол! Последний раз мы съезжались в сентябре прошлого года, чтобы по повелениям наших государей промышлять о вечном мире между Россией и Швецией. Уповаю на то, что сегодня у нас не случайная встреча, где, кроме обмена любезностями, ничего существенного не бывает.

— В последние дни произошли важные события, — объявил генерал, — которые существенно продвинули переговоры о мире. Тем более, что я был в отъезде и прибыл только вчера.

— Благодарю вас, господин посол, — лукаво промолвил Ордин-Нащекин. — Вы открыли мне важную новость: оказывается мой товарищ в послах князь Прозоровский слеп, а я о сем и не догадывался.

Бенгт Горн недоуменно глянул на гостя, а к генералу кинулся чиновник, приданный для советов из рикскансцелярии, и приник к его красному уху.

— Не далее, как неделю назад, — невозмутимо промолвил Ордин-Нащекин, — князь Прозоровский поведал мне о том, что встретился с твоей милостью близ Нарвы и передал мне пожелание крепкого здоровья.

— Я был на съезде послов в Оливе и прибыл только вчера, — стараясь быть спокойным, произнёс Бенгт Горн. — Князь Прозоровский, наверно, крепко приложился к чарке, и ему я привиделся.

— Бог с ним, с Прозоровским, — усмехнулся Афанасий Лаврентиевич. — Сейчас важно, что мы сидим друг против друга и можем говорить честно и откровенно. Швеция, благодаря Богу, обрела короля, и больше нет препятствий к заключению мира. Во всяком случае, я их не вижу.

Ордин-Нащекин протянул руку, и Котошихин вложил в неё бумажный свиток, в котором были перечислены требования русской стороны. Бенгт Горн окинул тусклым взглядом русского посла, пожевал губами и сухо вымолвил:

— Моё правительство согласно на переговоры о мире, но с одним непременным условием: Валиесарские соглашения должны быть похерены. За основу должен быть взят Столбовский мирный договор 1617 года.

Подобный поворот беседы не стал для Афанасия Лаврентиевича неожиданностью: было бы глупостью надеться, что, заключив мир с Польшей, шведы удовольствуются условиями Валиесарского перемирия.

— Это, видимо, нужно понимать так, господин посол, что Балтийское побережье станет для России вновь недоступным? — сказал Ордин-Нащекин, устремив на Бенгт Горна немигающий взгляд.

— Именно так, господин посол! — заявил шведский генерал. — Об этом говорят инструкции, полученные мной из Стокгольма.

— Это неслыханно! — Ордин-Нащекин поднялся со стула. — Предлагаю сделать в заседании перерыв.

— Не возражаю! — с готовностью согласился Бенгт Горн, полагая, что он с лихвой отомстил Ордин-Нащекину за ту выходку, которую позволил себе московит в момент их встречи. Тогда генерал ступил на землю раньше, но теперь он его положит на обе лопатки, когда вручит ему для ознакомления перечень статей Оливского договора, чтобы московит слишком не возносился

в своих надеждах. Он кивнул чиновнику рикcканцелярии, и тот с поклоном вручил русскому послу дипломатический документ. Афанасий Лаврентиевич небрежно его принял, сунул в руки Гришке Котошихину и вышел из шатра.

Нельзя сказать, что он чувствовал себя спокойно: отмена Валиесарского соглашения стала, в первую очередь, ударом по Ордин-Нащекину, который считал его своим детищем. 1 декабря 1658 года, когда под всполохи пушечной пальбы, радостные крики и золотой звон чарок послами были утверждены статьи перемирного договора, пробил звёздный час для захудалого дворянина, в одночасье ставшего известным всей России и обретшего себе надёжного сомысленника и друга в царе Алексее Михайловиче, который в думном дворянине и Лифляндском воеводе открыл истинно христианскую душу, и в письмах доверял ему полностью, потому что ответные послания дышали неподдельной искренностью, боголюбием и ревностной заботой о благе для православного Отечества.

«Беда никогда не приходит одна,— вздохнул, взглядывая на тёмные лохматые тучи набежавшие с моря, Афанасий Лаврентиевич.— На сей раз две беды, да ещё разом: сначала Войка своровал, и тут же — мир шведов с поляками. Сейчас ликуют все мои недруги…»

Он обернулся на лёгкий шорох: капитан Репин расстелил на траве для воеводы волчью шкуру и стоял, ожидая приказаний. Шведы тоже вышли из переговорного шатра, и разожгли свои трубки с табачным зельем. Синий вонючий дым потянулся полосой в сторону русских стрельцов, и те поспешили от него в сторону. Ордин-Нащекин знал, что переговоры закончатся в ближайшие полчаса, поэтому не стал спешить и сел на волчий мех, отвернувшись от посольского стана.

Бенгт Горн поглядывал в его сторону с ликованием: наконец-то ему удалось прижать хитрого и упрямого московита к стенке, чего швед добивался уже давно, ещё со встреч многолетней давности по размежеванию границ. Генерал Горн не гнушался в борьбе с русским послом ничем, даже клеветническим обвинением в предательстве:

«… Нащекин теперь опять ищет доброму делу помешки, потому что с польским гетманом Гонсевским всегда в великой дружбе жил, как брат родной, и полякам норовил; в Варшаве на сейме знатные люди говорили, что они не боятся мира между

шведами и русскими, потому что есть человек, который этому миру помешает».

«Сейчас, кажется, пришёл его час,— подумал Афанасий Лаврентиевич.— Вон, каким долгоногим журавлём вышагивает, топорщит железное крыло доспеха, раздулся от спеси, но даст Бог, я его так уем, что не возрадуется! Со шведом я справлюсь, да как бы свои волки не съели, это надо же было придумать, что я в такой милости у Алексея Михайловича, в какой был Малюта Скуратов у Ивана Грозного».

От нелёгких розмыслов Афанасия Лаврентиевича отнял посольский подьячий, который слышно задышал рядом.

— Что, не терпится шведам предъявить нам свою пакость?

— На небо кивают,— доложил Гришка.— Говорят, что скоро дождь ливанёт.

— Большого дождя не будет,— сказал посол, вставая на ноги.— А ты ступай в гостевой шатёр, приберись там и будь готов к пути.

Шведы заметно устали ждать Ордин-Нащекина, а ещё больше долго чаемого ими часа торжества над скифами, осмелившимися сунуться в Европу через балтийское окно. Бенгт Горн приосанился и внушительно произнес:

— Господам русским великим послам следует поторопиться подтвердить условия Столбовского мира, чтобы ещё более не осложнить своё положение.

— Надеюсь, это не угроза? — ощетинился Ордин-Нащекин.

— Ни в коем случае,— ядовито вымолвил шведский посол.— С вами у нас перемирие, Россия воюет с Польшей и проигрывает: корпус Шереметьева в Белоруссии на грани разгрома, в Малороссии Трубецкой разбит наголову под Конотопом.

— Эти дела Швеции не касаются,— заметил Ордин-Нащекин и закусил губу; ему было известно, что это далеко не так, о чём, не скрывая удовольствия, и объявил Бенгт Горн:

— Согласно статьи пятой Оливского договора, все земли, приобретённые на Западе Россией, начиная с 1654 года, должны отойти Швеции и Речи Посполитой. Этот пункт есть альфа и омега наших взаимоотношений с московитами.

Афанасий Лаврентиевич с непроницаемым лицом выслушал шведского посла и поднялся со стула.

— Господин посол! — тщательно взвешивая слова, заявил Ордин-Нащекин.— Это известие я должен довести до сведения

великого государя, царя и великого князя Великия, и Малыя, и Белыя России Алексея Михайловича!

К своему посольскому стану Ордин-Нащекин подъезжал уже в сумерках. Хотя иного результата от встречи со шведским послом он не ожидал, на душе у него было тревожно и хмарно. Чтобы как-то взбодриться, он устроился в карете, как площадный подьячий: на шее чернильница, на коленях кожаный сундучок, на нём лист бумаги, в светце свеча. Не откладывая, он писал черновик письма с тем, чтобы завтра его перебелить и послать с нарочным в приказ Тайных дел для Алексея Михайловича:

— Теперь, пока перемирье со шведами не вышло, надобно скорее промышлять о мире с польским королем через посредство курфюста бранденбургского и герцога курляндского; с польским королем мир гораздо надобен, нужнее шведского, потому что пролились крови многие и уже время дать покой. А не уступивши черкас с польским королем мира не сыскать… С польским королем надо мириться в меру, чтобы поляки не искали потом случая нам отомстить. Если с польским королем мир заключен будет обидный, то он крепок не будет, потому что Польша и Литва не за морем. Причина к войне всегда найдется…

Объявив свои мысли, Афанасий Лаврентиевич очеркнул написанное и написал далее:

— Бьёт челом бедный беззаступный холоп Афонка Нащекин. Моя службишка Богу и тебе, великому государю, известна; за твое государево дело, не страшась никого, я со многими остудился, и за то на меня от твоих думных людей доклады с посяганием и из городов отписки со многими неправдами, и тем разрушаются твои, государевы дела, которые указано мне в Лифляндах делать; великому государю беспрестанно доносят печали через меня, беззаступного холопа твоего, и службишка моя до конца всеми ненавидима. Милосердный государь! Вели меня от посольства шведского отставить, чтоб тебе от многих людей докуки не было, чтоб не было злых переговоров и разрушения твоему делу из-за ненависти ко мне…

Закончив работу, Афанасий Лаврентиевич погасил свечу и выглянул из кареты. От близкой реки вокруг было туманно, костры на посольском стане указывали путь, скоро послышались голоса стрелецкой стражи, потянуло дымком и запахами рыбного варева. Карета остановилась возле палатки Ордин-Нащекина, он вышел из нее и сказал Котошихину:

— Меня что-то познабливает, я буду у себя, а ты, Гришка, ступай к Ивану Семёновичу и доложи ему обо всём, что видел и слышал.

Слуга кинулся возжечь в палатке свечу, но Афанасий Лаврентиевич его остановил, выпроводил вон, разделся и, поёживаясь от холодной сырости, нырнул под меховое одеяло. Он был ещё крепок телом, и дорога его мало утомила, но, закрыв глаза, явственно ощутил, как от обрушившихся на него несчастий устала и истомилась по вольному отдохновению его измученная неправдами и клеветами душа. Устремив свой взор внутрь себя, в сторону сердца, Ордин-Нащекин несколько раз прочёл Иисусову молитву, и его душа метнулась к самой острой своей боли, к Войке, чей образ, словно лицо утопленника из воды, всплыл перед отцом таким, каким тот его видел перед поездкой в Москву, после которой, обласканный царём и напутствуемый Ртищевым, он своровал изменой государю и Отечеству. Афанасию Лаврентиевичу вдруг уже другим привиделся сын, весёлый и хмельной, в окружении шляхтичей и ксендзов, и его сердце заледенело от ужаса: больше всего Ордин-Нащекина страшило, что Войка соблазнится латинством и станет католиком, или, что ещё хуже и отвратнее, сверзится в униатство — прибежище всех славянских предателей.

— Разве плохо я за ним приглядывал? — сокрушался, ёжась от озноба под одеялом, Афанасий Лаврентиевич.

3

Котошихин был достаточно опытным в обращении с сильными людьми подьячим, поэтому не поторопился показываться на глаза крутонравному князю Прозоровскому. Он осторожно, почти крадучись, подошёл к его палатке, присмотрелся, прислушался и убедился, что посол спит самым сторожким первым сном, нарушить который не решился бы ни один смельчак, даже стрелецкий капитан Иван Репин, имевший наградной трёхрублевый золотой на шапке за взятие Смоленска.

На цыпочках Гришка отступил от палатки и направился к большому костру, в свете которого метались людские тени. За весь день у него во рту, кроме ржаного, припахивающего плесенью сухаря, ничего не было, шведы, конечно, накормили бы

всех от пуза, но Ордин-Нащекин впал в такой гонор, что о совместной, неизбежно перешедшей в пирование, трапезе не могло быть и речи. Стрельцы вернулись домой голодными и сейчас, обступив котел, выскребали из него остатки варёного гороха. Подъячий сразу понял, что его обнесли с едой, и вернулся в свою палатку. Там он некоторое время полежал на мешке с соломой, покрытым попоной, затем запустил руку в тайное место и вынул оттуда кошелёк с деньгами. Его сосед по палатке вкусно посапывал, но Гришку в сон не тянуло, у него как у кота, была в первую половину ночи бессонница, которую он обычно тратил на выучивание шведских слов и чтение книг, но сегодня голод погнал его на промысел.

Опустив кошелёк за пазуху, Котошихин тенью выскользнул из палатки и, обойдя сторожей, подошёл к конскому двору, где прислушался, затем осторожно покрякал утицей. Из сторожки донеслись вначале кашель, а после простуженный голос конюха Савелия:

— За каким делом, человече, явился? Если овса похрумкать, так он у меня только для посольских коней.

Подьячий вышел на серебристую полосу лунной дорожки в сырой траве. Савелий его узнал и подхватился со своего соломенного лежбища.

— Чем услужить, Григорий Карпович?

— Оседлай коня и помалкивай! Подведёшь его к дороге. И не шуми, я тебя увижу.

Конюх уже давненько жил с посольскими людьми и был научен выполнять с первого слова всё, что они от него потребуют и, главное, помалкивать обо всём, что он видит и слышит. Подьячий был для него сильным человеком, ходившим непосредственно под государевыми послами, и Савелий, не мешкая, оседлал солового коня, который уже был испытан Котошихиным в неоднократных ночных вылазках. Мерин, узнав его, потянулся к руке мягкими тёплыми губами.

— Годи! Нет ничего,— сказал Гришка.— Вот доедем и получишь краюшку.

Конь ходко шёл по мягкой песчаной дороге, с обеих её сторон возвышался сумрачный ельник, из которого порой доносились звуки лесных обитателей, от которых всадник поёживался и теснее вжимался в седло. Однако страхи длились недолго, скоро дорога выбежала на пологий берег неширокой реки, где стояла большая изба и несколько дворовых построек, которые были

подняты от половодья на высокие дубовые столбы. Это была корчма, которую содержал старожил здешних мест еврей Исайка, прославившийся на всю литовскую округу Речи Посполитой тем, что выиграл в королевском суде тяжбу у богатого местного пана Цыбульского, и с той поры, когда речь вдруг заходила о нём, его стали называть: «Это тот самый Исайка». Прозвище прилепилось и к самой корчме, и, когда Гришка, оставив коня работнику, поднялся по лестнице и вошёл в избу, Исайка скоренько подошёл к нему и обрадовался, как брату:

— Добрый день, пан Григорий! У того самого Исайки есть, что выпить и чем закусить. Изволь пройти в панскую комнату.

Подьячий огляделся: в большом зале за дубовым столом на дубовых скамьях вокруг громадного жбана с пивом сидели мужики, латыши и русские, и, судя по замаслившимся лицам и громким речам, были веселы и довольны. Стараясь не споткнуться о комья засохшей грязи на полу, Котошихин знакомым путём подошёл к полуоткрытой двери комнаты для господ, заглянул в неё и возрадовался: за столом сидел его давний знакомец, купец из Нарвы Кузьма Овчинников, при каждой встрече угощавший подьячего от пуза и большой любитель потолковать с ним о государственных материях, особливо о всяких дипломатических новостях.

— Ба! Григорий Карпович! — воскликнул, подскочив со скамьи, Овчинников.— Давненько же мы не виделись, почитай с декабря позапрошлого года, когда в Валиесаре обмывали перемирие. Будь здоров, брат Григорий!

— Челом, Кузьма Афанасьевич! — почтительно произнёс Гришка, весьма уважавший купца за толстую мошну и щедрые застолья.

— Ну, и чем, Исайка, ты можешь угостить моего друга? — вопросил купец.

— Для него и для вашей милости у меня есть та самая водка и тот самый гусь, которыми я потчевал вашу милость.

Овчинников велел кочмарю принести ещё ветчины, капусты, моченых яблок и повернулся к подьячему.

— А ты, Григорий Карпович, что сегодня решил отпразновать?

— Не до праздников,— хмуро сказал подьячий.— Ездил с Ордин-Нащекиным к шведам, а там не до разносолов было. Вернулись сюда, а здесь уже и котлы зачищены. Вот пришлось в корчму тащиться.

— Так что ж мы стоим! — спохватился Овчинников. — Садись за стол, вот бери ломоть хлеба и накладывай ложкой лососевую икру, она, заметь, норвежского посола.

Упрашивать Гришку не пришлось. Он накинулся на икру, выпил чарку водки и взялся за гуся, а купец сидел с ним рядом, наливал да подкладывал угощенье, глядя на него нежным взглядом, как на кровного родственника.

— Кажись, наелся, — подавляя отрыжку, сказал Котошихин. — Извини, Кузьма Афанасьевич, что чарка будет последней. Мне нужно завтра явиться к князю Прозоровскому, а он, хоть и сам ведром лопает, но похмельных на дух не выносит.

— Что же такое случилось, коли шведы послов не накормили обедом? — простодушно спросил Овчинников. — Разве такое раньше бывало?

— На моей памяти нет, — сказал Котошихин, обтирая ладонью засаленную бороду. — И послы пировали, и приказным людям перепадало.

— Вот беда! — вздохнул Овчинников. — Видно, мира ещё долго не будет, а торговым людям это — нож вострый. Совсем торговлишка захиреет.

— Не прибедняйся, Кузьма Афанасьевич, — сказал Котошихин. — Это русским купцам, окромя Швеции, сейчас некуда податься, а ты ведь, хоть и русский, но подданный короля, живёшь в Нарве, и ехать с товарами волен и в Англию, и во Францию.

— Так там и ждут нашего брата, — отмахнулся Овчинников. — Моя торговля здесь, я торгую с русскими купцами, а без крепкого мира это невозможно. Знать бы, что будет…

— Пока поляки со шведами замирились, — важно сказал Котошихин.

— Вот это новость! — подскочил Овчинников. — И какая от этого выгода купцам?

— Не может ваш брат без выгоды, — усмехнулся Котошихин. — С этим миром большая невыгода для нас, русских, явилась: как бы не пришлось отдавать все города и местности, что недавно отвоевали у шведов и ляхов.

— Слава Богу, что Нарва в стороне от всего этого перетряса осталась, — перекрестился Овчинников. — Выгоды мне от этого договора нет, но и потерь тоже.

— Смотрю я на тебя, Кузьма Афанасьевич, и всё хочу спросить, каково жить под шведами тебе, православному русскому человеку?

— Ну, ты, брат, и загнул вопросец, — сказал Овчинников. — Без доброй чарки и не ответить. Ты как, поддержишь меня?

— Наливай! — махнул рукой Григорий. — Но это точно последняя, а то меня князь проглотит и кости не выплюнет.

Они осушили чарки, Овчинников отвечать на вопрос не спешил, жевал закуску, поглядывая в сторону, и постукивал рукой по столу.

— Если ответить коротко, то русскому купцу жить в Швеции страшно, — вымолвил Овчинников. — Ему там легче голову и мошну потерять, чем в России.

— Вот так раз! — удивился Котошихин. — А все нахваливают шведские порядки, мол, и честность, и чистота… Тогда почему страшно?

— А потому, что там приказные люди посулов не берут. Они все с университетской выучкой, довольны жалованием и строго блюдут законы. И теперь представь, что я в чём-то допустил промашку, по пьяному делу нос кому-нибудь расквасил, не дай Бог, и жизни лишил случайно. В той же Калуге я завернул бы барашка в бумажку и с поклоном к воеводе, а в Нарве, хоть я и в ста тысячах даллеров, меня притянут к суду. А головы отсекают и бьют в батоги жестче, чем в России: палачи тоже не берут посулов.

— А как же говорят, что там всем людям живётся вольно?

— Это правда, — сказал Овчинников. — У них мужики в крепости никогда не бывали. Живут себе хуторами, как латыши, деревень у них нет.

Котошихина, который был склонен ко всему, что научает человека знаниям, интересовал университет в Упсале, о котором он был уже наслышан.

— Это та же школа, только большая, учат там законам и лекарскому умению, — сказал Овчинников. — Мне в Стокгольме о нём таких страхов понарассказывали, что боюсь, Григорий, тебе повторить.

— Я не из пужливых, Кузьма Афанасьевич, — ещё сильнее заинтересовался Котошихин. — Говори, что слышал. Я с лавки не упаду.

— В той Упсале есть изба, заставленная склянками с частями человеческого тела. Ученики режут мёртвых людей вдоль и поперёк, копаются в требухе, а в особой избе стоит котёл, где мертвяков варят до тех пор, пока у них мясо от костей не отвалится.

— А это ещё зачем? — вздрогнул Котошихин, почувствовав, что у него похолодело на сердце.

— Дале не говорить? — обеспокоенно спросил Овчинников, увидев, как побледнел Григорий.

— Говори, я спокоен.

— Мясо я не знаю, куда девают, а вот кости скрепляют друг с другом в том порядке, в котором они у живого человека, серебряными и медными проволоками и ставят на обозрение всем ученикам, чтобы они постигали, как человек построен.

— Каких же людей они пускают на это дело? — опомнившись, спросил Котошихин.

— А тех, кого казнят, — ответил Овчинников. — Тебе что, Григорий, нехорошо?

Котошихин сгреб рукой шапку и кинулся на выход, едва сдерживая тошноту. На свежем воздухе ему полегчало. Он отвязал от коновязи коня, с трудом забрался на него и выехал за ворота.

— Ты на меня, Григорий Карпович, не в обиде, что я такое наговорил? — окликнул его с крыльца Овчинников. — Ты меня не забывай. Будешь в посольских посылках в Нарве или Стокгольме, меня не обходи стороной, заглядывай!

Луна невесть куда закатилась, на небе и вокруг было непроходимо темно. Гришка поначалу пялил глаза, но скоро решил положиться на судьбу: ослабил поводья и предоставил коню самому найти дорогу домой. Вокруг было тихо, вся лесная живность угомонилась и отошла ко сну, и только иногда из еловой чащи доносились тяжкие вздохи болотной трясины.

Взволнованный рассказом нарвского купца, Котошихин только о нём и думал, но скоро спохватился и заоглядывался, отыскивая в окружающей его тьме хотя бы далёкий проблеск от сторожевых кострищ на посольском стане. О том же беспокоился и конь, он замедлил шаги, затем остановился и заржал. Прошло несколько времени, и неподалёку откликнулся ржанием другой конь, и Котошихину показалось, что прямо перед ним маячит то, вспыхивая, то, загасая, небольшое кострище. Он взялся за поводья

и через сотню саженей был на конском дворе, где его встретил, почёсываясь и зевая, одетый в овчину и заспанный конюх.

Гришка оставил ему коня, сунул в руку копейку и, обходя сторожей, пробрался в свою палатку и, не раздеваясь, а только сняв сапоги, рухнул на свою постель и погрузился в тревожный и многоцветный сон, в котором было много крови, и чужой, и своей, драк, погонь и падений с громадной высоты, от которой у Гришки замирало от ужаса сердце, и он начинал метаться и скрипеть зубами, пугая полевую мышку, которая любила лакомиться сухарными крошками, рассыпанными возле его постели.

Только-только угомонился Гришка, как заворочался на овчинном лежбище в шалаше возле поленницы берёзовых дров, железных котлов и жбанов старший повар, который своим шевелением разбудил своих помощников: поварят, истопника и кухонных мужиков. Те знали, что их начальник горазд пинаться и таскать своих людишек за волосы, посему, ещё не продрав толком глаза, принялись каждый за своё дело: водовоз запряг лошадь в водовозку и отправился на родник за свежей водой для питья и варки еды, истопник стал разжигать костёр, кухонные мужики с поварятами волокли из амбарной палатки кули с толокном и сушёной рыбой, а сам старшой хлопотал у малого костра: великие послы и дьяки сытились по своей особой раскладке.

Под пологом походной церкви проснулись священник и диакон, они скоренько сполоснули лица из кувшина, зевнули оба два, переглянулись, и дьякон ударил три раза в колокол, призывая православных на утреннюю молитву. Перед храмом на утоптанную поляну собрались стрельцы и посольские приказные люди. Священнослужители раскрыли палатку походной церкви, и перед всеми предстала Тихвинская икона Божией Матери, одна из самых почитаемых на Руси святынь, находившаяся в посольстве ещё с дней заключения Валиесарского перемирия по указу Алексея Михайловича. Она участвовала в переговорах не впервые и была с князем Мезецким при заключении Столбовского мира.

При виде знаменитой иконы все опустились на колени, творя крестные знамения и шепча слова молитвы. Часть людей молилась в стороне. Ордин-Нащекин стоял на коленях в своей палатке перед семейной реликвией — иконой святого апостола

Андрея Первозванного. Князь Прозоровский молился рядом со своей палаткой, кладя поклоны в сторону медного креста над походной церковью, кухонные люди, конюхи и прочая работная обслуга уже кое-как перекрестили лбы и занимались каждый своим делом. И во всём посольском лагере не встречали утро молитвой двое: стрелец, посаженный за пьяное буйство в земляную яму, и Котошихин, который, правда, уже не спал, а лежал, завернувшись с головой в овчину, и думал о том, как ему показаться на глаза к князю и не схлопотать от него затрещины, на которые Иван Семёнович был весьма скор.

Стрельцы стали расходиться от церкви, и Гришка враз ожил: выскочил из-под овчины, растёр лицо ладонями, протёр глаза слюнями и побежал к князю, который весьма удивился, увидев подьячего:

— Что, не погостилось у шведов?

— Мы вчера в сумерках вернулись,— сказал Гришка, поднимаясь с колен.— Афанасий Лаврентиевич занемог, велел мне доложиться, но твоя милость изволила почивать.

— Так чем вас шведы напугали, что вы бежали от них сломя голову?

— Они, князь, заключив с поляками мир, впали в великую надменность и теперь требуют вернуть все города.

— Не бывать этому! — вскинулся Прозоровский.— Немедля, начерно, готовь отписку великому государю по сему делу.

Котошихин поклонился и слегка попятился, собираясь улизнуть восвояси, но князь его остановил и вопросил свистящим шепотом:

— Афанасий не удалялся ли с Бенгт Горном, чтобы пошептаться наедине?

— Такого, князь, не было,— сказал Гришка.— Генерал был на седьмом небе от счастья, что уел Афанасия Лаврентиевича Оливским договором. Хотя сами шведы, заключив его, напрямую нарушили двадцать третью статью Валиесарского соглашения.

— Говори, что там такое углядел?

— Согласно этой статьи шведы не имели права заключать мир с Речью Посполитой на условиях, которые вредят России.

— Гляди, какой умник!— неожиданно осерчал Прозоровский.— Того и гляди, из подьячих в великие послы скакнешь. Тут на тебя старший подьячий жалуется, и тебе, Гришка, точно — не сдобровать. Ты зачем Соборное Уложение свечным салом залил и прожёг?

— Помилуй, господине,— рухнул на колени Котошихин.— Я статьи Уложения учу наизусть, а ветер в палатку дунул и свечу опрокинул.

— И что за это с тобой сотворить? — сказал Прозоровский, повернувшись в сторону приближающегося к нему Ордин-Нащекина.— Афанасий Лаврентиевич, какая кара положена тому, кто, пусть даже случайно, испортит государеву вещь?

— Надо у посольского пристава спросить, он ведает,— тихо произнёс Ордин-Нащекин.— А как ты, Гришка, набедокурил?

— Учил Соборное Уложение и залил его свечным салом,— жалобно вымолвил подьячий.

— И что закон говорит о твоём проступке? Ты успел его выучить?

— Бить в батоги,— чуть слышно произнес Котошихин.

— Вот-вот! — обрадовался Прозоровский.— Пиши, Гришка, о своём злодействе отписку судье Посольского приказа, а он пусть отпишет, сколько всыпать тебе палок.

— Беда с нашим правосудием,— поморщился Ордин-Нащекин.— По всякому пустяку надо затевать переписку с Москвой.

— Книга многих рублей стоит,— нравоучительно произнёс Прозоровский.— Надо установить, какой ей нанесён урон, от этого и наказание виновнику будет учинено. Может его заставят продать свой двор на Москве, чтобы восполнить урон государевой казне.

Послы начали беседовать о тонкостях юридической стороны Гришкиного проступка, а тот стоял перед ними и трепетал, как осиновый лист на сквозняке. Наконец, Ордин-Нащекин над ним сжалился и прогнал в подьяческую палатку, где его ждала письменная работа. Прозоровский настаивал на том, чтобы проступок не остался без наказания.

— Не спорю,— сказал князь.— Гришка начитаннее и грамотнее других подьячих, но скрывать это дело не следует, чтобы не потакать остальным.

— Возьми это дело, князь, на себя! — сказал Ордин-Нащекин.— А я уже ударил великому государю челом, чтобы отставил меня от посольской службы.

Прозоровский был в послах с Ордин-Нащекиным уже более двух лет, и решение товарища его обескуражило, ибо князь в великие послы был назначен не по уму, а из-за своей величавой

представительности и высокородства, и всеми посольскими делами ведал Ордин-Нащекин, а князь любил покомандовать стрельцами, поваром и насквозь продудел придвинские дубравы роговой музыкой своей псовой охоты, с которой никогда не расставался. И, тем не менее, Прозоровский вполне серьёзно полагал, что все посольские дела вершил только он, и всё своё свободное от охотничьих забав время посвящал сочинению многословных, велеречивых писем царю, которые Алексей Михайлович уже давно не читал, а бросал мимо стола, откуда они попадали в руки придворного кукольника, мастерившего из клееной бумаги и обрывков ткани кукол и забавных зверушек, игрой с ними увлекались не только малые дети царя, но и простодушная супруга русского самодержца Мария Ильинична.

— Как же ты, Афанасий Лаврентиевич, смог решиться на это? — искренне удивился князь. — Твоя просьба крепко огорчит великого государя, и ты можешь лишиться его милостей. Я сегодня же отпишу великому государю, что другого думного дворянина мне товарищем в послах не надо.

Ордин-Нащекин с интересом взглянул на князя, удивлённый его намерением сделать ему доброе дело, и сухо вымолвил:

— Это шаг для меня решён окончательно и бесповоротно.

Прозоровский не отличался осторожностью и невольно уколол Афанасия Лаврентиевича в самое больное место:

— Разве я не понимаю твоей туги, — с сочувствием вымолвил он. — Но такое сейчас может случиться с любым родителем. Великий государь отписал мне, чтобы я тебя, Афанасий, не неволил делами, дал отдышку, он к тебе благосклонен, и посему ты в моих глазах сравним с алмазом в державном царском скипитре.

— Сказано крепко, но приятно, — улыбнулся Ордин-Нащекин. — Я рад, Иван Семёнович, услышать столь ласковую для меня речь. Я ведь никуда не подеваюсь, а буду всегда рядом, пока на Лифляндском воеводстве в Царевичеве-Дмитриеве, а буде придётся отдать всю Лифляндию шведам, то в Опочке, в своём родовом поместьеце.

Солнце уже высоко поднялось над вершинами окружавших посольский стан деревьев, сотня стрельцов с топорами готовилась выйти на заготовку брёвен: с началом весны начались работы по обустройству мостов через многочисленные речушки

и овраги, и стрельцы, чтобы не обленились, занимались этим делом в свободное от охранной службы время.

Великие послы занялись каждый нужным для себя делом: Ордин-Нащекин направился к себе в палатку, возле которой его поджидали посольские дьяки Дохтуров и Юрьев, явившиеся к нему с докладами об исполнении поручений; Прозоровский, отдав дань внимания утренней трапезе, оделся по-походному для выхода в поле, сел на венгерского жеребца и, сопровождаемый денщиком, отправился прогуляться. Сделав десятивёрстную проездку, князь подъехал к бревновому забору, из-за которого сразу раздался лай многих собак. Служитель встретил его низким поклоном, открыл калитку, и Прозоровский попал в собачьи объятья: с десяток русских борзых, стоя на задних лапах, спешили передние лапы возложить на плечи хозяина и до мокроты облизать ему бороду. Иван Семёнович от собачьих ласк не уклонялся, борзые были его страстью, которая затмевала все другие желания, собак он любил, особенно охоту с ними на зайцев, которых затравил за свою жизнь многие сотни, а может и тысячи, потому что Прозоровский, как и всякий охотник, любил прихвастнуть и, говоря о травле русаков борзыми, становился явно не в себе, будто его опоили каким-то веселящим зельем.

— Что Вьюга? — спросил князь, умывшись от собачьих поцелуев в бочке с водой.

— Вечор ощенилась, — доложил псарь. — Щенков, правда, мало, живых всего шестеро.

— Веди! — заметно обрадовался Иван Семенович.

Вдоль забора стояли сработанные из прутьев собачьи избушки. Псарь загнал борзых, чтобы они не путались под ногами, в загон и пошёл впереди князя к избушке, из которой доносился щенячий скулеж и ворчанье собаки.

— Не дури, Вьюга! — сказал псарь. — Хозяин явился, показывай своё потомство.

В лазе показалась впалая с боков борзая сука, ей было не до гостей, и она, увидев хозяина, всего лишь несколько раз взмахнула пушистым хвостом и повернула обратно в избушку, но ей путь перегородили щенки, которые, повизгивая, выползли на свет.

— Вот сейчас и глянем, кто к жизни готов, — сказал Прозоровский и, взяв щенка, попытался поставить его на ноги.

Свирепый отбор прошли всего трое, остальных князь велел утопить и, проверив, как убрано в других избушках, велел псарю

взять борзых на сворки и самому садиться на коня. И скоро окрестные дубравы огласились напевными звуками охотничьего рога и брехом мчавшихся сломя голову борзых. Но это была не охота, а прогонка собак, чтобы они не потеряли своих навыков до начала осени, когда и начнется настоящий охотничий сезон с многодневным выходом в поле, который (если князю позволят это сделать посольские заботы) продлится до настоящего глубокого снега.

Прозоровский не только промял борзых, но и хорошо промялся сам, и вернулся на посольский стан в благожелательном расположении духа и способным на добрые и щедрые дары.

— Прошка,— сказал он, слезая с коня у своей палатки,— извести пана Цыбульского, что Вьюга ощенилась, пусть он как-нибудь заглянет и выберет себе щенка.

Охота сблизила Прозоровского с местными панами, и этим сближением он, по совету Ордин-Нащекина, не гнушался, литовские дворяне были сплошь русскими и православными, хотя носили порой польские фамилии. Конечно, князь презирал их за худородность и никого не ставил с собой вровень, но умело скрывал свои чувства и пользовался среди панов большим уважением как лихой наездник и стрелок, и предводитель шумных застолий, которые любило устраивать панство после всякой удачной или неудачной охоты.

После гуляния по полям и дубравам Прозоровский проголодался и с большим удовольствием потрапезничал, а после по старорусскому обычаю завалился на постель и скоро его примеру последовали все насельники посольского стана, вплоть до забредшего сюда прохожего калики, и над палатками раздалось похрапывание, в которое затейливо вплетались носовые и горловые посвисты спящих людей.

4

Котошихин натуру имел впечатлительную. Угрозы Прозоровского строго взыскать с него за книгу, на которую он совершенно без умысла уронил несколько капель горячего сала, привели подьячего в полуобморочное состояние, и он вышел из палатки, пятясь задом и согнув спину в холопьем поклоне.

Денщик князя презрительно на него глянул и будто случайно прижал конём к дереву. Это Гришку опамятовало, он схватил

княжьего слугу за ногу, едва не опрокинув вверх тормашками, затем поднял с земли шапку и пошёл в сторону своей палатки, одолеваемый тоскливыми и жалкими мыслями. Угроза Прозоровского была вовсе не шуточной, известны случаи, когда били батогами и вовсе за ничтожную вину, а Гришка попортил книгу из государева Посольского приказа, и дьяк Алмаз, хотя и был справедлив, но строгости ему было не занимать, и уже не один подьячий отведал палок по его судейскому слову.

Котошихин битья, обычного на Москве способа воспитания нерадивых людишек, смертельно страшился с детства, когда он по шалости едва не спалил родительский дом угольком, которым хотел разжечь солому возле амбара. Отец узрел это и бурей налетел на Гришку, затоптал пламя, схватил палку и бил его до тех пор, пока тот не извизжался до немоты и не сделал под собой лужу. После пережитого ужаса Котошихин стал подвержен приступам страха, который без всякой на то причины вдруг обрушивался на него, заставляя трепетать и постанывать обомлевшую душу.

— А ведь беда не ходит одна,— подумал, затосковав, подьячий.— Как бы мне сегодня опять подо что-нибудь не попасть.

Он стал подумывать, где бы ему схорониться, но его ухватил дьяк Дохтуров.

— Гришка! Где ты, язви тебя в душу, шалобродничаешь?

— Как где? Иван Семёнович к себе призвал.

— Да ты уже полчаса кружишь возле этого дуба. Ступай и принимайся за отписку по панским делам!

— Иду,— буркнул Гришка себе под нос, дьяка он не опасался, Дохтуров был шумлив, но безобиден, и подьячие знали его страсть всем желающим его слушать рассказывать об Англии, где он побывал в 1645 году с известием о кончине царя Михаила и восшествии на престол Алексея Михайловича. Занятый своими страхами, Котошихин спросил дьяка:

— Герасим Семенович, а в Англии бьют батогами за то, что кто-нибудь закапал книгу свечным салом без всякого умысла?

— Сие мне неизвестно,— задумчиво произнёс Дохтуров.— Но там, брат, могут за любую безделицу отправить всякого простолюдина на жительство к людоедам. Вот и решай, что лучше: батоги или людоедская пасть? По мне — так батоги!

До обеда Котошихин, не торопясь и позёвывая, писал отписку

великих послов в Поместный приказ о православных панах, кои возымели желание уйти от униатского насилия на Москву, где великий государь щедро жаловал их земельными и денежными дачами. Отписка была немаленькой: в ней указывались подробные родословия переселенцев, их службы польскому королю, имения, оставляемые на старом месте. В помощь составлению отписки у подьячего были собственноручные панские челобитные царю, описи имений, выписки из родословных книг и другие свидетельства. Всё это Котошихин сводил в одну обширную запись и к обеду закончил работу, которую дьяк Дохтуров оглядел мельком на предмет помарок и подписался на обратной стороне склеенных листов своим именем. Гришкину руку он знал и в подьяческом деле доверял ему полностью.

Гришка вышел из палатки и сразу почувствовал, что слюны у него во рту сильно прибыло: посольский стан был погружен в запахи наваристых мясных щей и разопревшей гречки с коровьим маслом. Он, долго не думая, скорой иноходью устремился к поварской палатке и был одним из первых, кто успел ухватить глиняную миску, коих всегда был недостаток, и встал в очередь к котлу. Повар мельком на него глянул и, узнав, осклабился: Котошихин в подпитии бывал щедр и, не скупясь, подносил ему чарку. Сегодня повар отдарил его большим куском мяса, а в кашу плеснул масла вдвое больше, чем другим. От питательной сыти Гришка слегка запьянел и, поглаживая округлившееся брюхо, добрел до своей палатки, где раскинулся на постели, расстегнул ворот рубахи, ослабил пояс штанов и, блаженно потянувшись, закрыл глаза.

На посольском стане после обеда любили поспать вволю, это считалось, как и всюду на Руси, делом здоровым и даже богоугодным, ибо давно известно, что сон освобождает душу от земных уз и позволяет ей видеть и райские кущи, и горние пределы. Во сне человеку доступно многое, и Гришке снилось, как он милуется с дочкой «того самого» Исайки, пышноволосой и огненноглазой Сарой, на которую при встрече подьячий заглядывался и даже пытался с ней заговорить, но девка только опаляла его взглядом и, покачивая бёдрами, удалялась прочь от полоротого иноверца. Во сне Сара была не так строга и неприступна, и Гришка был готов торжествовать победу, но в самый решительный миг девка растаяла, как ком снега, а подьячего кто-то ткнул в бок. Он вскинулся с постели, протёр

глаза и узрел перед собой стрелецкого капитана Репина.

— Что стряслось? — слабым голосом пролепетал Гришка, чувствуя, как на него обрушился, выхолодив ему нутро, животный страх.

— Тебя требуют к себе великие послы! — выдохнул Репин и железной рукой ухватил подьячего за шиворот. — Твоё, страдник, имя стало ведомо великому государю.

Котошихин вякнул, как уловленный петлёй заяц, и капитан поволок ослабевшего ногами подьячего к палатке Прозоровского, где бросил его под ноги князя ничком на вытоптанную траву.

— Это и есть посягатель на государеву честь Гришка Котошихин! — объявил Прозоровский подьячему приказа Тайных дел, Юрию Никифоровичу, который только что прибыл из Москвы с поручениями Алексея Михайловича великим послам.

— Да будет тебе ведомо, лиходей, что ты умалил государев титул, написав «великий» и не написав «государь». Дьяк Алмазов отписывает волю царя: за допущенную ошибку бить тебя в батоги, а число ударов определить нам, великим послам.

Прозоровский глянул на Ордин-Нащекина, но тот стоял, углублённый в свою, только ему ведомую думу, держа в руке полученную от царя грамоту.

— Указано также посольским дьякам с тщанием вычитывать сделанные подьячими отписки, а не подмахивать их своей подписью без проверки.

Посольские дьяки Дохтуров и Юрьев окаменели лицами и жгли поверженного на землю Котошихина огненными взорами. Пропуск ошибки в написании государева титула был для них несмываемой порухой подьяческой чести, которая на Москве никогда не будет прощена и забыта.

Вжавшись лицом в жёсткую траву, Котошихин с ужасом внимал всему, что происходит, и Прозоровский вновь обратил на него свой гнев:

— А ведь ты, Гришка, пакостник! Не далее как утром я выговаривал тебе за испорченный лист в книге, а ты, оказывается, уже до этого успел умалить государев титул и уязвить великого государя. Да ведомо ли тебе, что ты совершил зло, равного коему вряд ли отыщется в статьях «Соборного Уложения», которое ты успел испачкать? За умаление государева титула тебе полагается смерть, но великий государь

милостив и велел бить тебя в батоги. Как мыслишь, Афанасий Лаврентиевич, пятидесяти будет не мало?

— Добавь ещё с десяток палок, — сказал Ордин-Нащекин. — Это будет ему наказание за книгу. А ты, Гришка, знай, что князь к тебе милостив из-за твоего борзописания и тяги к иноземным языкам.

Прозоровский покосился на Никифорова, подьячий приказа Тайных дел был приставлен царём к великому посольству для лучшего проведывания дел, в нём чинимых, и имел прямую почтовую связь с великим государем, которому обязан был докладывать обо всём, что он видит и слышит.

— А ты, Юрий, как считаешь, не мало ли наказание? — сказал князь. — Не высказывал ли на этот счёт дьяк Алмаз своих пожеланий?

— Великий государь милостив, — промолвил подьячий. — Была бы возможность, он бы всех миловал, но твоё решение, князь, его не огорчило бы, оно кажется справедливым.

— Стало быть, так и решим, — важно произнёс Прозоровский. — А ну, Иван, встряхни Гришку.

Репин поставил подьячего на ноги и встряхнул так, что тот взмахнул руками и ногами, будто собрался отсель улететь.

— Полегче, Иван, — обеспокоился Прозоровский. — Озаботься казнью, а Гришку посади под крепкий караул, да накажи стрельцам, чтоб за ним доглядывали, как бы он не сотворил над собой какую-нибудь дурь.

Капитан отдал Котошихина в руки двух дюжих стрельцов, и те потащили его к своим палаткам. Ещё трёх служивых Репин послал на берег реки с приказом наломать гибких тальниковых палок, а сам, взяв двух стрельцов с топорами, стал руководить постройкой лавки из берёзовых жердей, на которую надлежало возложить для удобного битья провинившегося подьячего.

Приезд Никифорова был для великих послов немалым событием, от подьячего, близкого к царскому двору, они надеялись насытиться новостями сначала вместе, а потом по одиночке, поскольку, кроме государевых дел, у Прозоровского и Ордин-Нащекина были и свои личные заботы, про которые они хотели, но не могли забыть. Причастность к приказу Тайных дел несколько поднимала Никифорова в глазах великих послов, но далеко не уравнивала с ними, особенно с Прозоровским, боярином из первого, ближнего к государю круга знати,

и подьячий это понимал, не возносился, и был с послами скромен, как блудница на исповеди.

Осторожно, взвешивая на кончике языка каждое слово перед тем, как его произнести, Никифоров поведал о том, что больше всего сейчас заботит великого государя мир со шведами, заключение которого даст России передышку на балтийском направлении, позволит разобраться с черкасами, которые, сложившись с татарами, нанесли Москве страшное поражение под Конотопом, а совсем недавно такая же беда случилась и под Чудновом: войско разгромлено, половина ратников и сам воевода Шереметев, подписавший условия позорной капитуляции, в плену, и многие малоросские города оставлены.

— Стало быть, Украина уже не наша? — потрясённо вымолвил Прозоровский.

Этот горестный возглас остался без ответа. Никифоров промолчал, тайные дела приучили его к сугубой осторожности во всём. Ордин-Нащекин увидел в последних событиях подтверждение своей давней мысли: искать с ляхами мира и, помедлив, желчно вымолвил:

— Черкасы — народ зело шаткий, бездушный и непостоянный. Они, хотя и исповедуют православную веру, но обычаи и нравы имеют негожие, и причиной тому ересь, но не духовная, а политическая, и начальники этой ереси ляхи, от них научились её держаться и все немцы. Черкасы от нас одно добро видели, но взяли, как их учителя — ляхи, себе в голову, что жить под православным Русским царством хуже турецкого мучительства.

— У черкас все казацкие старшины с червоточинкой, тянутся к ляшскому безурядью, им либерум вето подавай, а у нас этого нет, и царь у нас природный, а не выборный со стороны, — сказал Прозоровский. — Его воле не смеет перечить ни один шляхтич, а на польском сейме один ничтожный дворянчик может воспрепятствовать всему благородному сословию и королю принять нужное решение.

— Если бы только от одних черкас нашему царству беда была, — промолвил Ордин-Нащекин. — Иной раз и свой брат, русский, такое учудит, что и всем миром с ним не сладить. Как там, Юрий, поживает и что поделывает наш первоходатай пред Божьим престолом за всех православных людей святейший патриарх Никон?

— Недавно своим лжеюродством восхотел преклонить к себе народ, — сказал Никифоров. — Устроил трапезу для странников, сам обмывал им ноги; спрашивал, как будто ничего не зная, заключен ли мир с поляками? Когда ему отвечали, что нет, глубоко вздохнул и сказал: «Святая кровь христианская из-за таких пустяков проливается».

— А что великий государь? Ужели спустил своему собинному другу хулу на царство? — возмущённо произнёс Прозоровский.

— По докладу дьяка приказа Тайных дел Башмакова, — с большой важностью сообщил Никифоров, — за свои поносные речи патриарх Никон в сей же день был из Москвы выслан.

После этих слов у великих послов сразу пропало желание пообщаться с подьячим грозного приказа. Ордин-Нащекин углубился в свои нелёгкие думы о сыне, Прозоровский было заскучал, но вскоре оживился.

— Это что за народ? А ну, Прошка, сбегай, узнай!

На посольский стан вошли люди, в которых, приглядевшись, Прозоровский узнал русских панов, которые уже здесь бывали по своим переселенческим делам.

— Это шляхтичи, Иван Семёнович, явились к тебе, — сказал Ордин-Нащекин. — Ступай, Никифоров, за мной, не станем мешать князю в его делах.

Нагловатый денщик князя перегородил шляхтичам дорогу, но крепко ошибся: шедший впереди всех богато одетый пан наградил холопа таким могучим тычком, что тот отлетел далеко в сторону. Прозоровскому это не понравилось, но он смолчал, блюдя осторожность, на литовской окраине дворянство отличалось своевольством, даже необузданностью, и от него можно было ждать любой грубости. Они ведали, что Алексей Михайлович был крепко заинтересован в переселении помещиков из Литвы на степную волжскую границу, и требовали обещанные им дачи.

Не дойдя до князя нескольких шагов, шляхтичи остановились, сняли шапки, поклонились с расставлением в стороны рук и покрыли головы. Прозоровский ответствовал им улыбкой, в коей не было сладости, и глаза князя были холодны.

— Что ищете, панове? — сказал Прозоровский. — Какая нужда привела вас на посольский стан?

Шляхтичи запереглядывались, потом дружно указали на богато одетого дворянина Василия Дроздова:

— Он будет говорить за всех, ясновельможный князь.

Появление шляхтичей не осталось незамеченным дьяками, которые знали их нужды лучше великого посла. К палатке Прозоровского поспешил дьяк Юрьев с подьячим, который нёс с собой письменные снасти, для записи всего, что будет сказано и князем, и шляхтичами. Они встали от панов чуть в стороне, а тем временем Василий Дроздов довёл до Прозоровского просьбы дворянских переселенцев. Царские посыльщики, когда уговаривали панов идти на Москву, много чего наобещали, да мало что сделали. Переселенцы ждали телеги для перевозки вещей и не дождались; им посулили охрану для обережения от воров во время пути, а сейчас воевода и слышать об этом не хочет; Поместный приказ обязался им выплачивать деньги на прожитие, на путевые расходы, на подъём хозяйства на новом месте жительства, но и с этой стороны до них не донеслось денежного звона.

— Налетели на нас воевода с приказными людьми, заморочили головы, наобещали много чего — и сгинули. А мы, ясновельможный князь, распродали скот, всякие зажитки, заложились продать имения, и что нам теперь делать? И здесь нет сил дальше жить, и Москве мы не нужны.

Прозоровский любил и умел говорить значительно, хотя и пусто:

— Великий государь ваших нужд не оставит. На Москве ни одна челобитная царя не минует. Видите, дьяки записали всё со слов Дроздова. Ещё до вечерни гонец будет снаряжён в Москву.

Шляхтичей ласковая отзывчивость князя растрогала, им даже стало неудобно от того, что они своими жалкими просьбишками отвлекли великого посла от его государственных дел. Кланяясь, они взадпятки отошли прочь от палатки князя, ещё раз поклонились и пошли в полной уверенности, что их заботы скоро будут разрешены, а притеснитель и обманщик пограничный воевода строго взыскан.

Прозоровский в сторону жалобщиков даже не посмотрел, он упёрся взглядом в стрельцов, которые несли вязанки тальниковых палок, и вспомнил, что не назначил надсмотрщика за палочным битьём Котошихина.

— Ефим Родионович, — сказал он дьяку Юрьеву, — пригляди за казнью, а то стрельцы, смеха ради, изувечат подьячего.

Князь стрельцов знал и не ошибся в своих опасениях. Гришка как попал под их власть, так они от него не отступали, привязали его, как телка на пастьбе, к берёзовому колу и стали над ним измываться угрозами и непотребной бранью. Эта дружная ненависть потрясла Гришку своей беспричинностью: он никогда не обижал стрельцов, когда они были у него в подчинении, совсем недавно похристосовался почти с каждым в Светлый день, а с капитаном Репиным похристосовался дважды: сначала на утрене, потом в своей палатке доброй чаркой водки с перцем.

Теперь Репин и узнавать не захотел опального подьячего, а стрельцы с его молчаливого согласия обступили Гришку и начали шпынять. Конечно, на Руси радоваться чужой беде — не новость, но изначально человек ждёт себе от одноплеменников добра, и бывает весьма крепко потрясён, столкнувшись с людским злорадством.

Поначалу Котошихин попытался урезонить своих обидчиков:

— Зачем, ребята, надо мной измываетесь? Я ведь такой же православный, или не так?

Стрельцы от таких простецких вопросов ненадолго опешили, но опять приступили к нему с издёвками.

— Гришка, а, правда, что у подьячего вместо души дырка от осинового сучка?

— А на что ему душа? Подьячему на том свете везде дорога: умрёт и прямо в диаволы.

— Подьячий любит принос горячий! Вот и мы ему батогов припасли погорячее.

Котошихин дёрнулся на привязи и привстал с земли, пылая обидой.

— Вы совсем не имеете жалости,— горько вымолвил он.— А ведь не проходит и дня, чтобы кого-нибудь из стрельцов не били в батоги.

Обидчики смутились, но ненадолго:

— Нас не бьют, а за нашу удаль жалуют батогами. Тебе, приказному крючку, такой молодецкой жизни не увидать. Наша смерть в чистом поле, а твоя в вонючем приказном подвале!

Принесли вязанки тальниковых прутьев, и стрельцы развеселились ещё пуще, стали спорить друг с другом за честь прогуляться по подьячей спине, взялись тянуть

жребия, и счастливцы посматривали на Гришку с такой явной кровожадностью, что у подьячего от страха стало ёкать сердце, и подкосились ноги. Стрельцы почти до полусмерти застращали Котошихина, пока не явился дьяк Юрьев и не заслонил его собой от проказников.

— Что ж ты, Иван, дозволяешь мучить парня,— с горечью произнёс Юрьев.— Твои лоботрясы не ведают жалости, а это ведь тоже смертный грех.

— Откуда им, Ефим Родионович, знать, где грех, а где счастье. А на подьячего они злы потому, что ему завидуют.

— А кто ж им в детстве запрещал учить грамоту? Гришка на письме спор, свейский язык постигает самоукой. А стрельцы до сих пор занятие себе видят в том, чтобы гонять голубей да свайку в кольцо кидать. Ты убери его, Иван, от глаз чужих куда-нибудь подальше.

— Куда ж его спрятать? — почесал затылок Репин.— Может в яму, она пока пустая.

Юрьев с участием посмотрел на бледного Котошихина и потянул его за рукав.

— Пойдём, Гриша, в яму. Посидишь там, а от стрельцов оборонять тебя станут мои люди.

Яма была открыта, и в неё опущена берёзовая лестница. Гришка заглянул, и, отшатнувшись, жалобно всхлипнул.

— Полезай, Гриша,— успокаивающе молвил дьяк.— Там и солома есть. Если сможешь, поспи. Только не тоскуй, тоска сушит душу. А о битье не горюй: на Руси за битого двух не битых дают.

Через дыры в веточном покрытии в яму просачивались брызги солнца, пахло сухой землёй и соломой, Котошихин прилёг на неё и закрыл глаза. Неожиданность, с которой обрушилась на него беда, особенно то, что он провинился перед самим царём, потрясла его душу, как будто она уже низвергнулась в ад при своём живом владельце. Хула на государя, в каком бы виде она ни была выражена, пусть даже это всего лишь не злоумышленная описка, не могла быть прощена, и отныне никогда не бывать ему в дьяках, о чём он мечтал с тех пор, как впервые окунул гусиное перо в чернильницу. Но теперь он сам поставил на далеко не исписанный лист своей жизни огромную кляксу, которую нельзя было ни смыть, ни соскоблить.

Однако эти мысли недолго занимали Котошихина, битьё палками было гораздо ближе, и с ужасом припомнилось,

что не далее прошлого года ему пришлось видеть, как возле Посольского приказа били в батоги кабацкого приказчика из Костромской чети за утрату казённых денег. Приказчик был дикого нрава и надерзил дьяку Алмазу, и тот велел приставам спустить с него шкуру, что те и сделали, обратили спину и ягодицы в сплошное, обильно сочащееся кровяное месиво. Приказчик сгоряча соскочил после битья со скамьи, но через несколько шагов рухнул замертво наземь.

— А ведь стрельцы меня могут также забить насмерть! — с ужасом подумал Котошихин. — Или я умру сам от разрыва сердца.

Мысль о скорой и неизбежной смерти обварила его, как кипятком. Он заюзгал на соломе ногами и заскулил, как щенок, которого несут в рогожном куле, чтобы утопить в проруби. Вдруг Гришка решил, что умрёт не от палок, а от разрыва сердца, которое он обычно не ощущал, но сейчас чувствовал, как оно ёкает то и дело от страха и толкается в грудь частыми и гулкими толчками. Он плохо выносил боль, страшился её не меньше смерти, и некстати вспомнил о том, как ему невыносимо больно было в лапищах зубодёра, а под батогами будет не слаще, стрельцы раззадорились и не станут его миловать, поломают об его спину все палки, что припасли для битья.

Внезапно в яме стало светло. Гришка поднял голову, над ямой склонился хмурый стрелец.

— Вылезай, голубь!

Гришка, опираясь на земляную стенку ямы, поднялся, шагнул к лестнице и повалился на солому.

— Что копаешься! — рыкнул стрелец. — Сейчас на кулаках подыму!

— Ноги не держат, — слабо вякнул Гришка, зыбко надеясь, что стрельцы, увидев его немощь, оставят в покое.

Стрелец заворчал и неожиданно спрыгнул вниз. Гришка прижался к стене и ухватился руками за лестницу.

— Ах, ты ещё растопырился! — озлился стрелец и, схватив подьячего за пояс, выбросил его вместе с лестницей из ямы. Там его подхватили дюжие руки стрельцов и, не давая ему ступить на землю, донесли до жердевой лавки, на которую и бросили, предварительно освободив от лишней одежды. На ноги ему с размаху уселся грузный стрелец, а двое других схватили за руки и связали их под жердями.

— Разреши, Ефим Родионович, начать? — сказал Репнин.

— Приступайте, с Богом! — махнул рукой дьяк. — Но сильно не усердствуйте.

Двое стрельцов, стоявшие с обеих сторон лавки, взмахнули палками и резко опустили их на белое тело подьячего. Гришка испустил истошный вопль, который на мгновение остановил следующий удар палок, и больше он уже не прерывался до конца казни, превратившись в вой существа, лишённого человеческого разума.

Этот шум изрядно помешал беседе, которую вели за чарками с доброй польской водкой князь Прозоровский и пан Цыбульский, без промедления явившийся за щенком от русской борзой по зову великого посла.

Гость был человеком воспитанным и попытался не подавать вида, что его душу поражают дикие вопли, но взятую в руку чарку поставил на стол и потупился.

— Погодите чуток, пан Цыбульский, это не надолго, — добродушно промолвил Прозоровский и потянулся рукой к щенку, который старался высунуться из стоявшей на столе корзины. — Кажется, вам повезло с выбором: щеня не пугается шума и весьма подвижно.

— Это воистину бесценный подарок, князь, — встряхнулся Цыбульский. — Я давно жажду иметь охоту с русскими борзыми и, кажется, уже близок к своему счастью. Теперь бы я хотел иметь кобелька.

Прозоровский, смутив гостя, уставился на него в упор, но скоро черты его лица смягчились, и он расхохотался:

— Признайся, пан Цыбульский, что ты желаешь долгих переговоров России и Швеции, чтобы наполнить свою охоту моими борзыми щенками?

— Упаси, Бог! — замахал руками Цыбульский. — Ясновельможный князь знает, что мне всё равно, какая будет власть, царская или королевская, только бы она не распугала в моих угодьях зайцев и лис, чтобы мне было, где потешиться псовой охотой.

— Вот этим ты мне и люб, пан Цыбульский! — воскликнул, подняв чарку, Прозоровский. — Если бы все поляки были такими, то между нами никогда не было бы вражды.

5

Хотя Котошихин и вопил во всё горло, когда его взяли в батоги, пострадал он не так уж и значительно: стрельцы вопреки его опасениям и своим угрозам били Гришку жалеючи, вполсилы, но вогнали его в такой ужас, что он лишился, в конце концов, чувств. Ушат холодной воды, припасённый для такого случая бывалым капитаном Репиным, вернул его к жизни, и едва подьячий зашевелился, как ему развязали руки, поставили на ноги, набросили на голые плечи одежду и отправили в палатку, чтобы он там отлежался от битья и набрался сил.

Ноги держали Гришку плохо, он покачивался, иногда останавливался возле какого-нибудь дерева и, обняв его, прижимался щекой к жёсткой коре. Подьячий ещё не вполне понял, что с ним произошло, а спросить об этом было не у кого, люди шарахались от него в сторону, даже у самых наглых растерзанный вид Гришки вызывал страх, что и с ними в любой час может произойти точно то же самое. Котошихин был отзывчив и не скупился на добро людям, но все это вмиг забыли, и только старший повар, завидев от кухни, как подьячий после битья, шатаясь, обнимается с берёзами, из посольского котла налил малый котелок говяжьей юшки, положил в неё большой кус мяса и отправил поварёнка в подьяческую палатку.

На счастье, Гришку встретил его сожитель, старый подьячий Певунов, и помог ему дотащиться до постели, на которую Котошихин рухнул ничком и ненадолго впал в беспамятство. Очнулся он оттого, что Певунов где-то исхлопотал холщёвую простынку, намочил её в холодной воде, слегка отжал и положил ему на спину.

— Что, Гришка, тяжко?

— Спина горит, будто на ней огнище разложили,— глухо ответил Котошихин в подушку.— Что там у меня?

— Взбухла и покраснела. Потерпи чуток, я занозы повытаскиваю. Не горюй, Гришка, через дней десять, как на собаке, всё заживет.

Утешение старого подьячего не ободрило Котошихина, а напомнило о казни, и он всхлипнул.

— Что не ладно? — обеспокоился Певунов.

— Всё! — мрачно произнёс Гришка.— Ведомо мне, что после батогов ладу в моей жизни больше не будет.

— Эх, да ты никак в обиде? — укоризненно вымолвил Певунов.— И на кого? На царя, брат, как на Бога, обижаться великий грех. И для тебя будет счастье. Вот, кстати, и поварёнок явился с котелком мясной юшки. Не горюй, Гришка, и счастье с каждым днём будет тебе прибывать и прибывать.

— Как бы не захлебнуться им,— проворчал Котошихин, но котелок подтянул к себе, извернулся и испил мясного отвара.

Выздоравливал он медленно и странно: хотя кожа на спине зарубцевалась и срослась за две недели, Гришка с опаской приглядывался к себе, потому что палочное битье перекорежило его насквозь, и он всё чаще вспоминал слова дьяка Алмаза, который как-то в сердцах ему выговорил:

— Пёстрая у тебя, Гришка, натура, и даже углядеть невозможно, какой ты на самом деле, то ли чёрный, то ли белый, то ли серо-буро-малиновый?

«А какой я сейчас? — отвечал он мысленно дьяку Алмазу.— От батогов я белым не стал, а ещё пуще испестрился. Раньше я добра не чурался и зла не сторонился, жил, как жилось, а теперь я без оглядки и шага не сделаю; без худа добра не бывает, вот и меня научили, как следует жить на Москве. Бог свои люди строит, их не спрашивая. И нечего мне на него гневаться за мою пестроту».

Через неделю после битья Котошихин явился в подьяческую палатку, где дьяки Дохтуров и Юрьев сразу запрягли его в работу, и Гришка их скоро удивил своим рвением и невиданным ранее послушанием и терпением. Дьяки решили, что палочное битьё пошло ему на пользу, и скоро сие стало ведомо великим послам, которые восприняли это известие как подтверждение глубокомысленной истины, что за одного битого двух небитых дают, и в убытке от этого не бывают. И когда у Ордин-Нащекина появилась нужда в верном человеке, который бы знал шведский язык, то Гришка был востребован для посылок к шведским послам с письмами.

Осенью 1660 года он дважды побывал в Ревеле с грамотами, в которых шведские дипломаты настойчиво приглашались в Москву для спешного заключения мирного договора. Однако шведы и не подумали трогаться с места, у них на руках были все козыри, чтобы заставить русских выполнить условия, которые во многом звучали как ультиматум, и 13 декабря Котошихин

вновь направляется в Ревель, на этот раз он доставил шведскому генералу Бенгт Горну письмо от Ордин-Нащекина, но видимых сдвигов в отношениях между посольствами не произошло до марта 1661 года. К этому времени Афанасий Лаврентиевич был из великих послов уволен, что было на руку шведам, которые в общении с Ордин-Нащекиным почти всегда попадали в подготовленную им ловушку, но реальное соотношение сил между Швецией и России было таким, что даже усилия лучшего русского дипломата вряд ли могли привести к успеху на переговорах. В конце концов, съезд послов было решено устроить в Кардиссе, деревушке между Ревелем и Дерптом, возле которой высокие договаривающиеся стороны разбили свои станы, а между ними шатры для проведения съездов.

Зима в Эстляндии сиротская, снег сошёл в начале марта, с моря на побережье то и дело наползали густые и влажные туманы, которые беспрестанно сочились мокротой, делавшей сырым всё вокруг — воздух, ткань палаток и одежду людей.

Иногда князю Прозоровскому казалось, что и он сам весь отсырел, как колодезный сруб, мысли утратили остроту и побегучесть, а в этот день ему беспременно надо быть как никогда бодрым и деятельным, потому что на сегодня после долгой волокиты великие послы назначили первую встречу. Любое дело, известно, как начнёшь, так и кончишь, посему Иван Семёнович без промедления вынырнул из-под тёплого лисьего одеяла в холодную мокроту палатки и, засунув голые ноги в ичиги с меховой подкладкой, поспешил спрятать себя в просторную шубу.

— Прошка! — крикнул князь, приоткрыв палатку, в белую мглу. — Куда ты, заплутай, схоронился?

— Я жив, господине, — послышался глухой голос денщика. — Воздух как мокрая вата, у повара костёр не разжёгся, и воду я принёс холодную.

— Ты, Прошка, соврёшь и не поперхнёшься! — рассердился князь. — Как это костёр не разжёгся?

— Растопка, боярин, отсырела, — сказал денщик.

— Ладно, лей в ладони, — велел князь и, умывшись, полностью освободился ото сна, встряхнулся и велел Прошке открыть сундук с парадной одеждой.

Посольская служба, по разумению князя, была важнейшей из всех государственных служб, в ней не существовало мелочей,

на которые можно было махнуть рукой, но особо пристального внимания требовал к себе парадный наряд посла, в коем он представлялся зарубежным государям и являлся на посольские съезды, где выступал живым воплощением и неистовым оберегателем государевой чести. Одежда послов, особенно великих, была чрезмерна дорога, и иметь её себе позволить могла только казна. Не в редкость на послах бывали сторублёвые шапки и пятисотрублёвые кафтаны, которые не уступали по цене царской одежде. И государи шли на такие расходы, потому что свою честь ставили очень высоко, ибо получали её через Божее помазание.

Одежда была сложена в том порядке, в каком Ивану Семёновичу предстояло оболокаться. На своё исподнее он поначалу надел штаны из тяжёлого царского шёлка «зарбев», затем обул сапоги из зелёного турецкого сафьяна, подложенные изнутри тонкой холстиной, с каблуками и подошвами, подбитыми серебряными гвоздями и расшитыми по голенищам золотом и унизанными крупным жемчугом. Почти вся ценность одежды заключалась в драгоценных, из золота и алмазов, воротников рубашки и зипуна, пуговицах, пряжки пояса и украшениях на шапке, и Прозоровский с каждым воздеванием на себя драгоценных предметов посольской сбруи становился тяжелее телом и значительнее взглядом, который он, сурово нахмурившись, метал в зеркало, что держал перед ним Прошка.

Явился повар с утренней для великого посла снедью, но князь его прогнал: на переговоры он привык выезжать натощак, тогда никаких подвохов от желудка не случалось, и в сон не клонило, и мысли в голове не путались, а были остры и для противной стороны доходчивы. Иван Семёнович во всех посольствах, в коих ему доводилось бывать, вёл себя обережно: подарков и угощений не принимал, с глазу на глаз не переговаривался и придирчиво приглядывал за тем, чтобы каждое слово было записано на бумагу, без всякого умаления или преувеличения смысла сказанного.

Прозоровский собирался и наряжался достаточно долго, чтобы возле его палатки собрались его товарищи: стольники Иван Петрович Борятинский, Иван Афанасьевич Прончищев, дьяки Дохтуров и Юрьев и начали покряхтывать и поприкашливать, объявляя великому послу о своём присутствии. Князь Борятинский заменил в посольстве Ордин-Нащекина, коему

великий государь дал отставку, и Прозоровский подумал, что это случилось вовремя, шведы и на дух не желали терпеть присутствия Лифляндского воеводы на переговорах и заявляли об этом чуть ли не в открытую. «Нащекин прослыл великим дипломатом, — пренебрежительно подумал Прозоровский, — а что он такого сделал, чтобы так вознестись? Шведы нам отдали по Валиесарскому перемирию три города на побережье, потому что им нужно было собраться с силами. Сейчас они замирились с ляхами и всей своей мочью готовы обрушиться на нас. Конечно, Нащекин наловчился юлить с ляхами и шведами, но где от этого державная выгода?»

Иван Семёнович понимал, что на этот раз ему как послу придётся скрепить своей подписью не честь, а бесчестие России, и опять нехорошо подумал о Нащекине, который ускользнул от необходимости быть причастным к заключению позорного мира со шведами. И глянув последний раз в зеркало, он вышел из палатки к своему коню, которого держал под узцы капитан Репин. Встречая князя, товарищи посла и дьяки поклонились ему, и всё русское посольство оборотилось к священнослужителям вокруг Тихвинской иконы Божией Матери, которые благословили их святым образом на многотрудное переговорное дело.

Шатры, где должны были проходить переговоры, находились на полпути между шведским и русским посольскими станами.

— Шведы стронулись с места! — крикнул с дерева дозорный стрелец.

— Далеко стронулись? — спросил капитан Ренин.

— Пора и нам, не торопясь, ехать, — сказал Прозоровский, садясь на коня. — Положимся на волю Божию…

Туман рассеялся, небо очистилось от низких и тяжёлых туч, и на сырые поля и леса пролились ещё по-зимнему нежаркие лучи солнца. Миновав дубовую рощицу, русское посольство выехало в поле, где, как диковинные цветы, стояли белые и красные шатры, и Прозоровский сердито закусил нижнюю губу: шведы скорым утренним выходом со своего стана выманили русских с места ночлега, а потом начали кружить да петлять вокруг дубовых и буковых лесных островов, чтобы заставить Прозоровского ждать их приезда возле переговорных шатров. Первым побуждением Ивана Семёновича было тоже начать кружить и не торопиться, но он преодолел соблазн, решив, что неприятное дело надо заканчивать, как можно скорее.

Шведы подъехали сразу же вслед за русскими, посол Бенгт Горн был весьма удивлён уступчивостью Прозоровского и позволил ему на мгновение раньше сойти с коня, чем это сделал он сам.

Послы обменялись поклонами и удалились в свои шатры, которые находились рядом друг с другом, с выходами, открытыми настежь так, что шведы могли видеть русских, а те тоже видели их. Столь странное расположение высоких договаривающихся сторон объяснялось довольно просто: каждый хотел сидеть на своём месте и на уступки не соглашался, посему и было решено переговариваться из своих шатров на расстоянии человеческого голоса.

Послы обменялись приветственными речами, затем Бенгт Горн, посетовав на затяжку переговоров, объявил жалобу на Ордин-Нащекина:

— Наши страны уже давно могли пребывать в мире, если бы не Лифляндский воевода, который на словах выказывал расположение к переговорам, а на деле проволакивал время, всю Лифляндию и Эстляндию перебрали да так и не нашли места, где бы можно было устроить послов. И причина его привередливости в нежелании мира. Посему неудивительно, что нам пришлось договариваться с поляками, хотя гораздо желательнее было бы заключать мир с Россией, чем Польшей.

— У нас в России говорят, что кто старое помянет, тому глаз вон, — примериваясь к словам, отвечал Прозоровский. — Поэтому я не хотел поднимать разногласия, которые вряд ли найдут разрешения при нашей жизни, и главное из них: быть ли России на Балтике. Однако раз великий посол нашёл виновника волокиты с заключением мира, то я вынужден указать ему на поведение шведской стороны, которая сначала отговаривалась от заключения скорого мира бескоролевьем, затем отсутствием указаний риксдага, а на деле торила дорожку к ляхам в обход русских интересов, и устроила тайком от русских съезд с поляками в Оливе, где и подписала договор, которым ущемила права России.

— С кем и когда вести переговоры, — не задержался с ответом Бенгт Горн, — право суверенной державы, и упреки на эту тему бессмысленны. Однако пора начинать разговор по существу. И первый вопрос, который моё правительство ставит перед

Россией, прям и прост: будет ли уступлено русскими Швеции всё, что завоевано ими в Ливонии?

Прозоровский был готов к тому, что шведы зададут этот вопрос, и знал, в соответствии с указаниями великого государя, как на него ответить, но грубая прямолинейность была ему против шерсти, князь насупился и вопросил:

— Откуда у вас, лютеран, такое нелюбье к православным? У нас на Москве лютеране имеют свою слободу, кирхи, а вы, невесть с чего, постановили не пускать нас на Балтику, хотя там есть наша святоотеческая земля и города, основанные русскими людьми, и мы хотим торговать с Западом, посему я требую возврата городов, отданных по Столбовскому миру.

Советники великого посла Швеции загомонили вокруг него, полезли к Бенгт Горну с подсказками, но он скоро успокоил их лёгким взмахом руки и жёстко вымолвил:

— Об этих городах и говорить нечего, потому что они и в прежних договорах закреплены за Швецией. Мы не только не возвратим столбовских уступок, но и требуем остальной Корельской земли, которая осталась за царём после Столбовского мира.

— После этих слов я начинаю сомневаться, что великий посол точно следует указаниям риксдага,— заявил Прозоровский.— Разве в Стокгольме не ведают, что столбовскому миру уже сорок четыре года?

— Хорошо, что господин великий посол вспомнил об этом,— усмехнулся Бенгт Горн.— Повторяю: наши требования — Корельская земля и полмиллиона золотых червонных.

— Такую награду дать от какой неволи?— изумился Прозоровский.— Лучше этой казной распорядиться по-другому, нежели напрасно давать; это вы сами можете рассудить.

— Это мы вам по дружбе объявляем,— вмешался в прю второй шведский посол Густав Бьелке,— что теперь, за Божией помощью, дела у нас идут не по-прежнему, как было пять лет назад, а запросы наши не так велики, как велики убытки, понесённые нами от войны.

Прозоровский с удивлением посмотрел на Бьелке, не ожидав от него столь прытких розмыслов, на всех прежних переговорах, тот сидел молча и только посапывал, а тут, как валаамова ослица, взял да и заговорил.

— Нам эти запросы слышать пуще войны,— сказал, едва сдерживая заполыхавший в нём гнев, русский посол.— Эти разговоры уводят нас в сторону от прямого настоящего дела и отводят наши народы от вечного христианского покоя.

Опытный переговорщик Бенгт Горн заметил, что Прозоровский находится на грани срыва, и, чтобы дать улечься страстям, предложил сделать в работе съезда перерыв. Русские запахнулись в своём шатре, шведы — в своём и принялись обсуждать дальнейшие линии поведения. Наговорившись между собой, посольства распахнули каждое свой шатёр, и прения возобновились. После долгих споров и вычетов шведы объявили, что уступают в царскую сторону остальную часть Корельской земли, но ещё с пущей наглостью потребовали от русских всё, завоеванное в Ливонии и денежной награды за убытки.

— Вы уступаете то, чего у вас в руках нет,— заявил Прозоровский.— Уступите Ивангород, Копорье, Ям, тогда великий государь поможет вам денежной казной.

На этом пункте переговоры застопорились и стали походить на перетягивание верёвки, ни шведы, ни русские не желали уступать друг другу. Спор продолжался несколько часов, наконец, переговорщики разошлись, договорившись устроить съезд через месяц, но из Кардисса не уходить до заключения мира. Этот перерыв был устроен обеими сторонами для того, чтобы снестись со своими государями, познакомить их с требованиями противной стороны и получить указания, до какого края они могут отступить, а где обязаны стоять в споре насмерть.

На другой день Прозоровский с дьяком решал, кого отправить гонцом на Москву, и Котошихин, прослышав про это, возмечтал побывать дома, оглядеть свою женку, цела ли она полностью, или что-нибудь от неё убыло, и поспешил ударить челом Дохтурову, чтобы тот замолвил за подьячего перед князем словечко, но дьяк велел ему приушипиться и быть готовым к переводу секретных шведских бумаг вместе с толмачом Игнатьевым, и с этим делом надо будет не мешкать, поскольку депеши сняты с утопшего шведского гонца, выловленного в море латышскими рыбаками, и отданы Лифляндскому воеводе.

— Сам Афанасий Лаврентиевич прибыл по этому поводу из Кокнеса,— многозначительно молвил Дохтуров.— Будь, Гришка, неподалёку, тебя кликнут.

Ордин-Нащекин, хотя и оставил посольскую службу, но сердцем к ней не остыл и с большой охотой прибыл в Кардисс. Его заботили не так шведские бумаги, выловленные в море (он глянул на них и ничего значительного для себя не открыл), как возможность узнать самому шведские условия мира. Прозоровский приезду Афанасия Лаврентиевича заметно обрадовался, он всегда привык полагаться на думного дворянина и, оставшись в одиночестве, чувствовал себя перед настырным Бенгт Горном неуверенно. Более того, Ордин-Нащекин имел с государем переписку через приказ Тайных дел и был вхож в помыслы великого государя по самым важным державным справам.

— Ничего хорошего от шведов нам не дождаться, — сказал Ордин-Нащекин, выслушав рассказ князя о первом дне переговоров. — Поражения наших войск в Белоруссии шведам на руку, теперь они упрутся в своих запросах надолго.

— Как бы выговорить из трёх завоеванных нами городов, хотя бы один? Очень уж великий государь этого желает, чтобы иметь свою пристань на Балтике, — сказал Прозоровский.

— Я уже писал великому государю, что город у шведов за большие деньги выговорить можно, — сокрушённо промолвил Афанасий Лаврентиевич. — Но как им владеть, когда кругом будут шведы, и если на этот город явятся поляки, то шведы не будут мешать его воевать. И город не сохраним, и зря деньги на него растратим. Надо по любому мириться со шведами и сближаться с поляками, они славяне, наша родня. Ради мира с ними можно и черкас им оставить…

Иван Семёнович принужден был слушать длинную речь думного дворянина о чаемом союзе России и Польши, и только иногда в глазах его промелькивало удивление: как это Ордин-Нащекин не понимает, что не в общем славянстве нужно искать братство народов, а в единоверии, которого не могло быть у католиков с православными. Взаимную религиозную неприязнь отягчала и ожесточала Брестская уния, в которой Москва совершенно справедливо узрела смертельно опасное для неё покушение на духовную основу державы — православие.

О дипломатических мечтаниях Афанасия Лаврентиевича был наслышан и великий государь, но гораздо нужнее был мир со Швецией, на этот час он стал бы благодеянием для Москвы: Малороссия опять волновалась, Польша брала верх, боярин

Шереметев сидел в оковах у крымского поганца, казна была пуста, и война затягивалась в бесконечность.

В середине апреля была доставлена великим послам отписка Алексея Михайловича с грозным напоминанием, что мир должен быть заключён немедля, и Прозоровскому было разрешено отступить в своих требованиях, но не далее условий Столбовского мира. Встречи русских и шведских послов длились почти два месяца, пока не наступило 21 июня 1661 года, день, на который было назначено подписание мирного договора. Долгая возня с его утверждением истомила обе стороны, встретившие этот день с разными чувствами: шведы явно ликовали, что им удалось, не сделав ни одного выстрела и не потеряв ни одного солдата, похерить невыгодное для них Валиесарское соглашение, а русским ликовать было не с чего: они утратили всё, завоеванное ими в Ливонии, Польша от мира со Швецией усилилась, и война за Малороссию была далеко не завершена.

Однако, какими бы ни были чувства сторон, этот день все встретили с воодушевлением по той житейской причине, поскольку мир позволял всем посольским людям скоро вернуться к своим домашним очагам после почти трехлетнего блуждания по полям и дубравам Ливонии, неустроенной кочевой жизни, которая хоть и была за казённый счёт, но заставляла тратиться и самому, ибо, где бы ни появлялось посольство, всё в округе, от сена до соли, сразу же невиданно дорожало.

Всю ночь на 21 июня на шведском посольском стане горели огни и оттуда доносились радостные крики, в ответ на которые русским нечем было даже похорохориться, и они, разойдясь по своим палаткам, предавались мечтам о скорой встрече с родными и близкими. Однако посольские люди, вернувшись на Москву, вполне ожидаемо, могли встретить и неприязнь со стороны великого государя за то, что плохо совладали с доверенным им делом. Посему Прозоровский призвал в свою палатку Борятинского и Прончищева, дабы в последний раз оглядеть условия мира, который ему завтра придётся скрепить своей подписью.

— За худой мир со свеями нам осуждения не миновать, — невесело молвил Иван Семёнович. — Наши бояре на тычки и попрёки горазды, им со стороны виднее, стало быть, что мы, растяпы, упустили, вот они и будут шептать великому государю;

он добр и всех слушает, кто к нему вхож и живёт в царских сенях. И в посольствах, как мы, не бывает.

— Бог видит, Иван Семёнович, что мы ни государевой, ни своей чести перед погаными лютерами не умалили,— сказал Борятинский.— И в ответе нам быть не с чем: не с посольскими же дьяками и подьячими, и сотней стрельцов воевать за города, которые вернули шведам.

— За города нас, может, и помилуют,— засомневался Прончищев.— А вот то, что мы оставляем в них пятнадцать тысяч бочек ржи и жита, могут и в ответ взять.

— Не горюй, Иван Афанасьевич,— усмехнулся Прозоровский.— Шведам будет мало корысти от сей добычи: и жито, и рожь изрядно затухли, всё равно их вывезти будет дороже, а зато Бенгт Горн так обрадовался нашей уступке, что согласился денежную выплату обсудить позже, в Москве. А дома и родные стены помогают.

Шведы удовольствовались подтверждением условий Столбовского мира и на оставшуюся за русскими Корельскую землю своих устремлений не простирали. Это Прозоровский отнёс к успеху своего посольства, и в письмах к Алексею Михайловичу выпячивал, как свою личную заслугу, что русским торговым людям было позволено иметь вольные торговые дворы в Стокгольме, Риге, Ревеле и Нарве, и через шведскую землю открыт путь лекарям и всяким служилым и мастеровым людям в Россию.

Утром Прозоровский велел дьяку Дохтурову и капитану Репину приступить к свёртыванию посольского стана, а сам, сопровождаемый Борятинским, Прончищевым и малой свитой, отправился к шатрам переговорного стана. На душе у князя было остудно и хмарно, и, сойдясь с Бенгт Горном, он так кисло глянул на шведского посла, что у того весёлую и довольную улыбку вмиг перекосило. Послы обменялись ритуальными речами, скрепили своими подписями мирный договор, который вернее было бы назвать планом начала будущей неизбежной войны, и русские, отклонив приглашение на пир, отправились восвояси. В шведском посольстве не стали сожалеть об их отъезде и принялись бурно радоваться своему победному миру, и шум этого гульбища ещё долго доносился до русских, которые снялись со своего стана и двинулись в сторону новой границы со шведами.

6

Русское великое посольство после подписания мирного договора со Швецией спешно откочевало из Кардисса в Псков, где стало скоро редеть служилыми людьми. Капитан Репин со стрельцами убыл под начало князя Хованского в Белоруссию, часть людей во главе со стольником Прончищевым, занялись устройством нового порубежья, а князь Прозоровский, не дожидаясь понуканий, отбыл в Москву, прихватив с собой своего товарища князя Борятинского, обоих дьяков и всех подьячих Посольского приказа, чтобы они при нужде в виноватых взяли на себя часть государева гнева, если он разразиться, и смягчили участь великого посла.

Посольский поезд в Москву не поспешал: князь не пропускал мимо себя ни одного встречного служилого человека, не гнушаясь общением даже с подьячими, и каждого расспрашивал о делах на Москве, в каком здравии пребывает Алексей Михайлович, стараясь угадать, какая встреча ждёт его в царском дворце. Эти метания князя хорошо видел подьячий приказа Тайных дел Юрий Никифоров, и поначалу они его забавляли, но вскоре надоели, однако развеять сомнения Прозоровского по поводу его участи он по своей воле не мог, поскольку был тайным соглядатаем всего, что происходило в посольстве, которого опасались все, и даже ближний великому государю боярин.

Медленная, с частыми остановками, езда, в конце концов, надоела и дьяку Дохтурову, и он решился подтолкнуть Прозоровского.

— Гляжу я на тебя, батюшка Иван Семёнович, и горюю,— сказал он, подъехав к князю.— Вестимо, что тебя беспокоит встреча с великим государем, но от царской грозы под лопухом не отсидеться, а ты посольское дело правил беспорочно, и государева милость тебя не обойдёт.

— Эх, Герасим Семёнович,— вздохнул Прозоровский.— Знать бы наверняка, не обнесли ли меня изветом мои недоброжелатели, как это уже бывало. А что Никифоров? Не изготовил ли и он на меня камень за пазухой?

— Мне доподлинно ведомо, князь, что подьячий Юрий Иванович шлёт великому государю отписки правдивые и похвальные для твоей милости.

— Что-то мне в это не верится, — усомнился Прозоровский. — Тайные люди нацелены на поиск всего худого и спешат донести царю всё, что им привидится и прислышится. Зачем Никифорову доносить про меня похвальную правду, я ведь его посулом не одарил и даже не приманивал?

— За этим дело, Иван Семёнович, у тебя не задержится, — дьяк притиснулся конём к князю поближе. — Я так мыслю, что царь миру рад, среди повальных неуспехов, наш мир со шведами смотрится как победа.

Прозоровский от этих слов заметно повеселел и взбодрился, и, оглянувшись на сопровождавших его людей, прикрикнул, чтобы они подтянулись, а ехавшему впереди дьяку Юрьеву велел ехать скорее и на ночлег становиться, когда начнёт смеркаться. Посольские люди перемене в настроении Прозоровского обрадовались, все они истомились, ожидаючи встречи с родными и близкими, задержек в пути уже не случалось, и вскоре перед их глазами открылся захватывающий дух и завораживающий взор вид на Москву с Воробьёвых гор.

Возле Андреевского монастыря, известного тем, что здесь приезжие греческие монахи начали исправление богослужебных книг, приведшее к расколу, посольский поезд остановился встреченный двумя приставами Посольского приказа. Их появление окончательно убедило Прозоровского в том, что ему нечего опасаться государевой немилости, приставы объявили князю, что ему назначена торжественная встреча с великим государем в Золотой палате, и посему посольству следует к ней подготовиться — отпарить и отмыть дорожную грязь в монастырской мыльне, переодеться во всё чистое и лучшее, чтобы предстать назавтра перед пресветлыми государевыми очами.

Приставы остались с посольством, и один из них, освободившись от общения с великим послом, порыскал глазами, и, отыскав взглядом Котошихина, поманил его к себе. У подьячего ёкнуло и затрепыхалось сердце: после битья батогами он стал дрожливым, как пуганая ворона, и призывный жест пристава его переполошил.

— Крепись, Гришка, у тебя случилась беда, — сказал тот. — Да не падай! Твои все живы, только жить им негде: судья Земского приказа приговорил отцовские и твои зажитки отписать в казну.

— За что такая кара? — всхлипнул Котошихин.

— Того я не ведаю, — сказал пристав. — Да не распускай нюни, отпросись у посла и ступай улаживай своё несчастье.

Котошихину крепко помог дьяк Юрьев, перед которым тот пал на колени. Прозоровский на радостях от благообещающей встречи с великим государем отпустил подьячего с крепким наказом вернуться к посольству утром следующего дня. Получив разрешение, Гришка взял с обозной телеги куль со своими вещами, привязал его к седлу и, сев на доброго польского коня, купленного им по случаю у пропившегося шляхтича, отправился на поиски своей семьи.

«Какого я дурака свалял! — корил себя Котошихин, направляясь к своему дому. — Надо было давно отделиться от батьки и жить своим домом. Тогда бы не случилось такой беды. Ясно как Божий день, что это отец накликал её на безвинные головы».

Подворье Котошихина находилось на краю Китай-города и было не хуже, чем у соседа дьяка Орланова. Такой же сосновый сруб на подклети, амбары, поварня, мыльня, конюшня, прочная бревновая изгородь и ворота, над которыми находился небольшой образ Николы Угодника.

Котошихин привстал на стременах и поверх изгороди оглядел двор. Он был пуст, а двери избы заколочены двумя крестообразно сложенными досками. Гришка беспомощно огляделся по сторонам, по дороге сюда он надеялся, что посольский пристав зря пугал его, но теперь понял, что беда явилась к нему самая настоящая, и от неё ему негде схорониться.

На всякий случай он громко несколько раз кликнул свою женку. Ответом ему было молчание. «Куда же собака подевалась? — поразился Гришка. — Она же со двора ни разу не сходила. Ужели и её отписали в казну?»

— С приездом, Григорий Карпович! — раздался у него за спиной надтреснутый старческий голос.

Он обернулся и увидел выглянувшего из ворот своего дома приходского диакона Серафима, направлявшегося на службу в церковь.

— Не ведаешь, батька, куда мои подевались? — вопросил Котошихин. — Что за гроза поразила моё жилище?

Серафим прикрыл за собой малую дверцу ворот, бойко для своих лет перескочил через лужу и приблизился к соседу.

— Разве тебе не ведомо, что дом отписан на казну?

— Только узнал про сие несчастье, — сказал Гришка. — Отец, наверное, в своём монастырьке, а где моя женка, где дети?

— Где им быть, как не у меня, — смиренно промолвил Серафим. — Притулились до твоего приезда в амбарушке, и женка, и дети, и собака. А наехал на твой дом сам судья Земского приказа Прокофий Елизаров с полудюжиной приставов, и всё из него вывезли, заколотили избу, а женку и детей вытолкали на улицу. Ступай к ним, они глаза выплакали, тебя ожидаючи.

— Я у тебя, батька в вечном долгу! — сказал Котошихин, торопливо сходя с коня. — Не ведаю, чем и отблагодарить тебя за твою доброту.

— Ступай к своим, — засмущался диакон. — Помощь моя невелика и всякому по силам.

Верный пес Облай почуял хозяина и, выскочив из-под амбара, кинулся к нему навстречу. На шум из избы выглянула диаконица, поклонилась Котошихину и убралась к себе.

— Будет лизать! — прикрикнул Гришка на собаку. — Веди к своим.

На задах диаконова двора стояли два амбарных сруба, к двери одного из них и кинулся Облай с радостным повизгиванием. «Что они, куда запропастились? — забеспокоился Котошихин, но тут же на пороге появился светловолосый малыш, а за ним другой, чернявый, в отца, оба враз узнали родителя и кинулись к нему на руки.

— А где мамка? — обеспокоенно спросил Котошихин.

— Она захворала, — ответили малыши.

Он опустил их на землю и прошёл в амбар, где на освобожденном от бочек и кулей месте стояла вплотную к стене широкая лавка, на которой под старой овчиной лежала бледная изможденная женщина.

— Что, Устиньюшка, не можется? — вымолвил, склонившись над ней, муж. — Где болит?

— Ох, Гришенька, — застонала Устинья. — Налетели на дом приставы, как татары! Один ирод шибанул меня от сундука, я так о порог грудью ударилась, что не чаю теперь и оживеть.

— Сафроныча призывала?

— Сразу же батька Серафим его привёл, да только вряд ли помогут мне его примочки и питьё.

— А что мой батька? — сказал Гришка. — У себя в монастыре бытует?

— А где же ещё? — зло вымолвила Устинья. — Ещё до приставов там укрылся, а может, его и оттуда взяли в тюрьму.

— В чём же его виноватят? — сказал Гришка. — Ведь за просто так пристава вряд бы наехали.

— Того не ведаю, — поморщилась Устинья. — Твой батька известный пролазчик, и ты такой же, и вся ваша Котошихинская порода такая бедовая.

— Как же вы тут без меня выжили? — сказал Гришка. — У тебя и денег-то нет.

— Спасибо батьке Серафиму и диаконице, она, что себе готовила, тем и нас кормила. Ты с ней, Гришенька, разочтись, да сходи, поспрашивай, может, у кого пустая изба имеется для житья. Наш дом из казны, видно, не взять.

— Пойду в Земский приказ, — сказал, поднимаясь с лавки, Котошихин. — Узнаю, в чём родителя виноватят. Не горюй, Устинья, я правду найду!

— Только будешь правду искать, так не заискивайся до завтрашнего дня. Не забудь купить ребятам пирогов, они весь день нежрамши, а у меня, хоть шаром покати, пусто, — слабым голосом вымолвила Устинья. — И в кружало не заходи, а то голый оттель выйдешь.

— Я должен быть утром с посольством у самого царя, — гордо произнёс Котошихин. — Не успеет стемнеть, как я явлюсь.

Земский приказ, ведавший всеми сторонами жизни московский жителей, был, пожалуй, одним из самых многолюдных мест в столице. Возле огромной, о трех этажах избы, перед входом в которую стояли две большие пушки, с утра до ночи не стихала шумная людская толчея. Из каменной подклети приказа, где содержались осуждённые или схваченные для разбирательства люди, доносились стоны, вопли и просьбы многочисленных узников; прямо у дверей приказные приставы били батогами распятого на скамье человека, в одну и ту же широко распахнутую дверь в избу входили челобитчики, в очах которых светилась надежда и через некоторое время они выходили на улицу, и редко кто из них был весел и доволен. Московская власть была строга к людям и снисходительна лишь к самой себе.

Пообтёртый службой в приказах, Гришка не полез в дверь, а высмотрел своего шапочного знакомого земского подьячего Есина, который, затолкав за пазуху однорядки посул какого-то

купчика, намеревался зайти в приказ. Котошихин настиг его в несколько шагов, ухватил за рукав и горячо зашептал ему на ухо свою просьбу.

— Жди, я скоро! — кивнул Есин и, оттолкнув с пути нерасторопного челобитчика, поспешил в избу.

Котошихин отошёл в сторону и, привалившись спиной к горячей от солнечного тепла стене, приготовился к долгому ожиданию, но подьячий не задержался и довольно скоро стал кликать Гришку с крыльца.

— Твоё, брат, дело мне не по силам, — объявил Есин. — Приставы, что описывали твой дом, не ведают, за что тебя осудили. Плохо, что этим занялся судья Елизаров, от него добра не жди.

— Что так? — удивился Котошихин. — Я на Москве, уже скоро три года, как бываю только наездами. Если кто и виноват, так мой родитель, но за что лишать крова меня?

— Думный дворянин Елизаров в приказе ведает тайными делами, — зашептал Есин. — Ему подчинены все московские ярыжки и приставы, знать, они и сведали что-нибудь про твоего отца недоброе, и судья взял его в розыск.

— А где Елизаров теперь? — спросил Котошихин.

— Где ему быть, как не в приказе, — ответил Есин. — Если ты надумал идти к нему, то остерегись, не болтай лишнего, он любит, когда с ним говорят, не подымая глаз и стоя на коленях.

Земский подьячий исчез в тёмных недрах приказа, и Котошихин, поколебавшись, отправился туда же, в поисках справедливости для себя и своих близких. Здесь было гораздо шумнее и беспокойнее, чем в Посольском приказе, по многочисленным комнатам находились многие десятки подьячих, вокруг которых роились челобитчики и ответчики со своими стенаниями, слезами и посулами. Всяк, бывший здесь, спешил разрешить дело в свою пользу, но это удавалось сделать немногим. Интересы казны были выше справедливости и если уступали в чём-то, то совсем ненамного, алчности приказных чинов.

Думный дворянин и судья Земского приказа Прокофий Кузьмич Елизаров обитал на верхнем этаже приказной избы и, к удивлению Котошихина, в его углу было нешумно. Подьячие, все весьма благообразного вида, скоро поскрипывали перьями, с челобитчиками, в которых Гришка разглядел доносчиков,

разговаривали шепотком, и, записав сведения, отправляли их к столу, за которым восседал приказной чин, небрежно кидавший в протянутую ладонь посетителя несколько мелких монет.

— Ты здесь первый раз? — подскочил к Котошихину приказная служка. — Ты от кого?

Гришка понял, что его приняли за начинающего свой каинов путь доносчика, и смутился до немоты.

— Говори, что у тебя есть?

— Мне надо к думному дворянину, — обрёл Котошихин дар речи.

Посетитель не походил на обычного доносчика ни одеждой, ни замашками, и служка нашёл нужным его выспросить, кто он такой, и, услышав ответ, подвёл к чистой двери, за которой Гришка скоро узрел своего гонителя.

— Кто такой? — шелестящим шёпотом вопросил Елизаров, уставившись острым взглядом в макушку павшего наземь просителя.

— Я, милостивец, Гришка Котошихин, подьячий Посольского приказа, у которого по твоему слову отписан дом и все имения, — он осмелился поднять голову и, встретив свирепый взор судьи, вновь потупился. — Яви, милостивец, снисхождение, я за собой никакой вины не ведаю, но разорён, женка и дети живут у соседей в худой амбарушке, а я только сегодня въехал в Москву с посольством боярина Прозоровского, не жил на Москве почти три года и к здешним делам не причастен.

— Герасим! — глядя мимо челобитчика, рявкнул Елизаров.

Через оконце в стене высунулось нечто рыжее и пучеглазое.

— Подай мне бумаги сирийского монаха!

Через несколько мгновений в окне показалась рука, ловко кинувшая бумажный свиток на стол судьи. Елизаров развернул его, пожевал губами и свирепо воззрился на Котошихина:

— Табак пьёшь?

— Упаси Бог, милостивец! Сам не пью и не вожжаюсь с теми, кто этим грешит, — жалко пролепетал Гришка, недоумевая, откуда вдруг над ним разразилось табачное дело, за которое, после торговой казни кнутом, можно было легко попасть в каторжную ватагу охотников за мягкой рухлядью где-нибудь за Байкалом.

— А ну-ка, дыхни, только не прямиком на меня, а чуть в сторону! — велел думный дворянин и пошевелил ноздрями. —

Закрой пасть и проваливай отсель, пока я не отдал тебя палачу!

Недавно прошедший через батоги Котошихин мигом уразумел, что ему посулил судья, и, пятясь, покинул комнату, затем опрометью кинулся из приказной избы и опомнился лишь неподалеку от Лобного места, плюнул в его сторону и перекрестился на узорчатые луковицы и золотые кресты храма Покрова. Вернувшись к коновязи, он сел на своего коня и поехал на окраину Москвы, где находилась невеликая монастырская обитель, в которой монашествовал келарем его отец Карп Пантелеевич, нашедший здесь приют с десяток лет назад, после скоропостижной смерти жены и вхождения во взрослость сына, что сделало возможным приобретения им иноческого сана.

Много монастырей было в ту пору в Москве и близ неё, но, к несчастью, не все они отличались благочестием, были и такие обители, где заправляли игумены, которые смахивали на атаманов воровских ватаг, и монастырёк, где келарем был Карп Котошихин, заимел худую славу у московских властей после того, как в нём два года пожил некий сирийский монах, явившийся на Русь исправлять богослужебные книги, но прихвативший с собой изрядное число кулей с табаком, за куренье и питье которого светские и церковные власти приговаривали табакоядцев к свирепым казням.

Монастырский воротник знал сына келаря и пропустил его через малые ворота, из коих Гришка сразу направился в избу, где находились покои игумена и его правой руки келаря, ведавшего всей хозяйственной жизнью монастыря. Дверь в келью отца была полуоткрыта, Гришка протиснулся вовнутрь и перекрестился на тёмный лик спасителя.

Карп почуял чужое дыхание и, закрыв книгу, резко обернулся. В глазах отразилась охватившая его растерянность.

— Как! — испуганно воскликнул отец. — Ты уже здесь, на Москве!

— Стало быть, ты надеялся, что я сгину в Ливонской земле, — обиделся Гришка. — Что, тятя, стряслось? Ты спрятался в монастыре, а моих жену и детей бросил без крыши над головой. Как это понимать?

— Обнесли меня изветом, Гришенька! — пролил скорые плутовские слезинки Карп Пантелеевич. — Донесли мои недруги в Земский приказ, что у меня недостаёт в монастырской казне более ста рублей. Что за бредни! У меня двадцать рублей в руках

не бывало. Наехали пристава, изъяли приходно-расходную книгу, а там у меня всё сходится тютелька в тютельку…

— А за что дом в казну отписали? — перебил отца Гришка. — Нет тебе, тятенька, угомону с твоими плутнями, а они тебя точно под кнут подведут!

— Как ты можешь говорить такое родителю? — возмутился Карп Пантелеевич. — Побойся Бога!

Гришка к божбе был равнодушен и небесной кары пока, не страшился.

— А почему меня судья Елизаров о табаке спрашивал? — вопросил он. — Кто такой сирийский монах?.. Я ведь не глухой и не слепой. И у тебя нос в сирийском табаке, и у игумена, вот ярыжки и обложили вас, а казнят меня и жену с детьми.

— Угомонись, Гришка! — осерчал отец. — Молод ещё меня судить, поживи с моё и поймёшь, что горько, а что сладко.

— Зря я от тебя не отделился и не зажил своим домом. Тогда бы мои дети не попали в сироты при живых отце и деде.

— Разве я не горюю, — сказал Карп Пантелеевич и, вздохнув, извлёк из-под лавки кожаный кошель. — Вот, Гришенька, пять рублей с полтиной, купи внучаткам от меня сладкого, а сам оглянись по сторонам, может, и найдёшь угол, где притулишься с жёнкой и детьми, пока наша правда явится.

— Долгонько ждать её придётся, — проворчал, забирая у отца деньги, Гришка. — А почему не серебром? Или в монастырях осталась одна медь?

Котошихин добрался до подворья диакона, когда уже стало смеркаться. По пути он накупил всякой еды, не забыл и сладкого для детей, а батька Серафим тоже его помнил: нашёл для сиротской семьи пристанище, половину пустой избы неподалёку от своего храма. Гришка тут же направился с ним к хозяйке и столковался на полгода за один рубль, и уже в потёмках переселил семью на новое место проживания до той поры, пока не определится окончательно судьба отписанного в казну подворья.

На новом месте Гришка спал без задних ног, но долго залеживаться ему не дал громкогласный вопль огнистого петуха, который выбрал себе место для возглашения здравницы новому дню на заборе, как раз против открытого по-летнему оконца, под коим на лавке почивал посольский подьячий. Петух разбудил его в самый раз, ему надо было спешить на Воробьёвы горы, откуда начинался обряд въезда посольства в Москву.

Гришка, прихватив сапоги и одежду, вышел на цыпочках из избы, умылся в бочке с дождевой водой, выхлопал штаны, кафтан, обулся, оделся и, ведя в поводу коня, вышел на улицу, где изловчился получить благословение у спешащего в храм приходского попа Вассиона, и отправился к посольству.

Утром все спешили к Кремлю, кто на торг, кто по делам в приказы, и Котошихину пришлось ехать навстречу людского движения, пока он не догнал стрелецкий приказ и конницу, которые, как и Котошихин, спешили к посольству, чтобы торжественно сопровождать его к царским палатам.

Дохтуров обрадовался появлению подьячего и указал ему место в строю посольства. Из ямской избы вышел, сияя алмазами и золотом праздничного облачения, князь Прозоровский, за ним явился в не менее дорогой одежде князь Борятинский, денщики подвели к ним коней в драгоценной сбруе, великие послы на них воссели, за ними погрузились на коней все посольские люди, хрипло взревели трубы, завизжали рожки, заухали от ударов колотушками громадные барабаны — тулумбасы, и посольский поезд, который вели приставы, двинулся в Москву, которая сияла в подгорье сорока сороками куполов православных храмов, откликнувшихся на торжественный посольский въезд малиновым, серебряным и прочим колокольным звоном, наполнившим души москвичей радостным, до озноба, трепетом.

Хотя подьяческая душа Котошихина была опалена невзгодами и заскорузла от сонма неправд, но и она вострепетала восторгом от сопричастности её владельца ко всему, что происходило вокруг. А Москва умела встречать и чествовать: вдоль улиц и на Красной площади была тьма-тьмущая праздного народа, который глазел на приезд послов, ради которых, когда они вступили в Кремль, страшно и дымно ударили пушки и начался такой гвалт, что с Ивановской колокольни слетели самые древние вороны, которые помнили ещё Дмитрия Донского и, махая тряпочными крыльями, закружились над ликующими людьми.

Дьяк Дохтуров сказал князю Прозоровскому истинную правду: государевы умники, его ближние бояре, подсказали царю мысль превратить заключение негодного для России мира в празднование удачи, и Алексей Михайлович молча с этим согласился, резонно посчитав, что Конотопский и Уманьский разгромы пора забыть навсегда и хватит жить, оглядываясь на беду, это пагубно для будущего державы.

Великие послы и дьяки, сойдя с коней, проследовали в сопровождении бояр в Золотую палату, где преклонили перед великим государем колени и передали ему писанную золотом с листьями грамоту о заключении мира между Россией и Швецией. Затем дьяк Алмаз Иванов объявил о награждении посольства. Боярин князь Прозоровский, князь Борятинский и стольник Прончищев получили большие денежные и поместные дачи. То же самое, только в меньших размерах, было пожаловано дьякам Юрьеву и Дохтурову. Не забыли и посольских подьячих, им всем было увеличено годовое жалование и дадены серебряные фунтовые кубки.

Думные чины и посольские дьяки удостоились чести быть званными гостями на царском пиру, подьячих во дворе не угощали, но каждый из них получил по жареному лебедю и штофу водки, к которым были присоединены по два пирога, один с мясной начинкой, другой с рыбной. Снедь была уложена в плетёный из ивовых прутьев бочонок с ручкой и ремешком, который Котошихин привязал к седлу и отправился домой: дьяк Алмаз Иванов объявил всем подьячим, бывшим в посольстве, недельный отпуск от занятий в Посольском приказе.

Глава вторая

1

Дорога на шведскую сторону была Котошихину хорошо известна, и он без задержек прибыл на пограничный переход близ Нарвы. Новый рубеж едва начали обустраивать, первой срубили почтовую избу, где обосновался подьячий, который отвечал за получение дипломатических депеш из западных стран и отправление их с нарочными в Москву. Котошихина он знал по его прежним поездкам за границу, и в подорожную грамоту, где на двух языках, шведском и русском, было прописано, куда государев гонец следует и сколько людей для своей охраны имеет, подьячий едва заглянул, а вызвал трубача и велел ему трубить что есть мочи на шведскую сторону.

И скоро до русских донеслись ответные звуки, услышав которые почтовый начальник велел своим людям садиться на коней, чтобы сопроводить государева гонца, сдать его шведам и получить от них заверения, что с ним не случится какого-нибудь худа.

Встреча произошла на берегах узкого и сонно текущего ручья, который был рубежом между странами. Шведы явились, как и русские, без оружия и с любопытством выглядывали тех, кто направляется к ним в гости. Королевский поручик взял переданную ему подорожную грамоту царского гонца, вычитал её на два раза, оглядел Котошихина и его сопровождение и съехался с русским пограничным подьячим. Они вынули из кожаных сумок тетради и расписались друг у друга в том, что сего дня был совершен переезд границы, и они это подтверждают.

Застегнув кожаную сумку, поручик приглашающее махнул рукой Котошихину, и в это время оба трубача вострубили так громко, что плохо объезженный конь царской конюшни, что был под Котошихиным, взбрыкнул, но Гришка его твёрдой рукой успокоил и направил в ручей, который жеребец преодолел одним скоком и вымахнул на берег, оставив за собой сорванный копытами дёрн.

Швед произнёс заранее заготовленную приветственную речь. Котошихин ответил ему на его языке, чем удивил поручика, который с трудом поверил, что скифу доступна речь викингов, и он благожелательно оскалился, и в ответ получил ухмылку московита, в которой можно было узреть всё, что угодно, но только не радость нечаянной встречи.

Дьяк Алмаз Иванов велел Гришке не дремать в седле и, въехав на шведскую сторону, зорко смотреть и примечать, сколько встретится воинских людей, пушек, какие работы ведутся в Нарвской крепости, что за корабли и чьих стран пребывают в гавани. Указание посольского дьяка было Котошихину не в тягость, он и без его подсказки всегда норовил всё высмотреть, что есть любопытного за чужим забором и нельзя ли этим как-нибудь попользоваться, и по дороге в Нарву вертел головой из стороны в сторону, но так ничего путного и не углядел, кроме того, что чухонки не в пример титястее русских баб, и у него загорелось удостовериться в этом своими руками, но случилось сие явно не ко времени.

Нарва была всего в нескольких верстах от границы, и скоро они увидели предместье, а над ним высокие каменные стены крепости,

в которой находился шведский город: ратуша с трепещущим наверху знаменем, каменные избы купцов, такие же амбары и казармы для солдат. Гришка всё это высмотреть не успел, как оказался на крыльце губернаторской каменной хоромины с островерхой крышей и стрельчатыми узкими окнами.

— Его превосходительство губернатор Якоб Таубе приветствует гонца великого государя Малыя и Белыя и Великия России! — напыщенно произнёс встретивший Котошихина лёгким поклоном шведский чиновник. — И приглашает его в свои хоромы на аудиенцию.

Столь торжественная встреча смутила Гришку, и он забыл, что ему следует говорить в ответном слове. Бывалый швед понял его состояние и лёгким движением руки указал на двери. Клацая подкованными сапогами по гранитному полу, Котошихин вошёл в небольшой зал и чуть не натолкнулся на железного мужика, который стоял, подпирая покрытой железным шлемом головой дубовую балку потолочного покрытия. «Кукла!» — сообразил Гришка и безбоязненно прошёл в более обширный зал, где, несмотря на августовское тепло, топилась большая печь, и в распахнутом, без дверок, зеве на поленьях приплясывало пламя, отражаясь красноватыми бликами на бледном лице нарвского губернатора. Якоб Таубе был одет в приталенный с просторными рукавами камзол, отороченный кружевным воротником, на ногах у него были башмаки с серебряными пряжками, тощий зад, худые бедра и икры обтягивали вязанные из тонкой шерсти штаны.

Губернатор повернулся к гонцу русского царя, и его гладко выбритое лицо озарила дружеская улыбка, а глаза залучились неподдельным интересом к гостю. Пока Гришка раздумывал, что бы ему сказать значительное и заковыристое, дабы подчеркнуть важность возложенного на него государева поручения, Якоб Таубе, не чинясь, легко приблизился к нему и протянул для рукопожатия узкую и твёрдую, как дерево, ладонь.

— Со счастливым прибытием, господин Котошихин, — ясно выговаривая русские слова, произнёс губернатор. — В ногах правды нет, как говорят московиты, посему прошу к столу.

Гришка обомлел от такого обращения шведского боярина к своей подьяческой особе, он робко глянул на губернатора, не изволил ли тот пошутить, но встретил тёплый участливый

взгляд, который вмиг согрел его озябшую от настороженности душу обещанием чего-то радостного и сладкого, что не замедлило явиться на столе в виде двух штофов с длинными узкими горлышками, хрустальными чарками, блюдами, наполненными призывно пахнущими кусками мяса и рыбы и засахаренными яблоками и грушами. Гришка сделал несколько шагов и вдруг в его ушах отчётливо прозвучал голос дьяка Алмаза: «А буде свеи делать тебе подарки, а тем паче усаживать за стол с хмельным и сладким, то беги от немецкой сладости сломя голову и ведай, что лютеры коварны и добры к православным лишь для того, чтобы охмурить их и сверзить в воровство во вред своему Отечеству».

Якоб Таубе заметил, что гость вздрагивает и начинает замедлять шаги, и легонько начал его подталкивать к столу, но тут произошло то, что сокрушило оборону упрямого московита: из другого зала появилась белолицая в бирюзовом одеянии девка и, поддерживая пухлыми ручками подол, жеманно присела в поклоне, учтиво пожелав Гришке доброго здоровья.

— Это моя племянница Марта, — подтолкнул его губернатор. — Она весьма любопытна и упросила меня познакомить с московитом, чтобы ей было, что рассказать по приезду домой.

Перед глазами Котошихина опять мелькнул грозный образ дьяка Алмаза, он беспомощно глянул на Марту, а та улыбнулась ему в ответ, и в её глазах зажглись шаловливые искорки. Он стал подыскивать в памяти подходящие шведские слова, чтобы уклониться от расспросов, но явившийся лакей подсунул ему под колени стул, и Котошихин упал на него седалищем. Якоб Таубе и Марта разместились на другой стороне стола, слуга наполнил бокалы вином и бесшумно удалился.

Гришка изрядно проголодался, но старался вести себя за столом чинно и довольно удачно повторял то, что делал Якоб Таубе: оставил в бокале недопитое вино, мясо брал двузубой вилкой, старался не чавкать и не ронять на белую скатерть крошки и объедки. Марта вкушала хлеб и мясо маленькими, нарезанными ножом, кусочками и пока не проявляла внимание к гостю, но тот не забыл, что сейчас ему опасен не губернатор, а девка, которая явилась сюда с явным намерением сделать ему дурно.

— Дядюшка мне поведал, что все московиты исповедуют веру в Христа, — осторожно промолвила Марта.

— Истинно так, — сказал Котошихин. — Русские все христиане, мы исповедуем православную апостольскую веру.

— Но если вы христиане, тогда почему своих женщин держите взаперти и не даёте им воли ходить, где им вздумается. Этим вы не отличаетесь от татар и турок.

Гришка поперхнулся куском мяса и, покраснев до корней волос, беспомощно взглянул на хозяина, а тот, постучав легонько ножом по глиняной тарелке, назидательно промолвил:

— Московиты живут по своим законам, хороши они или плохи, решать им самим.

Котошихин перевёл дух, но Марта не угомонилась, а продолжала цепляться к нему то с одним, то с несколькими каверзными вопросами, от большинства из них он отмыкивался, и за него обстоятельно отвечал губернатор, весьма удививший посольского подьячего разумными суждениями о России. Гришка невольно сравнил это с теми дурацкими мнениями о шведах, которые ему приходилось слышать от высоких думных чинов на Москве, и сравнение это было в пользу Якоба Таубе, который о русских судил здраво, даже с явным сочувствием к их нелёгкой судьбе жить среди лесов и болот под властью враждебных народу царей и бояр. Гость внимательно к этим словам прислушивался, но полного согласия с ними не испытывал, что-то, при всей их правдивости, царапало его душу, возможно, это была обида на тех, кто сумел устроить свою жизнь без русского безурядья, а поделиться секретом, как это сделать, с другими не спешит, и оставил себе в вечное удовольствие насмехаться над неповоротливыми восточными соседями, отталкивая их от побережья Балтийского моря.

Обед подходил к благополучному завершению, и все остались довольны: Марта тем, что заставила гонца русского царя краснеть и прятать глаза от её настырных расспросов, Гришка был счастлив, что не сморозил чего-нибудь непотребного за губернаторским столом, Якоб Таубе по натуре был философом и любил порассуждать, и это ему вполне удалось сделать перед Котошихиным, который не догадывался, что гостеприимство нарвского хозяина объясняется совсем другими причинами, чем хлебосольство и дипломатические обычаи.

— Я велел снарядить для тебя большую быстроходную лодку, — прощаясь с Котошихиным, сказал губернатор. —

Впрочем, хозяина лодки ты знаешь: это наш нарвский купец Овчинников.

Кузьма Афанасьевич стоял на крыльце губернаторского дома и встретил Гришку бурным всплеском радости:

— Григорий Карпович! Я уже не чаял с тобой увидеться. Думаю, ну всё — мир нас разлучил надолго.

— А разве ты не собирался с немецкими товарами явиться на Москву? — удивился Котошихин. — Мир всегда купцам на руку.

— Это сказано не про меня, — сказал Овчинников. — Я на Москву не въездной и могу торговать с русскими купцами лишь здесь в Нарве и других городах, кои определены для торга на побережье.

— Стало быть, тебе от мира не выгода вышла, а утеснение?

— Это как поглядеть, — усмехнулся Овчинников. — Конечно, привези я товары в Москву, я бы взял за них дороже, чем здесь, но, во сколько мне станет дорога. Всякие сборы в государеву казну? А воры на Руси разве повывелись?

— Чего-чего, а воров у нас в избытке, — сказал Котошихин. — А ведь мне, Кузьма Афанасьевич, губернатор дал тебя в проводники до Стокгольма.

— Доставлю в лучшем виде. Твои ребята у меня во дворе храпят без задних ног. Веди коня в поводу, в городе тесно живут, и мы скоро будем у меня дома.

Встречные люди раскланивались с купцом и с любопытством взирали на Котошихина, который после неудобства, испытанного им на губернаторском обеде, чувствовал себя рядом с Овчинниковым на одной ноге. Купец, казалось, тоже был рад встрече со знакомцем и, проходя мимо трактира, откуда источались дразнящий нюх запахи копчёной рыбы и пивной пены, предложил навестить весёлое заведение, но Котошихин решительно отверг это предложение, сказав, что делу время, а потехе час, и они непременно здесь побывают на обратном пути, когда вернутся из Стокгольма.

Посольские служки, пользуясь случаем, спали, и Котошихин их растолкал: он намеревался сам отдохнуть, и на это время передал охране сумку с письмом царя с наказом хранить её как зеницу ока и всегда находиться около неё вдвоём, пока третий отлучится по нужде в отхожее место.

Для верности спать Гришка лёг на лавку неподалеку от посольской сумки, но сон долго к нему не шёл, подьячий

первый раз был в такой важной государевой посылке, в другое время он бы радовался этому, как дурак кумачовой тряпке, но после батогов в его душе надтреснуло что-то, и она уже не откликалась радостным трепыханием на всякий новый успех по службе. Гришка стал понимать, что ему трудом праведным не нажить палат каменных, и в первую голову надо стараться о себе, а дурни, готовые сломать себе на государевой службе шею, ещё не перевелись и никогда на Руси не переведутся.

Заснуть толком Гришке не удалось, и в полудрёме он прокачался на лавке до сумерек, пока не поспешил по нужде во двор, где попал под частый и холодный дождичек, взглянул на небо, всё оно было, как холстинными кулями с соломой, набито тучами, и это царского гонца опечалило, он огорчился тому, что придётся застрять в Нарве надолго, а по государеву указу ему надо было спешить, не оглядываясь ни на какие преграды.

Вечером приказчик принёс для служек полуведёрный горшок гречки с мясом и каравай хлеба, а Котошихину поклонился до земли и сказал, что хозяин его ждёт в своих покоях на вечернюю трапезу. Гришка прикрикнул на служек, чтобы они лезли в горшок ложками не скопом, а в очередь, и направился к Овчинникову, который встретил Гришку с распростёртыми объятиями, как самого близкого друга.

— Давненько мы, Гриша, не сиживали оба два за чаркой доброго вина и неспешной беседой. Я помню нашу последнюю встречу в харчевне у того самого Исайки, помню, будто вчера это было, но с той поры уже полтора года минуло, как корова языком слизнула.

— Да, много воды с той поры утекло, — промолвил Котошихин. — У тебя, Кузьма Афанасьевич, гляжу, серебра в бороде заметно прибыло, а уж, сколько его тебе в закрома накапало, про то один Бог, наверно, ведает.

— Вода камень точит, — довольно произнёс купец. — Торговый достаток растёт невидно; а ты тоже за это время возмужал: и в теле, и в голосе крепь чувствуется, и возвысился до царского гонца, сам губернатор тебя величает и потчует. Добро и то, что меня не забыл, уважил, хилого, приходом на сию трапезу.

— Будет тебе сиротой прикидываться, — заметил Гришка. — Ты своё счастье в своей горсти держишь, а моя судьба обитает в щепотке того же дьяка Алмаза Ивановича: придёт ему нужда и разотрёт он меня между пальцами в труху и развеет по ветру.

— Не будем о грустном! — встрепенулся Овчинников и наполнил чарки вином. — Выпьем за удачу, чтобы завтра нам был попутный ветер в корму на весь путь до Стокгольма.

Они опорожнили чарки, закусили копчёной рыбой, Котошихин заметно повеселел, расправил плечи и с хитрецой глянул на хозяина.

— А ведь ты, Кузьма Афанасьевич, по своим повадкам уже стал нерусским.

— Это почему же? — чуток нахмурился Овчинников. — Я православной веры держусь крепко, какой же я немец?

— Ты сказал здравницу за удачу, а не за своего природного великого государя Алексея Михайловича, да ещё перед его гонцом к свейскому королю, которого ты, по своему подданству, должен здравствовать наравне с Алексеем Михайловичем.

— У шведов нет в обычае чествовать на каждом пиру своего короля, здесь его никогда рядом с Богом не ставили, как это на Москве делается. Это там всё счастье, вся удача каждого человека в воле царя, а здесь любой швед распоряжается собой по своей воле.

— Так уж и каждый! — с ехидцой произнёс Котошихин. — Будто у вас нет холопов и бояр, или как они там называются.

— Холопов здесь точно нет, — сказал Овчинников. — Здесь нет кабалы, как в России. И каждому открыт путь наверх. Упреждаю твой вопрос: каким образом? Через учение! Здесь все чиновники закончили университетскую науку. А как на Москве? Зачем далеко ходить, пусть не в обиду будет, возьмём тебя. Я, брат, о тебе наслышан, что ты горазд писать слогательно грамоты за послов, свейский язык самоукой постиг, почти все статьи «Соборного уложения» знаешь на память. На тебе многое в русском посольстве держалось, ты государю своим тщанием многое сохранил из того, что могло уплыть в шведские руки, а как ты награждён за свои труды и лишения на посольской службе? Знаю я эти награды, дали, поди, посеребренную чарку и несколько рублей, которые ты уже снёс в кабак. Или чем ещё наградили?

Последние слова Овчинников произнёс без всякого умысла, он не знал, что Гришка был бит батогами, но того бросило в жар. Он, удивив хозяина, схватился за штоф, наполнил чарку всклень и выпил одним духом. Кузьма Афанасьевич как бывалый человек, не показал своим видом, что задет поступком гостя и заботливо вымолвил:

— Закуси, Гриша, икоркой, такой ты ещё не едал.

— Мне твоё притворство, Кузьма Афанасьевич, не по душе: ведь ты знаешь, что я был бит батогами за описку в государевом титуле?

— Как перед Богом клянусь! — перекрестился купец. — Ни сном, ни духом не ведал, что ты побывал в такой беде. Прости меня, неразумного, если задел тебя неловким словом.

Гришка заскрежетал зубами, сдерживая подступившее к горлу рыданье, всхрапнул, как конь, и, уронив лицо в ладони, заплакал. Вид плачущего мужика смутил Овчинникова, он захлопотал возле Гришки, стал говорить ему ласковые и успокоительные слова, поглаживал его то по голове, то по спине, наконец, налил полную чарку вина и поднес её к губам посольского подьячего, как лекарство больному. Вместе со слезами Гришка выпил вино и стал успокаиваться. Теперь ему было стыдно за слабодушие, которое он обнаружил перед хозяином, и он резко встал со стула.

— Гляди, завтра не проспи, Кузьма! — пряча за грубостью своё смущение, сказал Котошихин.

— Как можно! — воскликнул Овчинников. — Мне и самому позарез надо в Стокгольм на торг с англичанами. Не горюй, Григорий Карпович, пошумлю тебе затемно.

Дождь к утру перестал, но на реке стоял густой и влажный туман, в котором большая лодка с мачтой находил путь к морю, повинуясь течению и опытному рулевому. В устье туман начал рассеиваться, порывы ветра стали рвать его на клочья и разносить по сторонам, над лодкой взметнулся парус, и она, причмокивая обшивкой на волнах, понеслась по золотистой дорожке, которую постелило перед ней всходившее за кормой утреннее солнце.

Котошихин и его свита со страхом поглядывали на уходящую из глаз землю, на море они ни разу не бывали, и предложение Овчинникова залечь в спячку приняли с большим желанием, чтобы не видеть вокруг себя наяву огромную всхолмленную волнами водную пучину, в которой, до поры до времени, затаилась погибель каждого из них.

На третий день Котошихин уже был в Стокгольме, расположенном в проливе между заливом Сальтшен и озером Меларен, на острове Стаден. Овчинников поспешил известить шведские власти о прибытии гонца русского царя, а Гришка тем временем готовился к исполнению основной части государева

поручения. Вручать грамоту надлежало в кафтане, который уже полдня проветривался на нижней рее мачты, и Котошихин облачился сначала в рубаху с жемчужным воротником, затем в проветренный кафтан, вытащил из куля красную шапку с собольей оторочкой, водрузил её на голову и выступил на нос лодки, чтобы встретить посольских людей Швеции.

Явление русского гонца вызвало у шведов интерес к нему, но они вели себя не назойливо, издалека поглядывали на Гришку и переговаривались друг с другом. Котошихин тоже поглядывал вокруг себя на большую вымощенную камнем площадь, каменные дома со стеклянными окнами и черепичными крышами, чудно одетых людей, прибывших сюда со всех концов Европы. Особым потрясением для Гришки стало узреть чёрного человека, который шёл в обнимку с белой женкой, а та похохатывала и липла к нему, не страшась его угольной черноты и вывороченных наизнанку красно-синих губ.

Овчинников ушёл, но не потерялся, и к лодке явились две кареты, в которые были запряжены куцехвостые и крутобокие лошадки, доставившие чиновника рикcканцелярии советника Кристиана Берга и переводчика Анастазиуса, и русский гонец был приглашён в гостевой дом для отдыха и скорого вручения письма царя канцлеру Швеции Магнусу де ла Гарди.

По пути к посольской резиденции советник Берг взялся расспрашивать Котошихина о том, как ему ехалось, и был приятно удивлён, услышав ответы на вполне сносном шведском языке, без присущего иностранцам комичного акцента. Гришка держался свободно, не выказывал спеси и чванства, и советник попробовал испытать гонца на прочность.

— Не ведомо ли господину Котошихину, — спросил он, — что за нужда вынудила великого государя Алексея Михайловича обеспокоиться с посылкой гонца тотчас же после заключения мира?

— Это в грамоте прописано, зачем я послан, — откровенно сообщил Котошихин. — Думаю, затем, чтобы вы поторопились с ратификацией мирного договора.

Простодушие, с каким прозвучал ответ, за который нужно было бы заплатить не одну пригоршню риксдалеров, весьма удивило опытного Берга и заставило задуматься.

В посольском гостевом доме русскому гонцу определили весь верхний этаж, состоявший из зала и трёх спален. Лица,

сопровождавшие Котошихина, были помещены на первом этаже.

Советник Берг представил Котошихину управителя гостевого дома и, сказав, что канцлер примет русского гонца без всякой задержки, отбыл в рикcканцелярию.

Не прошло и двух часов, как он возвратился в богато изукрашенной карете, которую сопровождали пять конных латников.

Бережливые шведы считали великой глупостью тратиться на пышные и бессмысленные дипломатические ритуалы, они предпочитали не пускать пыль в глаза противникам своим богатством и показной мощью, а каждый риксдалер вкладывали в производство лучших в Европе мушкетов и, не уступающим по мореходности английским боевых кораблей. Так же бережно для своей казны они встречали и посольских людей других стран, независимо от их чина. Котошихин как гонец был принят канцлером де ла Гарди лишь потому, что грамота великого государя должна была быть вручена в его руки, без посредников как регенту несовершеннолетнего короля Карла XI.

Видевший Золотую палату московского кремля, Котошихин был весьма удивлён строгим убранством покоев, в которых его принял канцлер Швеции, слегка поморщившийся от крика, с которым русский гонец объявил титулы великого государя и свейского короля. Затем Котошихин вручил с поклоном грамоту царя, и ему было сказано, что ответ он получит не позднее сегодняшнего вечера с тем, чтобы завтра гонец отбыл в Нарву на одном из самых быстроходных посыльных судов королевского флота.

В гостиный дом Котошихин прибыл в сопровождении двух приставов Коллегии иностранных дел, которые объявили о пожалованиях русских гостей. Самый ценный подарок получил царский гонец — два серебряных бокала, весившие по-современному счёту более трёх килограммов. Ценные подарки получили и другие участники дипломатического вояжа.

Королевский подарок привёл Котошихина в приподнятое расположение духа, и он благожелательно встретил явившегося к нему с каким-то важным шведом купца Овчинникова.

— Рекомендую, Григорий Карпович, своего давнего и задушевного друга советника Адольфа Эберса, — проникновенно вымолвил Овчинников. — Он сердечно

расположен к России и всем русским людям. Знает, что между шведов большая редкость наш язык и смеётся над теми, кто уверяет, что в Кремле разгуливают медведи.

Эберс был из породы тех людей, которые не могут не нравиться: стройный белокурый красавец, он для своей должности резидента шведского короля в сопредельных государствах обладал счастливой способностью внушать всем самое положительное о себе мнение, хотя это не соответствовало ни роду его занятий, ни способам, к которым он прибегал для достижения нужной ему цели.

Пока Эберс и Котошихин знакомились и приглядывались друг к другу, в зал вошёл управитель дома и поставил на стол оплетённую сухой виноградной лозой бутыль вина и широкое блюдо с большими красными яблоками.

— Вино, не скрою, итальянское, а яблоки наши, шведские, — сказал Эберс. — Надеюсь, наше малюсенькое пированьеце не принесёт заботу гонцу, и дьяк Алмаз Иванов не проведает об этом.

— У дьяка Алмаза я в уважении, — спесиво промолвил Котошихин. — Мы поднимем чарки стоя, а в таком разе, какой же это пир?

— Умно, очень умно подмечено, — улыбнулся Эберс. — А вы, господин Котошихин, часто бываете в посылках гонцом?

— Он, господин советник, в Посольском приказе числится одним из лучших подьячих, — вмешался в беседу Овчинников. — Слогательность его письма сам Ордин-Нащекин ставит другим подьячим в образец.

— Вот как! — воскликнул Эберс. — Я уже бывал на Москве, возможно, буду там снова и, надеюсь, господин Котошихин покажет мне образцы правильного русского письма.

— Это как дьяк Алмаз поволит, — сказал Гришка. — За мной дело не станет.

— Нет, дьяк не разрешит нам даже переглянуться, — с сожалением промолвил Эберс. — Меня всегда удивляло вредное для государства правило Москвы держать всех своих людей на привязи. От этого она многим проигрывает нам, потому что не знает настоящей торговли и ремесла, все наши новинки до Москвы доходят с большим опозданием. А не держи она своих людей, они, побывав в других странах, возвращались бы домой, обогащённые нашими знаниями и приносили бы большую пользу. Или это невозможно?

Адольф Эберс как истинный европеец толковал о московских делах, не беря в свой толк, что Русь не устоялась как целостное государство, она была ещё нетверда в своих основаниях, само устройство её предполагало, что в нём не должно быть беспривязных людей, все были привязаны друг к другу: крестьянин содержал помещика, который должен был служить государю, церковные люди служили Богу, купцы тоже служили — государевыми целовальниками и приказчиками, бесхозными были гулящие людишки, но вряд ли немцы стали бы рады, если бы эта гиль заявилась к ним по своей воле.

Всё это Котошихину было известно и вызывало в нём душевное неудовольствие, поэтому вопрос Эберса он оставил без ответа, а Овчинников, воспользовавшись заминкой, напомнил шведу о том, зачем он сюда явился.

— О, да! — спохватился Эберс. — У меня к вам, Григорий Карпович, есть личное дельце. В Москве пребывает по торговым делам мой товарищ. Условия, по которым мы заключили договор на покупку пеньки, изменились, и мне нужно срочно его о сем известить. Ваша услуга будет достойно оплачена.

И на столе перед Гришкой появился кожаный кошелёк с явно немалым числом риксдалеров. В виду такого солидного довода отказа со стороны Котошихина не последовало, Эберс умно закрепил негласное соглашение на сотрудничество с посольским подьячим своим поспешным уходом.

— Не забывайте меня, Григорий Карпович! — сказал Эберс, с чувством пожимая Котошихину руку. — Мы обязательно увидимся.

2

В Стокгольме, совершенно неожиданно для него, Котошихин крепко обогатился и возвращался в Москву в приподнятом настроении, которому не мешало даже явное преступление, кое он совершил, согласившись доставить тайное послание от Эберса его торговому товарищу. Котошихин не был так глуп, чтобы не понимать пагубность своего деяния, но он впервые почувствовал сладость, которую испытывает человек, рискуя собой по собственной воле. Он открыл для себя, что в жизни есть игры, поазартнее швыряния кубика с зёрнышками белых

отметин на его сторонах, игры в «зернь», которой предавались до умопомрачения множество русских людишек. Сладостнее и азартнее нет той игры, где человек ставит на кон самого себя, и Котошихин сделал это, согласившись передать тайное послание, и уже не сожалел, только время от времени ощупывал шею, не сорвался ли с неё ремешок, на котором в суконном мешочке висела грамотка советника шведской иностранной коллегии Адольфа Эберса.

Прибыв на быстрой лодке в Нарву, Котошихин в ней не задержался и пустился на верховых в Москву, вгоняя ямских приказчиков в трепет своими зубодробительными повадками бывалого царского гонца в требованиях немедленно предоставить свежих коней под него самого и охрану, которой самой не терпелось поучить ямских людишек дюжими тумаками и пинками. С такой ревностью к посольской службе Гришка в несколько дней домчался до Москвы, на последнем стане умыл забрызганное грязью лицо, отряс одежду, сполоснул в луже сапоги и скорой рысью домчался до Посольского приказа.

Думный дьяк не замешкался и велел Гришке из приказа не уходить, а сам поспешил в покои великого государя с докладом.

— И каков же свейский ответ? — сказал Алексей Михайлович, разглядывая выписанных на краях королевской грамоты золотом диковинных птиц и зверей.

— Шведы верны своей навычке затягивать любое дело, и с ратификацией договора торопиться не собираются.

— Ты догадываешься, Алмаз, с каким требованием они привяжутся на этот раз? — сказал великий государь, кладя грамоту на столец, изукрашенный слоновой костью.

— Потребуют деньги за корельских людишек, что ушли от них на нашу сторону.

— И много ль захотят взять?

— Запросят никак не меньше пятиста тысяч рублей,— вздохнув, ответил Алмаз.— Мы сами, к несчастью, называли такую сумму на переговорах в Кардиссе.

— В этой промашке я виноват,— кротко промолвил Алексей Михайлович.— Торопился приманить шведов к миру и ляпнул сглупа про такую уйму деньжищ. А сейчас вижу, что мир нужнее им, чем нам. Разве не так?

— Истинно так,— дьяк склонился в поклоне.

— Вот и я мыслю,— продолжил Алексей Михайлович,— что шведы, имея всю русскую сторону Балтийского моря, должны понимать тщетность войны с нами. Допустим, отнимут они у нас ещё с десяток деревень, но Псков им не взять. Посему, не торопясь, отпиши им, чтобы присылали на Москву своего переговорщика. А ты, Алмаз, проследи, чтобы его везли неспешно, в каждом городке подольше держали, угощали, не торопились показать Москву.

— Ответную грамоту послать с гонцом?

— Не много ли чести будет? — сказал великий государь.— Не стоит нашим людям лишний раз по зарубежьям мотаться без нужной на то необходимости. А кто на сей раз в Швецию бегал?

— Подьячий Гришка Котошихин,— осторожно вымолвил Алмаз.

— Котошихин…— царь задумался.— Как же, помню умалителя моего титула. Ты, Алмаз, его больше к немцам не посылай… Он — грамотей, а все грамотеи не в меру обидчивы. Ордин-Нащекин повелел взять своего сына в батоги, и Войка убежал в Польшу, и этот подьячий тоже бит батогами, как бы он, Алмазко, да по своей обиде нам дурна не сотворил.

— Я готов от него избавиться,— сказал дьяк.— Но Котошихин весьма знающ, слогателен в письме, твёрдо знает свейскую речь…

— Тогда его надо приласкать,— решил Алексей Михайлович.— Не волк же он, чтобы всё время в лес поглядывать. Объяви подьячему мою милость и то, что ему вполовину, против прежнего, увеличен оклад и определена выплата хлебных денег по должности. Он, какой у тебя подьячий?

— Молодший,— сказал Алмаз.

— Если не провинится, представь его на утверждение в средние подьячие. А теперь вернёмся к нашим любимым ляхам…

Алмаз Иванов задерживался, в комнату, где находился Котошихин, иногда заглядывали и заходили подьячие по своим делам к дьяку приказа. Однако, увидев, что Алмаза нет, коротко здоровались с Гришкой и уходили. Они Гришку не любили: одни из-за его способности почти всегда быть первым в письменных делах и многознания, другие из-за неприязни, которую Котошихин испытывал к людям недалёким, но хитрым

и пронырливым. Из всего приказа он общался только с Мишкой Прокофьевым, подьячим одного с ним «немецкого» стола, где были все европейские дела.

— Как съездилось? — вопросил Мишка, хлопая Котошихина по плечу.

— Жив по малу, можно было и лучше, да по нашим грехам и это счастье. А на меня тут ничего худого не прибыло?

— Нет, всё тихо, нашу братию занимает другое.

— Разве у них есть другой интерес, кроме пересудов.

— Ждут от великого государя указа на ежемесячную выдачу хлебных денег. Но ты, вестимо, разбогател, тебе наши гроши не нужны, после королевских даров.

И Мишка легонько пнул лежавший на полу куль с Гришкиными вещами.

— Туго набил, под самую завязку. Не пора ли и службу кабаку совершить, чтобы деньги не переводились?

— Я давненько не молебничал в кабаке, — засмеялся Гришка. — Вот с дьяком разочтусь за Стокгольм и шумну тебя, когда в горле пересохнет.

Алмаз Иванов явился от царя, когда уже стало смеркаться, а у Гришки с голодухи начало что-то подрагивать в брюхе. Он поднялся со скамьи и выжидательно уставился на дьяка.

— Вот, Гришка, гляди на свечу и до того, как она мигнёт, объяви, в чем ты переступил присягу, будучи в Стокгольме. Позже этого срока помилования тебе не будет.

Котошихин унял начавшуюся у него в брюхе трясучку и, выпучив очи, побожился, что чист, и никакого дурна против государя не замышлял, чужое платье на себя не напяливал, посулов от врагов православия не принимал, о делах приказа ни с кем не беседовал.

— Не привёз ли ты из Швеции чего-нибудь зловредного, вроде еретической книжки о коловращении земли вокруг солнца, брехни гадальщика Настродамуса или какого-нибудь колдовского зелья, на кое немцы были всегда горазды? — грозно вопросил Алмаз.

— У меня и лишнего часа не было, — пролепетал Гришка. — Я в Стокгольме всего одну ночь переспал и побежал на лодке к Нарве. Я, кроме шведских приставов, никого не видел.

— Свинья грязи везде найдёт, — мудро произнёс дьяк. — С этого часа твой оклад повышен на половину, получи семь рублей хлебных денег, это всё от великого государя.

Гришка упал на колени и ткнулся лбом в пол.

— От меня тебе воля не ходить в приказ до Покрова.

Котошихин ещё раз ткнулся лбом в пол рядом с грязным сапогом дьяка, затем получил деньги и отправился на лёгких от счастья ногах к семье, о которой вспомнил впервые за всё время своего отсутствия только сейчас, выйдя из приказной избы.

Сумерки сгущались, и Гришка поспешил поскорее добраться до дома, в темноте московские улицы были смертельно опасны для одиноких и беспечных прохожих: на промысел выходили воры, которые днём имели вид боярских и дворянских дворовых людей, ночью многие улицы перекрывались рогатками, и сторожившие их караульщики бывали порой опаснее лихих людей.

Гришка не стал стучать в ворота и, перебросив через забор куль с вещами, перелез за ним сам. Кругом не было ни проблеска света, и он наощупь нашёл дверь избы и бухнул в неё ногой. Старый пес Облай наконец-то проснулся и закрутился подле хозяина.

— Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас! — громко проговорил он, чтобы домочадцы не испугались нежданного ночного прихода.

Ответом ему было лёгкое шебаршение за дверью, затем раздался голос жены:

— Аминь!

Вдоль косяка прорезалась полоска света, дверь медленно приоткрылась, и Устинья с радостными слезами кинулась мужу на грудь.

— Погоди, куль скину с плеча, тогда и обнимемся, — пробормотал Гришка, проталкиваясь в избу, где попыхивала свеча, и с лавки посверкивали глазами на отца сыновья.

— Я ведь не ведала, Гришенька, что ты явишься, и ничего не припасла для твоей встречи, — виновато сказала Устинья. — Есть два сухаря и вяленый окунь.

— Хорош бы я был, если явился бы домой без гостинцев, — весело улыбнулся Гришка и, развязав куль, вынул оттуда мешок, из которого выложил на стол снедь и сладости, купленные им по выходе из приказа в харчевне, где обычно столовались посольские люди.

От трапезы отказчиков не было, и семейство Котошихина умяло мясной пирог, сваренную целиком курицу и пирожки с медовой начинкой.

— Вот теперь можно и ночь пробедовать наравне с голодным, — довольно похлопывая себя по брюху, сказал Гришка. — Теперь можно и на боковую, а то от сыти сон сам в глаза лезет.

Выйдя на рассвете из избы, Котошихин оглядел своё подворье, содрогнулся от его убогости и отправился в Земский приказ, слабо надеясь, что дело об изъятии у него в казну подворья благоприятно для него пересмотрено, но оказалось, что там ещё и конь не валялся, о чём ему и сообщил найденный Гришкой в сумрачных недрах приказа его доброжелатель подьячий Есин.

— Но не всё так уж плохо, — сказал он. — Проверка монастырской казны обнаружила недостачу всего пяти алтын денег.

— Стало быть, мой родитель не виновен! — обрадовался Гришка.

— Погоди трепыхаться, до счастья ещё неблизко. Приказная улита едет, но когда она будет там, где тебе надо? — знающе промолвил Есин. — Нужна рука, чтобы её подтолкнуть.

— Я могу ударить челом дьяку Алмазу, — нашёл выход Котошихин.

— А вот этого не делай. Елизаров — думный дворянин и с дьячим семенем, хотя оно и тоже думское, якшаться не захочет.

— Что же тогда делать? Посоветуй, брат, я тебя пожалую пожертвованием на службу кабаку.

— Елизаров, как и все, страшится только приказа Тайных дел. Вот если бы оттуда ему было сказано доброе про тебя слово, то всё решилось бы в твою пользу без проволочек.

— Да как тебе в башку могло такое втемяшиться! — осерчал Гришка. — Подьячие Тайных дел даром ничего не сделают, как раз запрягут себе в помощь соглядатаем, а в моём приказе, как проведают про это, то спуску не дадут.

Сговорившись с Есиным, что тот не забудет про его беду, Гришка без всякой цели пошёл мимо громадных изб приказов, которые размещались впритирку друг к другу вдоль кремлёвской стены. После долгого в ней отсутствия Москва поражала его своим многолюдьем и разноликостью: по одежде

и говору можно сразу было определить, откуда тот или иной человек — из Слободской Украины, с Урала, поморской земли, Поволжья или из коренных, близких к Москве, уездов. В толпе природных русаков не редкость было встретить широкоскулого и узкоглазого калмыка, хищно поглядывающего вокруг кавказца, белолицего карела, прокопчённого дымом цыгана, а уж татары попадались на каждом шагу — и свои мишари, и приезжие из Крыма, поглядывающие вокруг себя с великим сожалением, что нет у них сейчас возможности накинуть аркан на кого-нибудь из москвичей и утащить его в рабство.

Поглядывая вокруг, Гришка не забывал и про свою беду, она нудила его к невесёлым и тягостным размышлениям. «Будь я шведом, — вдруг сделал для себя открытие Котошихин, — живи я под королём, я бы живо нашёл управу на своего обидчика. Очень просто: явился бы в суд, подал иск и двенадцать моих сограждан живо бы вправили мозги моему гонителю. Там царствует не король Карл XI, а его величество закон, а в каком месте искать его здесь на Москве? Думный дворянин Прокофий Елизаров по своему месту в Земском приказе сам судья, его одёрнуть сможет только великий государь, но как до него дойти, вон они его хоромы, не далее как в двух сотнях саженей от сего места, но пути к ним я не знаю».

Возле Монастырского приказа что-то понудило Гришку оглядеться по сторонам, и в толпе попов, диаконов и монахов он углядел знакомого ему сутулого человека, в котором угадал своего родителя.

— Давно ли из Стокгольма явился? — спросил Карп Пантелеевич. — Как там шведы, живы-здоровы?

— Тебе, тятенька, велели кланяться, — усмехнулся Гришка, догадываясь, что дела у отца по-прежнему нехороши. — Шведы и не знают, что ты своим табачным баловством с сирийским монахом родного сына по миру пустил.

— Эх, Гришенька! — жалобно вздохнул отец. — Знал бы, где упаду, так соломку не извёл бы на растопку. Одна радость, что монаха царь не отдаст в кнутобойный розыск Елизарову, за этим и я хоронюсь. Вот пронесёт беду, и поставим хоромы, лучше, чем были. А пока потерпи.

— Терпя, и камень треснет, — озлился Гришка. — Когда ещё хоромы поставишь, а мне жить сейчас надо. Дай мне раздел сейчас же, не сходя с места.

— А что делить? — поразился отец. — Дом-то в казну взят.

— Вот и бери его себе! — жёстко сказал Гришка. — А мне дай половину от тех хором, которые будут.

— Как их дать, их же нет, — заюлил Карп Пантелеевич, коря себя за то, что обмолвился о своих немалых зажитках сыну.

— Очень просто: отдай мою половину из своего кармана, не сходя с этого места!

— Не говори громко, — испуганно зашептал Карп Пантелеевич. — По правде говоря, мне дома не надо, для монашеского счастья достанет и малой келейки. Ладно, так и быть, отдам я тебе твою половину.

— И когда? — не отставал Гришка. — Ты к себе в монастырь не иди. Выкопай захоронку и ступай ко мне. Лучше мне все зажитки отдай, у меня они целы будут, а тебя, неровен час, возьмут на дыбу за табачные дела, и всё палачи заберут.

— Что ты за страхи такие говоришь! — отстранился от сына Карп Пантелеевич. — Ступай, куда задумал, а я на днях тебя навещу.

— А вот этого не обещай и не делай! — усмешливо сказал Гришка. — Я сам к тебе явлюсь в келейку за своей половиной.

Утром Гришка даже сухарика не пожевал на дорожку и, расставшись с родителем, почувствовал, как его нутро стало подсасывать, нюх сразу обострился, а ноги сами понесли к харчевням, которые рядом изб стояли неподалеку от приказов и зазывно пованивали вчерашними щами, кои прели и пузырились в кормовых котлах. Двери в харчевню, куда устремился Котошихин, были открыты, и огромная баба выпячивалась из неё задом, орудуя скобелем по облитым ключевым кипятком доскам пола. Возле крыльца ждали часа войти в кормовую избу несколько приказных людишек и молча дивились на могучую дородность поломойки, перемигиваясь промеж собой. Баба закончила скобление, приподняла двухведёрную шайку воды и обрушила её на пол, порог и крыльцо. Людишки вмиг отпрянули в сторону и загомонили, баба была им известна, и они, не стесняясь, стали задевать еёгрубыми шутками, она на это помалкивала и вдруг шагнула к народу, подняв вверх тяжёлые кулачищи. Все горохом сыпанули от неё в разные стороны, а из харчевни донесся надтреснутый бас:

— Лукерья! Не мешай людям оскоромиться пустыми вчерашними щами.

Харчевник привирал, щи были с рыбьими костями и свежей капустой, миска с краюхой хлеба стоила полушку, её бросали в берестяной туесок, забирали яство и усаживались на скамью за выскобленный добела стол. Ложек не полагалось, но всяк имел её при себе, кто за поясом, кто в сапоге, кто привязанной к пуговице армяка или кафтана.

Гришка не торопился, подождал, пока самые нетерпеливые облепят, как мухи, котёл и прошёл через кормовое помещение в следующую комнату, которая была чище первой, с крашеными охрой стенами, выбеленным мелом потолком и несколькими столами со скамейками. Харчевник приветствовал его расставлением в стороны рук и лёгким поклоном, он давно знал и отличал от других посольского подьячего, как никогда не пытавшегося отобедать в долг едока. Гришка поздоровался и осёкся: в углу комнаты сидел и с улыбкой поглядывал на него подьячий приказа Тайных дел Юрий Никифоров.

«Он здесь по мою голову! — ослепительной вспышкой мелькнуло в голове недавнего царского гонца. — А я, дурень, ещё не избавился от письма Эберса, оно и сейчас у меня на шее, как камень».

Котошихин сглотнул сухой комок в горле и сделал шаг навстречу неизвестности:

— Будь здрав, Юрий Иванович! — он поклонился в пояс. — А я уже в Стокгольм сгонял по государеву делу.

— Как же, слышал, — лениво промолвил Никифоров. — Растёшь, Григорий, скоро тебя поверстают в средние подьячие, а там уж недалеко и в дьяки.

Котошихин беспомощно глянул на харчевника, словно искал у него выручки, но не дождался и опять поклонился в пояс.

— Добро, — решил Никифоров. — Притуляйся ко мне, может, когда-нибудь будешь в силе и славе и меня, хилого, не обнесёшь своей милостью.

Харчевник, повинуясь жесту Никифорова, скоро вынес и поставил н стол закуски и кувшин, к которому добавил две серебряные чарки.

— Ты удивлён? — поинтересовался подьячий. — Сам-то ты по утрам винцом пока не балуешься? Верю, ты, Гриша, почти трезвенник, а кто я, и сам не знаю.

Он сорвал с крышки кувшина орленую печать, наполнил всклень обе чарки и одну пододвинул Котошихину.

— Что мнешься, пей! Тебе ведь не в службу.

«Он и это ведает!» — ужаснулся Гришка, беря дрожащей рукой посудину. — За твоё здоровье, Юрий Иванович!

На котошихинское здравствование Никифоров как-то неожиданно и смешно хрюкнул и опрокинул чарку в свой зев. Гришка от него не отстал, и, закусывая вино квашенным капустным ломтем, углядел, что подьячий уже пьян. У него отлегло от сердца, Никифоров ему стал не опасен, ведь не поволокёт он его, будучи в таком виде, к себе в Тайный приказ.

Но Юрий Иванович глядел мимо Гришки, и перед его глазами стоял пыточный подвал Разбойного приказа, в котором он провёл вместе с дьяком Башмаковым всю ночь, разыскивая, с пристрастием, «слово и дело», сказанное на подьячего Аптекарского приказа Мефодьку Хмелёва, который уже не единожды внушал своим соратникам по кружалу, что земля и прочие планеты бегают вокруг солнца, а солнце стоит на одном месте без всякого движения, хотя всякому здравому рассудку ясно, что оно всходит над землёй утром и заходит вечером. После третьего удара тяжёлой плетью Мефодька доложил, что глаголемое им непотребство не ограничивается хулой на Божественное устройство мира, но и простирается на мирские дела: он и в московских порядках выискал много такого, что ни в какой пример не идёт с немецкими, где царит правда в судах и каждый волен говорить и делать, как он похочет.

Никифоров усилием воли стряхнул с себя воспоминание, наполнил чарки и поднял взгляд на Котошихина:

— Ответь, Гришка, как земля ходит — вокруг солнца или солнце вокруг земли?

— Мне, Юрий Иванович, как-то все равно, кто вокруг кого ходит, — вымолвил, преданно воззрившись на Никифорова, посольский подьячий. — Мне бы так прожить, чтобы на меня за всю мою жизнь ничего не свалилось тяжелее моей шапки.

— Вот ты каков, — трезво глянул на него Никифоров. — Беда от вас, грамотеев, нынче всю ночь слушал одного подьячего, который захотел в звездочёты податься и углядел, что земля вокруг солнца ходит, и признался в этом только на дыбе. А если тебя взять на дыбу? Она, брат, с любого его пестроту смывает, и сразу становится видно, какой человек внутри — чёрный или белый.

— И что с тем подьячим стало? — тихо спросил Котошихин. — Ужели из-за этого его казнили кнутом?

Никифоров приблизил свое лицо к Котошихину и жарко зашептал:

— Звездоглядство — это малая его дурь, но сей подьячий хаял московские порядки и хвалил немецкие, кричал в кружале, что его на Москве вот-вот стошнит. Разве после такого долго живут?

Котошихин мертвенно побледнел, ему почудилось, что пришёл и его черед идти к ответу, и Никифоров пока играет с ним, как кот с мышью, но на уме держит взять Гришку на дыбу.

— Как там шведские порядки? — откинулся от Котошихина подьячий Тайных дел. — Каждый день мостовые моют с мылом, попы ходят чисто выбритые, не то что наши долгогривые батьки, и батогами там своих посольских не бьют, ну, и как тебе показалась Швеция?

— Я её не видел! — взвизгнул Гришка. — Бегом прибежал, бегом убежал, мне эта Стекольня и во сне не кажется!

— Уймись! — мрачно сказал Никифоров. — Всё-то ты врёшь. Я вашего брата, приказную вошь, насквозь вижу! Все вы, как нюхнёте западной прелести, так будто не в себе делаетесь. Взять хотя бы Войку Нащекина. Ты его в Стокгольме не встречал? Часом, он не близ шведского короля отирается?

Котошихин беспомощно заоглядывался по сторонам, ища взглядом кого-нибудь, кто смог бы оборонить его от Никифорова, но Юрий Иванович и сам потерял к нему интерес, встал из-за стола и трезво вышел вон. Харчевник мигом подбежал к столу, схватил кувшин, плеснул немного вина в чашку для Гришки и унёс посудину в чулан: подьячий приказ Тайных дел имел право пить хмельное, где ему вздумается, но Котошихина сие не касалось.

«Этот Никифоров — страшный человек, — подумал Гришка. — И нюх у него, как у лягавой собаки. Ещё ничего на мне нет, а он уже закружил вокруг меня, как кобель возле потекшей сучки».

3

Неожиданная встреча с Никифоровым так перепугала Котошихина, что после его ухода он поспешил домой, не забывая время от времени оборачиваться и озираться по сторонам, выглядывая, а не пустил ли следом за ним подьячий приказа Тайных дел своих ярыжек, но на улицах и торговых площадях кипела такая толчея, что не было ни какой возможности в суетливом мельтешении людей отличить человека доброго от приказного доглядчика и шпыня. Гришку повергла в трепет прозорливость Никифорова, и ему в какой-то миг показалось, что тот видит его насквозь и знает не только то, как он согрешил, но и то, что собирается сделать.

«Надо скорее избавляться от шведской грамотки,— решил Гришка, сворачивая на свою улицу.— Сейчас явлюсь домой и сожгу её в печи, забуду о Стокгольме и советнике Эберсе, как о дурном сне».

Подходя к своему двору, он увидел над ним пелену дыма и всполошился: только и не доставало ему ещё одного несчастья: после елизаровского разорения отчего дома остаться на головёшках от наёмной избы, но почти сразу же догадался, что Устинья затопила летнюю печку, сложенную из кирпичей во дворе, и поставила на неё вариться кашу. Гришка почти с отвращением глянул на её вымазанное сажей морщатое лицо, согбенный стан и худые длинные руки. «Ей и тридцати нет, а она смотрится совсем старухой»,— отчуждённо подумал он.

— Замаялась я нонче с растопкой,— виновато сморщившись, сказала Устинья.— Нашла поленья, а они сырые, да что гневиться? Чужой двор, он и есть чужой…

— Будет врать,— проворчал Гришка.— У тебя и на своём дворе печь дымила. И там дрова были сырыми; может перед тем, как их в печь сунуть, ты на них малую нужду справляешь?

— Я ещё в своем уме,— обидчиво сказала Устинья.— А ты что не в приказе? Да и винцом от тебя подванивает…

— Я, баба, самим думным дьяком Алмазом до Покрова отпущен на вольное гулеваньеце. А ты не рада?

— Как не рада? Теперь у тебя будет время о своей избе подумать,— усмехнулась Устинья.— Ты все дни возле государевых палат проводишь, но жить туда тебя не пускают. Стало быть, надо промыслить и свою крышу над головой.

— Дело не в деньгах и не в избе, их, вон сколько, продают готовыми срубами. За два дня можно избу поставить, и мыльню, и анбары…

— Так что тебе ещё не достает? — наступала женка.— Вот ты с дымом ко мне привязался, а зачем? Здесь я не хозяйка и в ответе за дом быть не могу.

— У отца Елизаров не только подворье отнял, но и землю, где она стоит. И где теперь прикажешь новую избу ставить? Конечно, можно купить землю за Земляным городом, но как я оттуда буду в свой приказ ходить? Это же мне через всю Москву таскаться придётся.

Каша в котле забурлила, запенилась, Устинья голой рукой взяла горячую крышку, отложила её в сторону и деревянной мешалкой принялась успокаивать варево.

— Москва горит каждый день,— сказала она.— Погорельцы далеко не все отстраиваются заново. Многие от огня впадают в нищету и разбредаются, кто куда. Вот и спроведай, как взять на себя пепелище?

Гришка обиделся: глупой бабе пришла в голову догадка, где взять землю, а он даже в эту сторону и не взглянул, но его смутить было трудно:

— Тебя послушать, так свой двор заиметь, это просто,— проворчал он, укоряя себя, как он так перед бабой опростоволосился.— Где мой куль?

— Там и лежит, где ты его положил, тебя дожидается в сенях,— сказала Устинья, предчувствуя, что скоро муж явит ей привезённый из Неметчины подарок.

Дверь в сени Гришка оставил открытой, чтобы сквозняк поскорее выдул из него духоту, разделся до пояса и отвязал с шеи гайтан с грамоткой Эберса. Им на миг овладело искушение распечатать её и прочитать, но навык работы в Посольском приказе говорил ему, что письмо может быть с хитростью, и получатель сразу поймёт, что оно уже было читано до него чужими людьми. Разглядывая письмо, Котошихин уже не испытывал даже и тени сомнения, что его нужно передать по назначению купцу Якову Блуме, который, как и все немцы, жительствовал в Новой Немецкой Слободе, построенной по воле Алексея Михайловича на Яузе за Покровскими воротами.

— Воды! Кому воды! — раздался с улицы вопль водовоза.— Вода холодная всласть и сытому и голодному!

Гришка сунул грамотку шведа под куль и выглянул из сеней. Водовозка стояла возле его ворот, мужик узрел хозяина и взмахнул черпаком.

— Торопись, а то без воды останешься!

— Сколько берёшь за всю бочку? — сказал Гришка.

— Это не я беру, а кобыла,— ухмыльнулся водовоз.— Наладилась, стерва, овёс трескать. С другого взял бы деньгу, а с тебя обойдусь полушкой.

Гришка подкатил к забору две бочки и кинул водовозу полушку, которую тот ловко поймал и сунул за щеку.

— У тебя каша готова? — сказал Гришка женке.— Нагрей мне воды, пока угли не прогорели.

Котошихин вернулся в дом и занялся содержанием большого, из нерпичей кожи, дорожного куля.

Сверху лежали подарки для Устиньи, купленные второпях при отъезде из Нарвы: широкая шёлковая шаль, тканная большими красными и чёрными розами, и бусы из янтаря. Гришка кликнул женку, она явилась на зов и зарделась от счастья. Сыновьям досталось по маленькому складному ножичку из доброй шведской стали, они с великой радостью схватили их и начали переводить всякое дерево в стружку и щепки.

Раздав гостинцы, он вывалил из куля ворох одежды: и купленной у шведов, и своей московской, и задумался, во что ему сегодня одеться для похода на Яузу. Гришка там бывал всего несколько раз, но помнил, что человеку в русском кафтане, среди немцев, одетых по-своему, всегда бывает неуютно, им овладевает чувство смущения, будто он появлением в одежде своего народа совершает вопиющую бестактность по отношению к европейцам, этой бесспорно самой лучшей, самой выдающейся части человечества. «Китайцы,— подумал Гришка,— этого чувства вины не ведают, поскольку живут далеко от Парижа и Лондона, а каково русскому, перед которым всякий панок в драном кунтуше чувствует себя европейцем, а русскому, будь он весь в соболях и золоте, мыслить так непозволительно, тот же панок спесиво укажет ему его место на запятках саней, в которые запрягла весь остальной мир осиянная светом вселенского человеколюбия семья европейских народов».

У Гришки был, купленный им ещё в Ревеле, летний европейский кафтан, и он вынул его из куля, повертел перед собой, поразглядывал и сунул обратно: по дороге к немцу

или домой можно было попасть на глаза какого-нибудь своего знакомца, и тому наряд посольского подьячего мог показаться странным и подозрительным, тем более, что ношение иноземной одежды не одобрялось ни властями, ни церковью.

Вода в котле на печном огне согрелась, и Гришка умылся, не забыв смыть самую большую грязь с бороды, головы и шеи, оставив кое-что и на субботний парной день, который проводил в торговых банях на Москве-реке, до изнеможения истязая своё тело веником и ополаскиваясь в прохладных речных струях летом и в дымящейся проруби зимой. Затем он оделся по-русски, поразглядывал себя в зеркальце и подровнял ножницами бороду. Устинья время от времени бросала на него укоряющие взгляды, чем сначала потешала мужа, но потом он озлился:

— Что глядишь исподлобья? Не успеет зима наступить, как я вернусь!

Время для похода в Немецкую слободу Гришка выбрал самое тихое, послеобеденное, когда жители не только Москвы, но и всего обширного Русского государства предавались дневному сну. В этот час улицы столицы обезлюживали, можно было пройти её насквозь и встретить всего несколько человек, которым помешали возлечь на лавку лишь только самые животрепещущие обстоятельства их жизни.

Иноземным многие порядки русских казались странными, но обычай спать после обеда, предаваться безпамятству средь бела дня, когда наступает время делать самые нужные дела, искать и обретать свою выгоду, эта пагубная привычка была, по немецкому мнению, самым главным пороком русских людей, из-за которой они будут всегда не поспевать за Европой, устремлённой к достижению земного рая на земле, где вряд ли найдётся место тупым русским лежням.

Пока Москва спала без задних ног, Немецкая слобода жила своей привычной жизнью: здесь совершались торговые сделки во многие тысячи рублей на покупку и продажу крупных партий сибирских мехов, рыбьего зуба, пеньки, сала, пороха, мушкетов, пушек и шпаг, писчей бумаги и многих других товаров, которые находили сбыт в России и Европе. Кроме купцов, в Немецкой слободе работали многие ремесленники для нужд своих соплеменников, а так же по заказам приказов. Здесь жили мастера самонужнейших дел — часовых, оружейных, гранатных, пушечных, градостроительных, корабельных, аптекарских,

лечебных, письменных, художничных, денежных, рудознатных и многих других рукомесел, которые были пока плохо ведомы русским людям. Алексей Михайлович тратил громадные деньги на создание полков нового строя, и в Немецкой слободе жили военные немцы, с помощью которых были сформированы и блестяще проявили себя в войне с турками рейтарские, солдатские и драгунские полки, в коих общим счётом было до семидесяти тысяч боевых людей.

Перейдя по мосту Яузу, Гришка увидел ограду из новых бревновых кольев, а в ней проездные ворота, где стоял военный немец в железной шапке и с палашом на поясе и разглядывал его с явной неприязнью, причина которой была в том, что между русскими и немцами нередко возникали разногласия и тогда немцы укрывались в своем Кукуе, а русские являлись туда и устраивали кулачные схватки, кои были иноземцам, любившими поражать своих супротивников издалека камнями и тупыми стрелами, не по нутру, и они начинали палить холостыми зарядами из пушек, этот шум доходил до ушей великого государя, и он посылал своих стремянных стрельцов разогнать московскую гиль и объявить своё милостивое слово пострадавшим иноземцам.

— Кого ищешь? — спросил немец, пытливо разглядывая Котошихина.

— Купца Якова Блуме, по торговому делу.

Немец смерил пришельца цепким взглядом и отступил в сторону. Гришка оглянулся: из-за речки за ним вроде никто не приглядывал, и у него полегчало на сердце. Кажется его приход на Кукуй произошёл незаметно, и он, скоро миновав ворота, вошёл в слободу и остановился, поражённый открывшимся перед ним видом.

Среди русских немцев людей недостаточных не было, и они исхитрились в азиатской Москве создать кусочек Европы: построили для себя каменные избы с черепичными крышами и стрельчатыми окнами, рядом с которыми находились сады и огороды, дороги в слободе были вымощены камнем, подходы ко дворам и дорожки вдоль улиц посыпались сеяным речным песком, здесь было немало пивных и трактиров, в которых всё блестело чистотой, от начищенной до ослепительного блеска медной ручки на входной двери до накрахмаленного чепца на голове розовощёкой и пышнотелой трактирщицы.

Вокруг было людно, всяк занимался своим делом, и на Гришку немцы не поглядывали, разинув рот, как это принято было между москвичами, но и не привечали, а старались обойти его стороной, как внезапно возникшее на их пути препятствие. Котошихин надеялся к кому-нибудь обратиться с вопросом, как найти Якова Блуме, но, собираясь заговорить, наталкивался на такую холодную пустоту во взоре, что смущался и отступал. Казалось, все немцы были заняты своим делом, но, миновав две улицы, Котошихин увидел опрятного иноземца, который сидел в кресле возле ворот своего дома и попыхивал короткой глиняной трубочкой. Гришка на него глянул, и немец, пыхнув дымком, вопросил пришельца:

— Господин пришёл в гости к знакомому и не может его найти?

— Мне нужен купец Яков Блуме, — сказал Котошихин, радуясь тому, что и среди иноземцев попадаются отзывчивые люди.

— Я помогу твоей беде, — улыбнулся немец и обернулся. — Сельма, поди ко мне!

Без промедления появилась миловидная девушка, которая, прихватив пальчиками края широкой юбки, чуть присела, приветствуя Котошихина, и окинула его скорым взглядом, в коем Гришка успел углядеть призыв к баловству.

— Проводи господина к Якову Блуме, — велел немец. — Да на обратном пути не вздумай задерживаться!

Смысл последних слов, сказанных немцем своей служанке, скоро стал ясен Котошихину: Сельму то и дело окликали встречавшиеся на каждом шагу воинские немцы, она им сахарно улыбалась и, судя по её веселому виду, была очень довольна знаками внимания, которые ей оказывают. Шагая за ней, Гришка разглядывал девку во все глаза от мелькающих при каждом шаге аккуратных башмачков до завитков рыжеватых волос на нежно-розовой шее, чувствуя, как что-то в нём начинает подрагивать и трепетать.

Сельма была так любезна к московиту, что не только указала ему на большой каменный дом, где жил Яков Блуме, но и ввела его в просторную прихожую, где Гришка вручил невысокому, пухлолицему, с острыми живыми глазами, купцу письмо Адольфа Эберса. Блуме, повернувшись к свету, тщательно его оглядел, затем окинул внимательным взором Котошихина и, полуобняв

Сельму, вышел с ней в другую комнату. Скоро он возвратился, уже без письма и один, и пригласил гостя в свои покои. Шведский агент по торговым, но, главное, по тайным делам, не вскрывая письма, по узлу на грамотке уже знал, что Эберс хотел иметь полное представление о Котошихине, чтобы решить — привлекать его на свою сторону, или забыть о нём навсегда. Для этого купец решил не расставаться сразу с Котошихиным, а задержать его на некоторое время у себя, чтобы к нему принюхаться и присмотреться, того ли он пошиба человек, чтобы начинать с ним смертельно опасные игры. На Москве иноземцам хорошо платили, но дорога на плаху им никогда не была заказана, немцев казнили смертью и членовредительством и за меньшие вины, чем сношения с врагами великого государя и посягательства на государственные тайны.

Яков Блуме знал, чем заинтересовать неотёсанного московита и провёл его в свой кабинет, где усадил гостя в широкое и покойное кресло, предложил ему угоститься сладким венгерским вином из хрустальной чарки и повёл осторожную беседу, а по сути дела допрос с частыми перерывами, чтобы его не насторожить и не напугать своей настойчивостью. Перерывы заполнялись не только питием хмельного венгерского, но и показом различных диковинок, которых в кабинете купца было предостаточно. Гришка как вошёл в кабинет, так сразу углядел большой пёстрый шар на тонкой жердочке и, потягивая вино и отвечая на вопросы хозяина, нет-нет да бросал на него любопытные взгляды, что не прошло мимо внимания хозяина, и он поднёс заинтересовавшую гостя игрушку к нему поближе и сильно крутанул шар, так что тот запестрил перед глазами Котошихина нарисованными на нём синими, коричневыми, зелёными и белыми пятнами.

— Сие земношарие, сиречь глобус, работы славного фламандского географуса Меркатора я приобрёл на ярмарке во Франкфурте на Майне,— самодовольно объяснил предназначение заинтересовавшего московита предмета Яков Блуме.

Гришка вздрохнул и отшатнулся: сегодня утром подьячий приказа Тайных дел Юрий Никифорович стращал его судьбой болтливого подьячего Аптекарского приказа, который впал в латинскую ересь стоянием солнца на одном месте и, видимо, не зря, подумалось Котошихину, не успело и свечереть, как

первый же встречный немец поманил его в еретическую западню.

Однако у Гришки не хватило сил отвернуться от иноземной хитрости, природное любопытство взяло верх над осторожностью, он одним пальцем коснулся гладкой поверхности глобуса, нажал, и шар стал медленно поворачиваться вокруг оси.

— Желаешь поглядеть, где Москва? — спросил Блуме и указал на большую точку, возле которой по-латыни было написано название русской столицы.— А это Варшава. Стокгольм, надеюсь, ты и сам найдёшь. Ведь ты недавно оттуда, как там тебя встретили?

— Грех жаловаться,— сказал Котошихин.— С добром встречали и провожали. Подарком пожаловали меня, а деньгами — моих людей.

— Я сам из Бремена,— сказал Блуме.— И могу сказать, что шведы честностью не уступают моим соотечественникам. Господин Эберс — мой давний торговый партнер, и он ни разу меня не подвёл. Ты это должен, Григорий, знать, и быть в полной уверенности, что все твои услуги господином Эберсом будут достойно вознаграждены.

Купец подошёл к стольцу, над которым возвышался затейливо изукрашенный шкафчик, распахнул дверцы и, возвратившись, положил перед Гришкой пять рублей серебром.

— Советую тебе избавляться от меди,— сказал Блуме.— Медные деньги вот-вот доведут народ до бунта. Или это тебе ведомо лучше, чем мне?

— Откуда мне знать, что случится на Москве,— пробормотал Котошихин, складывая монеты в кошелек.— Я мотаюсь уже третий год по посольствам, где нам платят пока что серебром.

Неожиданно в комнате начались мелодичные перезвоны, это заиграли часы с боем, до которых Яков Блуме был великий охотник, и они составляли значительную долю из поставляемых им на русский рынок товаров. С некоторых пор московские дворяне приохотились к часам, и владение ими стало означать определённый уровень достатка, ниже которого опускаться было нельзя. А те, кто были действительно богаты, соперничали друг перед другом дорогими часами.

— Господин Эберс когда-нибудь непременно явится в Москву,— многозначительно сказал Блуме.— У шведского короля и московского царя много взаимных интересов. Великий

государь живо интересуется всем, что происходит в Стокгольме, и там тоже весьма любопытны к московским делам.

— Мне, наверно, пора, — не совсем уверенным голосом произнёс Котошихин. — Я порядком здесь засиделся.

— Ничуть! — живо воскликнул Блуме и вышел из комнаты в коридор, где его ждал запыхавшийся и потный приказчик.

— Ну, как? — вопросил он и стал жадно прислушиваться к тому, что нашёптывал ему в ухо его человек, бегавший к одному из доверенных лиц шведского агента в Москве, который знал насквозь все приказы, особенно подьяческое сословие, кое в них обитало. Сведения, принесённые приказчиком о Гришке, были обнадеживающие: умён, самоукой постиг многое в посольских делах, его родитель разорён судьей Земского приказа Елизаровым, сам Котошихин за ошибку в написании государева титула бит батогами, чем должен быть весьма уязвлён, и посему может отозваться на проявленное к нему участие, заботу и звон серебряных и золотых риксдалеров. Всё это Блуме намотал на ус и вернулся к своему гостю с самой благожелательной улыбкой.

— Прошу, господин Котошихин, не обижать меня своим торопливым уходом, — ласково произнёс купец. — Кукуй — самая весёлая слобода во всей Москве, и я надеюсь показать тебе много интересного.

Гришка не надеялся на столь радушный приём и не стал кочевряжиться, тем более, что намерения хозяина соответствовали его давнему тайному желанию отведать немецкой сладости, о которой на Москве ходило много самых противоречивых слухов: одни утверждали гласно, что всё творимое на Кукуе есть распутство и посрамление рода человеческого, другие не менее рьяно нашёптывали, что немцы открыли для себя смысл жизни, в которой Бог и человек не помеха друг другу, а доброхоты и помощники.

В кабинете купца из священных предметов было только одно распятье, и Гришка, хотя он и был довольно равнодушен к религии, поинтересовался, чем лютеранство разнится от русского православия.

— Как бы это доходчивее объяснить, Григорий, — сказал Блуме, раскуривая табачную трубочку. — Разница, понятная мне как купцу, заключается в том, что русский Бог скорее благосклонен к нищим и преступникам, чем к добропорядочным людям. А наш лютеранский Бог заботится о людях предприимчивых,

добычливых, не о тех, кто проматывает родительские зажитки, а приращивает их своим неустанным трудом. А теперь сам реши, чей Бог надёжнее и справедливее — тот, что поощряет бездельников и воров, или тот, кто благословляет тружеников?

«Действительно, — подумал Котошихин, — какой толк царю лобызаться и христосоваться на Пасху с юродивыми? Глупости всё это. В Стокгольме я ни одного нищего не увидел, там королю и канцлеру, чтобы облобызаться с настоящим нищим, надо привезти его из Москвы, а своих у них давно нет, а может и вовсе не бывало».

В расчёты Блуме не входило заводить богословские прения, и он протянул Гришке трубку, точно такую, какую держал в руке.

— Я приобрёл в Дрездене полный набор фарфоровых курительных трубок. Курение табака в Европе покорило все сословия, особенно среднее и низшее, которые восприняли курение как возможность через него явить своё равенство с сословием высшим и даже с монархами.

— Это каким же образом? — удивился Котошихин.

— Очень просто, — сказал Блуме и, затянувшись, выпустил изо рта одно за другим несколько замысловатых колец дыма. — В Европе табак дёшев и всякий бедняк может не отказывать себе в удовольствии предаваться курению точно так же, как и сильные мира сего.

— Мы не в Европе, — сказал Гришка, разглядывая подаренную ему трубку, — посему я твоего, Яков, подарка принять не могу.

— Это не беда! — воскликнул немец. — Твоя трубка будет храниться здесь, и ты у меня в гостях всегда сможешь ею пользоваться. А теперь набей трубку табаком и раскури её до большого дыма, который сразу освежит тебе голову и прояснит взгляд.

Однако, вопреки утверждениям Блуме, табачный дым опьянил Котошихина, в голове у него стало пошумливать, взгляд затуманился, и его стало клонить в дрёму. Остроглазый немец углядел, что Гришке становится дурно, и, взяв у него трубку, повёл в сад, где уложил его в сетку, растянутую между деревьев, и стал покачивать, бормоча под нос что-то покойное и музыкальное. На Гришку, утомлённого венгерским вином и оглушённого табаком, накатил сон, и он заприхрапывал, пуская себе в бороду сладкие слюни.

Осенняя Москва согревалась прощальным теплом бабьего лета, и под перешёптывание зардевших листьев вишен и яблонь в саду гостеприимного немца Гришке спалось не хуже, чем на домашней лавке, покрытой мягкой овчиной. Однако в спокойное течение сна откуда-то свалился, как подмытый водой береговой куст в реку, подьячий Никифоров, и Котошихин остро почувствовал, как ему становится дурно от сердечного колотья, которое охватило его, когда подьячий Тайного приказа указал на него пальцем и возгласил: «На дыбу его, переметчика!» Но выскочившие схватить Котошихина ярыжки не смогли его достать, послышались звуки неземной музыки, и она вознесла Гришку от злобного и суетного мира на воздуся, и он возлёг на облако рядом с девицей, которая, склонив голову, играла на лютне явно божественную мелодию, потому что вокруг хороводились птички и бабочки и подпевали, и подсвистывали, и подщелкивали звукам струн, коих касались нежные пальчики игрицы.

— Пора, Григорий, вставать к столу! — встормошил Котошихина неугомонный немец.

Гришка вывалился из лежака на землю, встал на ноги и огляделся. На небольшой полянке стоял, накрытый шитой серебром скатертью стол, на которой стояли, лежали и возвышались пития и яства в судках, на блюдах и высоких кувшинах и штофах.

— Я тебе, Григорий, припас подарок! — объявил Яков Блуме и повернул к гостю девицу, которая играла, полуотвернувшись от стола, на лютне. У Гришки перехватило дух: это была Сельма, одетая в красное платье, открывавшее вспыхнувшему взору подьячего белые плечи и почти обнаженные груди девицы, которая, не смущаясь, сладко облизала свои розовые губки и весело глянула на остолбеневшего от обилия женских прелестей Котошихина.

«Видно, мой сон всё ещё не кончился,— пронеслось в его воспалённом мозгу,— только с облака я переместился на землю».

И лишь горячее прикосновение женской ручки убедило Гришку, что это не бред, он опустился за столом на стул, рядом с ним, прижавшись к его ноге своей ножкой, примостилась Сельма. Яков Блуме со своей девицей разместился напротив, все подняли хрустальные чарки с венгерским искристым вином

и после счастливых восклицаний, благополучно их опустошили и отставили в сторону, чтобы слуга мог их наполнить вновь, а сами обратились к закускам.

С каждой опустошённой чаркой отношения между Сельмой и Гришкой становились всё теснее и чувствительней, она забралась к нему на колени, а он запустил руку за вырез платья и обшаривал всё, до чего только мог дотянуться. Блуме со своей девицей ничуть не отставали от них в своих вольностях, а кое в чём даже их опережали: купец пытался залезть к своей подруге с головой под юбки, а та его дальше коленей не допускала. Углядев такое, Гришка решил тоже залезть Сельме под юбки, но не головой, а руками и уже потянулся к низу подола, но вдруг откуда-то донеслась плясовая музыка, и девицы воскликнули:

— Мы желаем танцевать!

Блуме, хоть и был порядком нетрезв, голову не потерял и сразу понял, что показывать Котошихина, на которого в канцелярии шведского короля имели виды, ни в коем разе нельзя, и он нашел выход:

— В трактире такого стола, как здесь, не будет. Давайте танцевать здесь под чужую музыку!

Предложение всем пришлось по душе, Блуме сцепился руками со своей подружкой, Сельма обхватила Гришку, и все начали топтаться, подпрыгивать, дрыгать ногами, повизгивая от радости и похохатывая от предчувствия удовольствия, которое они получат, когда останутся наедине друг с другом. Котошихин и не успел заметить, как наступили сумерки, и Сельма повлекла его за собой в открытые двери какого-то строения, который оказался амбаром, где нашлось место для лавки достаточно широкой, чтобы на ней можно было поместиться вдвоём.

Гришка проснулся на коровьем реву, в утренних сумерках пошарил вокруг себя, но Сельмы не нащупал, та, воспользовавшись тем, что он лишился сил, ускользнула от него, не сказав, где они сойдутся в другой раз для ласковой встречи. Он спустил ноги на пол, кинулся искать свои штаны, которые вечером кинул неведомо куда. Пошарил вокруг себя — пусто, присмотрелся вокруг — ничего, и скоро зашлёпал босыми ногами к открытой двери, выглянул, пригляделся к молозивным от тумана сумеркам и радостно вздохнул: целы оказались штаны, которыми он весьма гордился, из тонкого, цвета клюквы, анбургского сукна, купленные им на наградные деньги после

заключения Валиесарского мира, лежали на ступенях амбара, слегка увлажнённые утренней росой. Гришка подивился тому, что скинул портки ещё по дороге к лавке и слегка возгордился проявленной им этой ночью прытью, но голые ноги холодило утренней сыростью, и он скоро оделся, обулся и успел это как раз ко времени — явился приказчик и сказал, что ему пора уходить с Кукуя, пока Москва ещё только-только начала просыпаться, и за немцами нет такого строгого пригляда, каким он бывает днём.

Возле ворот Котошихина поджидал, одетый в лёгкую шубу на исподнее, Яков Блуме.

— Поторапливайся, Григорий! Встречи со мной не ищи. Я сам тебя найду.

— А как Сельма? — вопросил Гришка.

— Что хороша? — хихикнул Блуме. — Знамо, что она стоит тех рублей, что вчера получила. Забудь её. Даже я не так богат, чтобы часто пользоваться её милостью.

Новость неприятно царапнула Гришку за душу, и он поспешил к мосту через Яузу, поднялся к Покровским воротам и зашёл в кабак, уже наполненный, пока ещё тихими с похмелья, трясущимися питухами. Целовальник сразу углядел в нём птицу нездешнего полёта и мигнул слуге, чтобы тот провёл гостя в чистую комнату. Гришка попросил себе вина и попытался обдумать то, что с ним вчера случилось, но всё застила ему Сельма, которая так жгуче впечаталась в память, что и сейчас стояла в глазах, как живая. Блуме открыл Котошихину, кем на самом деле является эта сладкая немочка, но купец не знал настоящих продажных баб, которые с утра и до вечера стоят с натёртыми свёклой щеками и с медным колечком во рту на торге возле Кремлёвской стены, а Гришке доводилось покупать за полушку их торопливые вонявшие скотным двором тела и использовать их в прокисшей подвальной дыре на куче грязных ремков, и после мучительного содрогания, поддерживая руками штаны, мучаясь отвращением, поспешать вон, чтобы глотнуть свежего воздуха и поскорее смыть рвотную накипь во рту зеленым вином.

«Нет, Сельма не чета нашим срамным девкам, — подумал Гришка. — Хотя и она дарит ласки за деньги, но как!»

Котошихин видел Европу мельком, но она его поразила одним, чего на Руси никогда не бывало — своей чистотой. Тем она нас и берёт за горло, подумывал посольский подьячий, что всё в ней

делается чисто и вовремя. Пока мы топчемся в своей грязи, она уходит от нас вперёд, невесть куда; одно время, казалось, мы заскочили ей на запятки, но вряд ли. Конечно, Европа корыстолюбива, но и она, как Сельма: дорого взяла, да зато такими затейливыми ласками обиходила, а как она чиста, наши бабы промеж ног ветошью подтираются, а у Сельмы под юбкой штанцы из шёлка благоухают, как борода соборного протопопа, розовыми благовониями, и под ногтями чисто, и в ушах, а уж что до того самого, то после неё, как после качелей, уже и голова кругом идёт, а всё опять взгромоздиться на них подмывает. Подле столь горячих воспоминаний Гришка засопел и, позвав служку, велел принести ему большую чарку вина, осушил её, расплатился и вышел вон.

4

Дьяк Алмаз Иванов хотя и позволил Котошихину явиться на службу после Покрова, но не прошло и десяти дней, как он заскучал о толковом подьячем, который был, хоть и языкат не в меру и пёстр своей натурой, но зело мастеровит в письме. А тут еще приспела срочная нужда отписать грамоту шведскому королю от великого государя листовым письмом, и начальник Посольского приказа велел приставу известить подьячего, чтобы тот слазил с лавки, где отлежал все бока, и спешно явился по его срочному вызову.

Котошихин и сам заскучал валяться без дела в избе, слушать ворчанье Устиньи на детей, иногда он выходил во двор, поглядывал в ту сторону, где находился Кукуй, вздыхал о тамошней сладкой жизни, примкнуть к которой у него не было возможности, влазил на сенник и, пользуясь погожим днём, лежал на тёплых шершавых досках, разглядывая облака, в которых, нет-нет, да проступит синева, намекающая на уже недалёкое начало предзимнего ненастья.

Посольский пристав своим суматошным приездом переполошил околоток, в коем обитал Котошихин. Залаяли собаки, закричала и заулюлюкала, сбегаясь со всех сторон к конному вестнику уличная ребятня, зашевелились на завалинках старики и старухи, захлопав крыльями, поднялись голуби из открытой голубятни близ соседней избы, и Гришка,

оторвавшись от созерцания небес, поднялся с нагретых досок и глянул с высоты на виновника переполоха.

— Не по мою ли душу ты сюда, Сёмка, заявился? — громко произнёс Котошихин.

— А по чью же ещё? — пристав, радуясь тому, что все на него смотрят, приподнял коня на дыбы. — Сам Алмаз тебя требует и велит тебе передать, чтобы ты шёл к нему, какой есть, хоть трезвый, хоть пьяный!

— Это что за беда на меня явилась? — затосковал Гришка. — Будь другом, Семён Петрович, скажи, что мне ждать?

— Как что? — удивился пристав. — Или ты не ведаешь, что дают таким, как ты да я, в приказе? Работу! Ждёт тебя, Гришка, медная чернильница да бумажный свиток, которому не будет конца до последнего часа твоей сутулой подьяческой жизни. А ты возмечтал, что Алмаз тебя кличит на свой день ангела?

Котошихин собирался недолго: обул сапоги, одел, на случай непогоды, суконную однорядку, сунул один сухарь в рот, а два — за пазуху и, не забыв шапку, потопал по торцовой мостовой в сторону Кремля.

Появление Котошихина в приказной избе не осталось не замеченным подьячими, писцами и другими служителями. Большинство из них в ответ на приветствие Гришки промолчали и сделали вид, что погружены в свои дела, ответили молодые и то только те, кто был рядом, а подошёл к нему лишь Мишка Прокофьев.

— Поспеши, Гришка, к Алмазу, он тебя сейчас выглядывал.

— Как он, строг?

— Иди, не искусает, — рассмеялся Мишка. — Говорят, грамоту листовую перебелить надо, да некому.

Это известие согрело Котошихина тем, что во всем Посольском приказе не нашлось умельца, которому можно было бы доверить столь исключительно искусное дело. Он довольно улыбнулся и, расправив плечи, вошёл в комнату, где вершил посольские дела думный дьяк Алмаз Иванов.

Однако самоуверенности Гришке хватило не надолго, Алмаз окинул его всеведущим пронзительным взглядом, сдвинул брови, и подьячий согнулся в рабьем поклоне: ужав привычно голову в плечи, он упал на колени и тупо уставился на отполированный сыромятными подошвами сапог дубовый сучок в половой плахе.

— Скоро восемь лет, Гришка, как я взял тебя в Посольский приказ, дал тебе возможность постичь науку письмописания, возвысил до участия в посольствах, ты был царским гонцом к шведскому королю и заслужил за это милость великого государя. Объявляю, что он дозволил поверстать тебя в средние подьячие.

Алмаз выдержал минуту молчания, которая показалась Котошихину вечностью, и важно произнёс:

— Я знаю твою руку, Григорий, но обычай требует, чтобы ты выполнил испытательную работу. Ступай к дьяку Дохтурову и он даст тебе перебелить грамоту великого государя шведскому королю. Не оплошай, твоё письмо будут вычитывать все дьяки приказа.

Дохтуров, в числе других, ведал и шведским столом приказа, за которым числился и Котошихин. Шведский стол помещался на втором этаже в просторной с высокими потолками комнате, которая имела, по обычаю того времени, малые окна и потому в ней всегда было сумрачно, здесь даже днём жгли свечи, пахло сальным чадом, на обоях и крашеном охрой потолке лоснилась жирная копоть, а с верха большой печи временами осыпалась липкая сажа.

— Стало быть, явился, — глянул на Котошихина поверх оловянных очков Дохтуров и повернулся к золотописцу, который, склонившись над листом бумаги, сметал с него колонковой кистью песок, коим подсушивались писанные золотом начальные слова и узорчатые каймы грамоты.

— Как, Афонька, лист готов?

— В лучшем виде, Герасим Семёнович, — сказал золотописец и, раздувая щеки, стал усердно сдувать с листа остатки песчаной пыли.

— Вот тебе, Гришка, черновая роспись, — сказал Дохтуров. — Я её на два раза вычитал. Соберись с духом и приступай к письмописанию. Пиши, как я тебя наставлял, на одном дыхании, без оглядок по сторонам и не держи в голове ничего постороннего.

Гришка взял черновую запись, повернулся к свету и стал её медленно вычитывать, а вернее, заучивать наизусть, чтобы при письме держать в голове и заглядывать в черновик лишь в случае сомнения. Гришкин бог памятью его не обидел, эта грамота была всего в два аршина длиною, а ему уже не раз приходилось делать

грамоты в две и поболее саженей, поэтому Котошихин с первого раза всю её запомнил почти целиком, а на второй раз прочитал уже по памяти и сбился всего только раз в названии финского городка, что было вполне объяснимо, поскольку в чухонской речи сам чёрт заплутает, настолько она для русского человека заковыриста и неудобна.

Затем Гришка озаботился письменными снастями, из нескольких медных чернильниц выбрал ту, в которой наросло совсем немного грязи, выскреб её ножом, выдул пыль и велел младшему писарю наполнить чернильницу процеженными через вату свежеприготов-ленными орешковыми чернилами, приготовленными из мелких наростов, какие случаются на дубовых листьях. Посольский приказ издавна славился своими перьевыми умельцами очинить гусиное перо так, что оно писало будто само, с завидной лёгкостью, без сердитого разбрызгивания чернил и тем более клякс, появление которых на почти законченной выбеленной грамоте довело не одного писщика до сердечного удара или батогов, которыми его награждали тут же на скамье, где он трудился. Происхождение посольских гусиных перьев было одной из тайн приказа, только дьяк Алмаз и старший подьячий Нефедов ведали, что эти перья идут к ним из Костромского уезда, и заведён был такой порядок ещё во времена одного из первых посольских дьяков Ивана Михайловича Висковатого, и с тех пор не нарушался, и держался в строгой тайне от других приказов.

Озаботившись письменными снастями, Гришка робко глянул на образ Спасителя в правом углу комнаты. Он почти всегда брался за работу без освящённого обычаем обращения к Творцу, но сегодня что-то подтолкнуло его бросить взгляд на строгий и печальный образ Спасителя, и Котошихин внезапно переполнился тревогой и неуверенностью, удастся ли ему, как это уже не один раз бывало, исполнить письмописание на одном дыхании, или где-то для него в какой-то строке припасена каверза, которую можно обойти только тридцатью тремя земными поклонами и столько же раз произнесённой Иисусовой молитвой.

Дьяк Дохтуров и бывшие в шведском столе подьячие и писцы не ожидали от Гришки всплеска религиозного рвения и засмущались, когда он упал на колени и, осеняя себя крестным знамением, стал класть земные поклоны, но вскоре, заразившись

от молитвенного неистовства своего товарища, также преклонили колени и отдались без остатка тому, кто есмь аз всего сущего, изреченного и неизреченного.

После прочтения молитвы Гришка почувствовал в голове освежающую ясность, а в руках лёгкость и, встав с колен, взял подготовленный золотописцем лист бумаги, устроил его на своих коленях, выбрал, из нескольких, гусиное перо, обмакнул его в висевшую у него на шее медную чернильницу и начал безостановочно вить ровным и округлым почерком, будто нанизывая на нитку жемчуг, словеса державного смысла.

Дохтуров и служилые шведского стола люди притихли, зачарованно глядя, как, поскрипывая, гусиное перо бойко замарывает белое поле грамоты волнами слов, а из них выплывают к левой узорчатой стороне писаные золотом слова красных строк, похожие на игрушечные, вырезанные из солнца, струги.

— Уже готово? — удивился Дохтуров, услышав завистливо-восторженное перешёптывание подьячих и писщиков, что во все глаза глядели на работу Котошихина, которую тот небрежно бросил со своих колен на узкий, в три доски, стол, и она свесилась с обеих его сторон и закачалась, запоигрывала упругими краями аглицкой, купленной на архангельском торге для наинужнейших государевых нужд, писчей белоснежной бумаги.

Гришка глянул на дьяка замутневшим взором и молча кивнул.

— Что ж, поглядим на твою работу, — промолвил дьяк и потянулся к грамоте. — На первый взгляд доброе письмо. А нука ребята, даю алтын тому, кто найдёт в грамоте хотя бы одну ошибку.

— А если я найду больше? — усмехнулся Мишка Прокофьев. — Такого же не бывало, чтобы грамоту не подчищали и не правили. Всегда были промашки, и сейчас они никуда не делись.

— Может, у кого-то они были, но не у меня, — горячо возразил Гришка, но спохватился, вспомнив, за что был бит батогами, и потупился, уже не надеясь, что его обмолвку не заметят товарищи. К несчастью, люди так устроены, что чужую беду помнят дольше, чем свою, и не избежать бы Гришке ехидных напоминаний про то, за что он был бит батогами, но его выручил бывший здесь старший подьячий Нефедов.

— Дозволь, Герасим Семёнович, вычесть государеву грамоту,— сказал он Дохтурову.

— Гордись, Гришка,— молвил дьяк.— Сам Филат Михеевич взялся посмотреть твою работу, а это, брат, тебе честь: он учён грамоте не по-теперешнему, а так, как учили встарь, с толком и расстановкой.

— Дайте, ребята, свету,— попросил Нефедов, усаживаясь с грамотой за стол.

Ему скоро доставили две свечи, очистили их от нагара и поставили по обе стороны от государевой грамоты.

— А ну, расступитесь!— осерчал старший подьячий на любопытных людишек, которые обступили его со всех сторон.— Обойдусь без ваших посапываний и тяжкого чесночного духа, коим вы меня задумали охмурить. Брысь, мелкота!

Старший подьячий был приказным владыкой для всех, кроме дьяков, и ему не пришлось дважды повторять свои слова. Он помялся, поплотнее усаживаясь на лавку, вынул из-за пазухи очки, водрузил их на крупный и разрыхлённый питием хмельного нос и, перекрестившись, приступил к прочтению грамоты.

Гришка затаил дыхание и сидел, не шелохнувшись, пока Нефедов обшаривал глазами и обыскивал лист в поисках воровски затаившейся где-нибудь в бурьяне чёрточек, колечек, закорючек описки, или, не приведи Господи, ошибки, которая полностью искажает смысл того, что великий государь соизволил донести до своего известного супротивника — шведского короля. Нефедов был ведомый во всех приказах вычитчик государственных бумаг, он мог с одного взгляда, брошенного на исписанный в аршин столбец, мгновенно уловить ошибку и выиграл этим немало денег и вина, когда на спор, пока кто-нибудь успеет загнуть пальцы на одной руке, находил в письме прореху, хотя опытные подьячие и прятали её в дебрях словесных хитросплетений, какой-нибудь, придуманный ими самими непроходимой зауми.

Нефедов проглядел грамоту скорым взглядом, крякнул и, поправив очки, приступил к прочтению текста. Всё было спокойно, но вдруг старший подьячий вздрогнул, схватил перо, обмакнул его в чернильницу, которую Гришка ещё не успел снять со своей шеи, склонился над столом и, шумно вздохнув, отложил перо в сторону. Котошихин всё это видел и, уняв мелко задрожавшие от волнения руки, вытер пот со лба и огляделся

вокруг. Подьячие и пищики ещё не потеряли надежды, что опытный лис Нефедов углядит ошибку, но Филат Михеевич их не порадовал и, отложив в сторону грамоту, сказал с сожалением человека, только что потерявшего посуленный дьяком алтын:

— Писано чисто, Герасим Семёнович…

Дохтуров взял грамоту, пооглядывал её с обеих сторон и удивил всех своим приказанием:

— А ну, те, кто подьячие, кажите свои руки!

Оглядев протянутые к нему ладони, он выбрал двоих, у кого они были почище, и велел им читать грамоту, авось они, что в ней негожего найдут, а не найдут, так не вымажут её жирными от рыбьей требухи пальцами.

Пока подьячие вычитывали его работу, Гришка подошёл к Нефедову и робко вымолвил:

— Филат Михеевич, не побрезгуй, после того, как я приму присягу, поучаствовать в службе кабаку.

— Это хорошо, Гришка, что ты блюдешь обычаи нашего приказа,

— повеселел старший подьячий.— Я озабочусь, чтобы никакой задержки в присяге не было.

Тем временем подьячие вычли грамоту и тоже приговорили, что она писана чисто.

Теперь за неё взялся сам дьяк Дохтуров, которому предстояло грамоту заверить и затем отнести её думному дьяку Алмазу Иванову. Герасим Семёнович умел читать почти так же скоро, как Нефедов, и он также не обнаружил в ней ничего ошибочного, но по своей привычке проверять самого себя, дважды прочёл царский и королевский титулы, зная, что за ошибку в них казнь последует неотвратимо. Затем широко расписался на обратной стороне листа и, поманив за собой Котошихина, отправился в комнату начальника Посольского приказа.

— Вычитывали Нефедов, двое подьячих и дьяк Дохтуров,— доложил он, бережно опуская на стол уже завёрнутый в алую камку свиток государевой грамоты.

Алмаз взял его и, открыв железный сундук, положил туда для бережного хранения от недобрых людей, мышей и, главное, от пожара, с тем, чтобы завтра явить грамоту Алексею Михайловичу для просмотра и выдачи её снаряжённому в свейскую столицу царскому гонцу.

В комнату вошёл Нефедов, в одной руке он держал Евангелие древлего письмописания и потемневший серебряный крест,

на которых подьячие принимали государеву присягу. Первую свою присягу Котошихин принял, когда из писцов был переведён в младшие подьячие, сегодня великий государь пожаловал его в средние подьячие, и это требовало новой, более строгой присяги, поскольку теперь Гришке по его чину становились доступны тайные дипломатические бумаги, которые он мог брать для работы в «казёнке» приказа.

Обряд посвящения в новый чин среднего подьячего был прост. Нефедов положил священные предметы на столец перед иконами в красном углу комнаты, Котошихин встал перед ним и, трепеща от волнения, дрожливым голосом стал читать наизусть государеву присягу:

— Клянусь Великому Государю своему, царю Великия, Малыя и Белыя России Алексею Михайловичу и его царского величества сыну великому князю Алексею Алексеевичу служить и добра хотети, и дела всякие делати, и судити вправду, и по дружбе ни в чём никому не норовити, а по недружбе ни в чём не мстити, и государевы казны всякие беречи, и ничем государским не корыстоваться, и пожитку себе государскою казною не учиняти, ни с кем государскою казною не ссужатися, и посулов и поминков ни у кого и ни от чего не имать, и дел государевых тайных всяких никому не проносити и не сказывати, и во всем государю своему и детям его служити и добра хотети в истинную правду по сему крестному целованию.

Произнося клятвенные слова, Котошихин трижды осенил себя крестным знамением и, склонившись, поцеловал крест и Евангелие. Страх, с которым он приступил к произнесению клятвы, сразу же после крестного целования из него выветрился, поскольку он понял, что всё произнесённое им, не более чем слова, предупреждавшие среднего подьячего Котошихина, чтобы он лгал, крал, обманывал начальных людей и даже якшался с врагами православия с великим бережением и оглядкой, дабы за это он поплатится спиной, а то и головой. Все в приказе целуют крест, да не все остаются верны своей клятве. Один крал чернила и продавал их площадным подьячим, другой норовил уволочь лист-другой особо ценной Александрийской бумаги. Дьяки в посольствах ужимали кормовые дачи, обсчитывали пищиков и подьячих. Думный дьяк Алмаз строго взыскивал со служилых людишек, но и не допускал излишней строгости: чаще всего учил своей тяжёлой дланью подьячих, а Нефедов

драл уши и привязывал к скамье на день, а то и больше, молодых писщиков и подьячих за чрезмерное винопитие и кабацкую гульбу с рукоприкладством.

— Отныне, Гришка, — торжественно промолвил думный дьяк, — ты подьячий средней руки и допущен к написанию важнейших государевых грамот, за которые тебе будут выплачиваться добавочные деньги. Эту грамоту я оценил в пять рублей. Бери деньги и помни, что они даны не для того, чтобы ты сегодня вечером напился допьяна. Ты ведь подумал устроить не хилое пированьеце. Мне нет нужды знать, кто твои гости, а вот надсмотрщиком я тебя пожалую. Филат Михеевич, пригляди за ребятами, чтобы кабак не развалили, да себе руки-ноги не переломали.

— Добро, пригляжу, — посмеиваясь в бороду, сказал Нефедов. — У меня они не забалуют.

— Ступайте, — махнул рукой Алмаз. — И помни, Гришка, что чин тебе даден не за твои заслуги, а в долг, в надежде, что ты оправдаешь мои чаянья видеть тебя когда-нибудь добрым дьяком.

Уходя из комнаты начальника приказа, Котошихин бросил взгляд в окно и не понял: толи тучи набежали на Москву, толи уже начало смеркаться. Он заглянул в шведский стол и поманил Мишку Прокофьева.

— Ты часы слышал?

— Восемь часов уже давно пробило, — сказал Прокофьев, игриво подмигнув рыжим усом. — Пора, Гришка, кабаку службу служить, и не отнекивайся, всем в приказе уже ведомо, что ты средний подьячий и за грамоту награждён деньгами.

— Откуда ж тебе стало известно про мою удачу? — удивился Котошихин.

— Земля слухом полнится, а государевы приказы догадками да шепотками, — усмехнулся Прокофьев. — Я ещё вчера узнал, что быть тебе в новом чине от сторожа в дверях приказной избы.

— Быть того не может! — изумился Гришка.

— Может, раз ты средний подьячий. Но это уже проехано, а что впереди?

— Вестимо, что — кабацкие радости, — сказал Гришка. — Иди во двор, а я возьму Филата Михеевича, и мы за тобой выйдем.

На Москве кабаков или кружал было в избытке, каждое из питейных заведений имело свою славу и к ним тянулись,

по большей части, люди одного разбора: в одном кабаке гуляли стрельцы, в другом — солдаты полков нового строя, в третьем находили приют торговые приказчики, в четвёртом облюбовали себе место воры, в пятом можно было найти безместных попов и бродяг в монашеских одеяниях… Служилые люди государевых приказов имели своё кабацкое пристанище неподалёку от храма Василия Блаженного, этот кабак был негласно одобрен начальниками самых многолюдных приказов как место достойное для винопития подьячих и писщиков, чтобы они собирались и пьянели в одном месте и не разбредались по всей Москве, где на каждом шагу можно быть не только раздетым, но и брошенным с разбитой головой в какую-нибудь поганую яму.

Выйдя из Фроловских ворот они пересекли торговую площадь и скоро оказались рядом с большой избой, возле которой валялись в блевотине несколько питухов, а вход сторожил красноглазый детина в армяке, надетом на голое тело, и в стоптанных сапогах.

— Куда разбежались! — загородил он путь посольским людям. — Без службы кабаку сюда входа нет. Зачем сюда явились, крещённые?

— Поблаговестить в большие чарки, — нараспев произнёс хорошо знавший здешний обычай Гришка. — А так же позвонить в полведришки пива.

— Вовремя явились! — забасил расстрига. — Как раз бубенная стукота созывает подьячих на шалое дуровство: велит вашей троице нищеты ярём восприяти, глаголет винопивцам: придите, возвеселимся, вмале сотворим возношение с плеч шуб, с ног — сапог, с голов — шапок и прочих одеяний щедрому целовальнику. Родила нас мама, да не приняла яма, летом не потеем, зимой не зябнем, живём, что грязь месим!

— А что целовальник щедр сегодня? — высунулся Прокофьев. — Всего ли припас к гулеванию?

— Нынче день скоромный: репа пареная, редька вяленая, шти мартовские — всего от пуза. Одна беда — у целовальника мыши от хлеба опухли, а мухи с голоду мрут.

— И много ли нынче даров кабаку принесли? — сказал Нефедов. — Или весь день пусто было?

— Нынче великие дары кабаку были! — возвестил расстрига. — Принесли: поп и дьякон скуфьи и шапки, однорядки

и служебники, чернецы — рясы, клобуки и свитки и всякие вещи келейные, дьячки — книжки и переводы, чернила и сургуч, мудрецы здесь мудрость на глупость променяли, бояре да воеводы до сих пор за столом местничаются, пушкари и солдаты тоску покупают, разбойники кистенями меняются, женки щёки свёклой натирают и юбки задирают — все к веселью готовы, ждут посольских подьячих на пированьеце! Аз, грешный, весь ссохся без хмельного орошения!

— Держи, Гаврюха! — в рваную шапку Гришка бросил алтын. — Кабаку мы службу отстояли, теперь пора и поблаговестить по-настоящему!

В нижней клети кабацкого сруба было людно и грязно, здесь находилось дно разгульного попоища, где без оглядки на неизбежные муки ада предавались пианству людишки самого низшего пошиба, вернее было бы назвать их бывшими людьми, поскольку в них из человеческого почти ничего не осталось, они перебивались кражами, разбоями, игрой в зернь, и вообще неведомо из чего, но каждый добывал себе ежедневно деньгу или копейку, которую тут же кидал в ненасытную утробу кабака и приобщался к всеобщему разгулу.

Новые гости миновали кабацкое дно и по скрипучей расшатанной лестнице поднялись на второй этаж, где было потише и для посетителей имелись небольшие комнаты. Слуга тотчас проводил их в одно из таких помещений, где никого не было, и усадил за стол, на котором, как признак порядочности этого места, стояла солонка с жёлтой солью. Филат Михеевич углядел образ в углу, хотел, было, перекреститься, но уронил руку: иконку так засидели мухи, что разобрать, какой святой на ней написан было невозможно.

Разносолов в кабаках не готовили и к столу подавали чёрствый хлеб, лук, чеснок. Это делалось для того, чтобы питухи быстрее пьянели и поскорее освобождались от своих денег. Для чистой публики держали закуски посытнее: солёную рыбу, вяленое мясо, солёные, а в сезон и свежие овощи. Всё это без промедления возникло на столе, а так же кувшины с квасом и вином.

Нефедов стал сразу начальствовать над застольем: обнюхал закуски — хороши ли, не высунулась ли из рыбьего брюха какая-нибудь гадость; оглядел и попробовал огурцы, капусту, хрен и остался удовлетворён осмотром, но не так кормами, как тремя кувшинами вина, по одному на питуха, с этим можно было

заседать до полуночи, а Филат Михеевич любил, чтобы во всяком деле, за которое он брался, просматривалась даль и возможность всегда продолжить начатое, если оно пришлось ему по сердцу. Нефедов ощутил прилив сладости к своему языку и поторопился начать пированьеце.

— Сей почестной пир мы затеяли не от глупого заделья, а по важнейшему поводу: наш товарищ Григорий Карпович этим днём принял присягу и поверстан в средние подьячие Посольского приказа…

Нефедов не был многоречив, но успел объявить, что получением нового чина Гришка обязан только ему, и новый средний подьячий с этим бахвальством согласился и поднял во здравие Филата Михеевича чарку с такими горячими словами благодарности, что тот оросил свои сивые усы пьяной слезой, и, воспылав к Гришке любовью, стал почему-то наседать на Прокофьева, чтобы тот во всём следовал Котошихину, что взъярило Мишку, задетого возвышением приятеля, и он стал бросать на него недружелюбные взгляды, которые не посмел устремлять на Нефедова.

— Пить надо уметь! Сие, друзья мои, наука,— возгласил Филат Михеевич.— Она не каждому даётся. Скажи, Мишка, почему я — старший подьячий, а ты им никогда не станешь?

Прокофьев в ответ подплескивал в чарку начальника вино и помалкивал, хотя его так и подмывало изругаться по-матерному.

— А потому, Мишка, ты не будешь старшим подьячим, что все вы, если выпьете десятую часть того, что выпил я, то навсегда пропьёте свой умишко. А я?.. Я пропил свой ум?..

— Как можно! — возмущённо воскликнул Котошихин.— Я завсегда почитаю тебя, Филат Михеевич, за умнейшую голову Посольского приказа, равной которой не найти на всей Москве.

— Вот! Слышишь, Мишка, кто я таков? — возрадовался похвале Нефедов.— Я и сейчас готов вычитать любую грамоту и не пропущу ни одной ошибки!

— Как это любую? — осмелел захмелевший Прокофьев.— Китайскую грамоту, небось, не вычитаешь?

— А вот вычитаю! — заявил Нефедов.— Я, брат, любую грамоту вычитаю, если она будет на русском языке. Ну что? Съел?.. Я, брат, своего ума не пропиваю. Со мной тебе никогда не сравняться, о том и в Святом Евангелии сказано, что ученик

никогда не станет выше учителя, но, усовершенствовавшись, может сравняться с ним. Тебе бы, Прокофьев, за Гришкой поспеть, да и то едва ли ты за ним угонишься.

Подьячие ещё не знали, что Нефедов любил их стравливать, а затем поглядывать с усмешкой, как они начинают вредить друг другу, ложным сочувствием входил к ним в доверие и делал из них доносчиков обо всём, что делается в приказе между мелкими служилыми людишками, и находил во всём этом для себя выгоду.

Гришка и не догадывался, какие ковы строит супротив него и Мишка Прокофьев. Он, получив чин, наградные деньги за грамоту, испив вина и слушая вполслуха разговоры сослуживцев, пребывал в мечтательном состоянии, когда человеку мерещится самое приятное, что было в его прежних днях, и Котошихину мнилось, что из кабака он направится к Сельме, чья лукавая сладость пленила его сердце, подобно колдовскому привороту.

5

Получение нового подьяческого чина стало не последним подарком, которым пожаловала Гришку весьма неблагосклонно относившаяся к нему до сих пор судьба: наконец-то расщедрился Карп Пантелеевич и выделил сыну двадцать пять рублей как его долю при разделе двора и имущества, описанного судьёй Земского приказа. Котошихин деньги взял с большим ворчанием: медь с каждым днём дешевела, приобрести землю и сруб в Москве за рубли, полученные от родителя было невозможно, хотя Гришка имел и свои зажитки, но, даже сложив всё в кучу, своего двора он вряд ли бы заимел, да и строиться была не пора, началось предзимнее беспогодье, и разумнее было отложить хлопоты о своей избе до весенних дней.

Однако судьба пока не думала покидать своими благодеяниями посольского подьячего, и перед Зимним Николой его потребовал к себе судья Земского приказа Елизаров. Гришка явился к нему в большом страхе, но думный дворянин не накинулся на него с кулаками, а лишь презрительно оглядел и объявил, что на него подозрения нет, и велел приставу снять печать с котошихинской избы и вернуть ему имущество, которое было описано, в той

части, что было пока цело и не разошлось по рукам при распродажах.

Гришка чуть не задохнулся от радости и кинулся обнимать сапоги Елизарова, но тот встретил его пинком и велел убираться прочь, пока ему позволено это сделать. Пристав подхватил Котошихина за воротник и выволок из приказа, где бросил в грязный истоптанный ногами челобитчиков снег, а сам влез на коня и велел Гришке бежать с ним рядом, если он хочет сегодня же получить свой двор. Котошихин ухватился за седло и бежал до Китай-города, где пристав, открыв ворота, сорвал доски с двери и окон избы.

— С тебя целковый! — объявил он.

Гришка безропотно отдал земскому мздоимцу целковый и вопросил:

— А где мои зажитки?

— Всё твоё свалено в амбаре. Кое-что продано с торгов, таков наш, не обессудь, обычай.

Пристав сел на коня и уехал, а Котошихин поспешил к белому амбару, сорвал доски с двери и скоро убедился, что всё лучшее из имущества расхищено: исчезли шубы, зимняя обувь, посуда, два тканых шерстяных ковра, а что осталось, свалено в углу и превратилось в мёрзлую кучу. Гришка заглянул в ларь и удивился, что цела мука, рядом лежали два мешка: с овсом и горохом. Вдруг возле него упала тень, Гришка обезножел от испуга, но это был Карп Пантелеевич.

— Скор на дело Елизаров, — сказал родитель. — Вчера мы с ним столковались, а сегодня ты уже здесь.

— О чём столковались?

— Как о чём? Теперь, Гришенька, ты полный хозяин всего двора. У меня вот и бумага про это выправлена.

— Значит, вины на тебе нет? — обрадовано вопросил Гришка.

— Конечно, нет, — усмехнулся Карп Пантелеевич. — Думный дворянин с пристрастием рассматривал те ефимки, что я ему вчера дал, даже на зуб серебро пробовал, и решил, что вины на мне нет и не было, о чём направлена отписка в Монастырский приказ.

— Стало быть, ты правду отыскал через посул.

— А ты, Гришка, к ней другую дорогу нашёл? — усмехнулся Карп Пантелеевич. — Если ведаешь к ней иной путь, то не скрывай

от родителя. Я ведь с этим делом крепко поиздержался. Ты бы, Гришка, вернул мне те деньги, которые я как долю за двор тебе отдал.

— С какого такого рожна я должен отдавать то, чем владею? — холодно вопросил Гришка. — По твоей милости, глянь, все зажитки растащены и расхищены. На дворе мороз, а твои внуки сидят на печи, им не в чем во двор выйти. Ты что прикажешь им голыми всю зиму бедовать?

— Так и я гол и пуст остался, — слабо вякнул родитель.

— Как это гол! — хохотнул Гришка. — Ряска на тебе, поди, из анбургского сукна, а шубу и шапку ты сумел спрятать от выемки приставами в своём монастырьке. А чтобы деньги водились, так пой те молитвы, какие доходнее, или торгуй табаком, теперь, поди, и Елизаров с тобой в доле.

— Типун тебе на язык! — замахал руками Карп Пантелеевич. — Это Бог на дурака не обижается, а сильный человек тебя раздавит, как комара. Вот и ты допищишься! И в кого ты такой уродился? Живи, как знаешь, а я больше к тебе ни ногой!

Гришка вслед родителю даже не поглядел, а пошёл к дровянику, отгрёб снег от двери, набрал охапку берёзовых поленьев и затопил в избе печь. Пламя заплясало в печном зеве, отсвечиваясь багровыми языками на потолке и стенах, и Гришка спохватился, что, зайдя в горницу, он не только не перекрестился, но даже не глянул в сторону божницы. Он подошёл к красному углу, смахнул с иконы Спасителя паутину и сдул пыль. Затем от уголька возжёг лампаду и осенил себя крестным знамением.

«Кажись, теперь вселился, — подумал Гришка. — А где же кошка?»

Он открыл в сени дверь, позвал её, но та не мяукнула, тогда Котошихин по рубленому переходу прошёл в поварню, переступил порог и в ужасе отшатнулся: из котла с диким шипеньем выскочило взъерошенное чудище и сшибло с полки крынку и глиняную миску, которые, упав на пол, вдребезги разлетелись по сторонам.

— Рыжик! — осипшим голосом позвал Гришка одичавшего кота. — Чем же ты выжил?

Он подошёл к пустому мешку, поднял его, оглядел и швырнул на пол.

— Всё ясно: мыши лопали муку, а ты их, цап-царап — и к себе в брюхо греться!

Гришка, чтобы везде было тепло, затопил печь и в поварне, затем вышел из дома на проезжую улицу, где сразу подрядил мужика с лошадью, залез в сани и поехал к семье. Сборы были недолгими, и скоро семейство Котошихина поселилось в родном дворе с превеликим шумством и радостью.

Полностью обосноваться Котошихину удалось к Рождеству, для этого ему пришлось потратиться на покупку четырёх возов колотых дров, шубеек и обувок для домочадцев, на новые овчины для спанья, а на праздник он купил тушу свиньи, мешок муки, большой круг мёрзлого масла и дюжину рябчиков.

Отгуляв, Москва принялась поститься, и для Котошихина потянулись утомительно долгие будни, занятые приказной работой, где, кроме письма, на среднего подьячего накладывали и другие обязанности, весьма далёкие от посольского дела. Зиму Котошихин провёл в разъездах, на его долю выпала проверка правильности кабацких и таможенных сборов Владимирской четверти, которая совсем недавно была дадена Посольскому приказу для получения с неё денег на жалование боярам, окольничим и служилым людям, занятым в посольствах.

До сих пор Котошихин знал только московскую жизнь, шумную, суматошную, где было легко потерять голову, но и так же обрести пропитание на каждый день всегда имевшейся в достатке работой, а тем, кто не способен к труду, попрошайничеством, поскольку Москва была богата, в неё со всей России, от Пскова до Охотска, стекались товары, наполнявшие московские торги, и люди, положившие себе целью жизни найти своё счастье в бурном коловращении столичной жизни.

В эту зиму Котошихин познал другую Русь, которая начиналась сразу же за московскими заставами, и был премного удивлён и даже поражён тем, что ему довелось увидеть. В Ливонии, Лифляндии не было столь вопиющей нищеты, как здесь, и эта нищета удивляла, она была отличительным признаком людей, которые работают, в первую очередь — крестьян, они были гораздо беднее тех, кто нищебродничал, любой московский нищий был, по сравнению с владимирским крестьянином, богачом, у того почти на всякий день были на столе куски белого хлеба, а мужик съедал утром сухарь, запивал его водицей, а по праздникам — квасом, и с зари до зари не разгибал спины за тяжёлой работой.

Живой и впечатлительный ум Котошихина был уязвлён неправдами, лихоимством и воровством, которые совершались

людьми, облечёнными доверием высшей власти. За всю проверку он увидел всего лишь одного целовальника, на которого не нашлось прямых доказательств в воровстве, остальные начальные кабацкие и таможенные люди запускали руки в государеву казну, как в свой кошелёк. Котошихин был горяч и по-своему прямодушен, он заключал всех проворовавшихся людишек под стражу, вопрошал их со всей строгостью, как они смогли переступить через свою крестную клятву, ведь за ложное целование креста им предстояло теперь в аду вечно целовать раскалённое железо, и в ответ слышал жалостливые вопли, мольбы пощадить и предложения посулов.

Котошихин был не прочь поднабить свою мошну мехами и деньгами, но он ещё не забыл, как был бит батогами и поёживался, вспоминая испытанный им ужас. Но не только это было помехой, Гриша не мог без отвращения глядеть на ползающих перед ним на коленях, и от их унижения испытывал к ним не сочувствие, а мучительную тошноту и внутреннее опустошение, всегда заканчивающиеся безысходным вопрошанием: «Господи, разве можно так жить, как живём все мы?»

За два месяца проверки Котошихин пересажал многих целовальников под стражу, намереваясь, как ему было указано думным дьяком Алмазом, доставить их купно в Москву для полного следствия и суда, но за день до отъезда к нему прибежал пристав и донёс, что все узники из тюрьмы разбежались и являть для приказного суда некого. Подьячий кинулся к воеводе, но тот выставил его из своей избы вон и велел Гришке из города немедленно убираться и быть готовым к ответу за свои вины, о которых уже доведено дьякам Посольского приказа. Котошихин хотел, было, проявить свой нрав, стал тоже грозить воеводе, но у того нрав оказался покруче, а кулак покрепче, и скоро уже подьячий слетел кубарем с крыльца съезжей избы, под хохот воеводской челяди и челобитчиков, явившихся за правдой к владыке здешних мест.

Гришка отвязал от крюка в городьбе коня, взгромоздился на него и поехал в избу, где была его ставка приказного проверщика. Там он велел своим людям упаковывать расспросные листы, вещи и следующим утром отправился в Москву, обуреваемый жаждой справедливости, кою он непременно сыщет в Боярской думе, и страхом, что воевода всегда будет прав уже потому, что он родился князем Сицким, а не Котошихиным,

к своему родовому имени Гришка всегда испытывал отвращение и ставил его наравне с каким-нибудь зазорным прозвищем.

— Экий ты недотепа, Григорий! — вздохнул дьяк Алмаз, выслушав жалобы и причитания Котошихина.— Великие неправды ты, стало быть, узрел и жестоко пострадал?.. Не твоё это дело по кабакам да таможням шариться в поисках правды. Отставляю тебя от этих дел. На Москву явился Ордин-Нащекин, сейчас он у великого государя, но скоро явится сюда. Думному дворянину надобно посмотреть все польские дела, какие у нас хранятся в казёнке. Вот тебе ключ, запрись там и отбери всё польское, что у нас имеется.

— Как скоро явится думный дворянин? Успею ли?..

— Успеешь. Как великий государь и Нащекин сойдутся, то их неделями не разлучить, всё наговориться не могут.

Казёнка, для того чтобы в ней сохранились от огня важнейшие государственные бумаги, находилась в каменной подклети приказной избы, в особом помещении за толстой железной дверью, и стены в ней были в два раза толще, чем в самой подклети, сложенной из прочнейших, замешанных на яичном желтке, кирпичей, каждый из которых был клеймён отпечатком всадника с поднятым в руке копьём, поражающим Змия. Замок на дверях и засов были грубой ковки, и ключ поначалу не проворачивался, но Гришка взял из угла в коридоре, прислоненный к стене шкворень и размашисто постучал по замку. От крепких ударов и железо мягчеет нравом, в замке щёлкнула запорная пластина, и железный калач разомкнулся, освободив вход в помещение.

В казёнке было затхло и душно, Гришка нашёл взглядом небольшой, с кулак, продух, вынул из него тряпку и некоторое время держал открытым, чтобы проветрить комнату. Из перегороженного железными прутьями окна в коридор сочилась полоса света, в которой струилась серебристая пыль. Гришка смачно чихнул, нашёл на груде ящиков толстый свечной огарок и пошел к подвальному сторожу, который дремал возле горящей печи и не пошевелился, пока Котошихин зажигал огарок.

— Проспишь своих сидельцев,— сказал Гришка и надвинул сторожу на нос грязную шапку.

— У меня все посчитаны,— заявил караульщик.— Хочешь — проверь: семь русских и один немец.

— А немец здесь за что? — удивился Котошихин.

— Мне до этого дела нет. А немец тихий, только ревмя ревёт, как дитя без матки.

Немец в русском застенке пока не заинтересовал Котошихина, он спешил оглядеть всё, что хранилось в казёнке Посольского приказа, о которой много слышал от бывалых подьячих, но был допущен туда впервые. Гришка осветил комнату и присвистнул, она была плотно вдоль стен заставлена ящиками разных размеров, здесь были ящики, изготовленные из сосны, но обитые бархатом; выделялись своей величиной ящики из дубовых досок, окованные по углам и краям железом. В них размещались, как Котошихин заметил, столбцы и книги в кожаных переплётах, размерами от листа до осьмушки, толщиной некоторые по полуаршина. Посредине комнаты возвышалась груда составленных кое-как друг на друга осиновых коробьев и холщёвых мешков, в которых лежали навалом тетради и «рознь» — документы россыпью, без всякого подбора по какому-нибудь общему признаку.

Котошихин, освещая ящики светом свечи, прошёлся вдоль стен и обнаружил, что какой-то порядок в размещении бумаг соблюден. Отдельно были сложены дела европейских государств и дела «азиатские», что соответствовало пяти повытьям или отделам, которые существовали в Посольском приказе — два для стран Азии, а три для европейских государств. Ящики были незаперты, Котошихин открыл самый ближний и вынул из него книгу, которую ему пришлось доставать двумя руками, настолько она была тяжела и толста. Он распахнул её и попал в прошлый век, во времена Ливонской войны, книга хранила переписку между Москвой и Стокгольмом — письма и статейные списки русских послов с посольских съездов, черновые грамоты будущих договоров о мире. С ящиками, на первый взгляд, для Котошихина было понятно, и он коснулся розни, вывалив её на пол из осинового короба. Здесь была переписка относительно недалёкого времени, отдельные грамоты вперемешку, до которых ещё не дошли руки посольского переплётчика.

Перебрав несколько бумаг, Котошихин прочитал на одной знакомое имя — Дохтуров, его непосредственный начальник повытья, в котором находился и шведский стол. Это была часть статейного списка о поездке Герасима Семёновича в Англию с сообщением о смерти царя Михаила Фёдоровича и вступлении на престол царя Алексея. «Стало быть, не врал дьяк, вспоминая про англицкую землю,— подумал Котошихин, просматривая

пыльный свиток. — Ишь ты, какая там пря разгорелась между королём и парламентом. «Писал король их английский к парламенту, чтобы парламент его в Лондон на королевство пустили, а тот в ответ, дескать, пусть даст парламенту письмо, что королю быть в одной вере с парламентом, а свою папежескую веру забыть навсегда».

«Да тут сколь всего любопытного!» — обрадовался Гришка и развернул ещё одну грамоту и наткнулся на просящее письмо от эмира Хивы: «Да он же Исфендияр царь хочет женить сына своего и просит у царского величества, чтоб царское величество его пожаловал велел послати к нему на свадебный пир для подъёму денег несколько, соболей да лисиц добрых чёрных, да к нему же бы прислати девку черкаску добрую». Внизу текста письма приписка: «В Юргенчи по государеву указу послано Исфендияру царю за его дары и по запросу для свадебного подъёму соболями на четыреста рублей. Сыну же его Сейту царевичу вдвое против его даров на сто рублей. И велено послам сказать, что девок черкасок великий государь бусурманам не жалует».

Котошихин устал стоять на ногах и взял себе один ящик под сидение, на другом поставил свечной светец и продолжил беглый просмотр грамот. Нашёл и писаные своей рукой из Валиесара и Кардисса, и среди них ту, с ошибкой в государевом титуле. «Как же меня угораздило так промахнуться, — горько вздохнул Гришка. — С этой ошибки и ладу в моей жизни не стало».

В розни попадались и грамоты, касающиеся польских дел, подьячий откладывал их в сторону, не читая, а другие, повинуясь капризу, проглядывал, а над расспросными речами посланников в Вену стольника Лихарева и дьяка Пескова расхохотался до слёз. «Солдат, бывших с посольством, он бил и увечил, — обвинял дьяк стольника, — а иным руки переломал, во время ночлегов стоял на особых дворах и держал у себя толмача, чтобы его потешал и с племянником песню «берёзу» пел… пожелал именоваться князем, велел называть себя не посланником, а послом…» В свою очередь Лихарев в долгу не остался и обвинил дьяка, что тот «его бесчестил, лаял дураком, глупым называл и говорил, что он во всём знает больше его и всякое дело ему за обычай».

— Тебе тут дурно не стало? — раздался позади развеселившегося Котошихина сиплый голос подвального сторожа. — Пора, господин подьячий, запирать казёнку, уже

пробили час ночи, мне самое время в подвале до утра закрываться. Здесь хоть и Кремль, а лихих людей вокруг бродит несчитано.

Гришка был скороделом и за неделю перебрал все посольские бумаги в казёнке, наложил полный осиновый короб польских дел, но как сказал мудрый дьяк Алмаз Иванов, так оно и вышло: встретившись после долгой разлуки, великий государь и Ордин-Нашекин не могли наговориться и, казалось, думный дворянин забыл, что ему нужны польские бумаги. Его появление в Москве и тесная близость к великому государю вызвали толки, что Ордин-Нащекину будет доверено ведение всех посольских дел и должность оберегателя большой государственной печати. Тем, кто указывал на малый чин думного дворянина, возражали, что за чином дело не станет, была бы на то воля великого государя, и вряд ли кто воспротивится из больших бояр видеть рядом с собой худородного дворянина, покуксится, но стерпит, памятуя, что Алексей Михайлович порой бывает гневлив и своего тестя за неосторожное слово оттаскал прилюдно за бороду и пинками выгнал из Золотой палаты, где заседала Боярская дума. В разговорах неизбежно всплывала история бегства сына Ордин-Нащекина за границу. На Москве всё отчетливее стали поговаривать, что немецкая сладость оказалась Войке не по вкусу, и он начал скулить на польской привязи, устав отбиваться от ксендзов, которые тянули его в католичество.

И царь, и Ордин-Нащекин были единодушны в том, что с Польшей надо мириться, во что бы то ни стало. К этому вынуждало Россию стойкое предательство казацкой старшины, тянувшейся к Польше из-за царившего в ней панского своевольства. Мир с Польшей был необходим, чтобы оказать совместный отпор туркам и крымским татарам, наконец, мир нужен был России, которая изнемогала под тяжестью людских и материальных потерь, вызванных уже восьмилетней войной, и неизбежным финансовым крахом, причиной которого стали медные деньги, которые заменили в стране серебряные монеты.

К миру, за которым Ордин-Нащекину мерещился прочный союз с Польшей, можно было прийти только ценой больших уступок, об этом и рассуждал великий государь с Афанасием Лаврентиевичем, на языке у них было уступка правобережной Украины, а на уме вертелось другое: не пойдут ляхи на это, а потребуют всей Украины, Смоленска и Северской земли.

Частые встречи великого государя и думного дворянина обычно приходили в личных покоях Алексея Михайловича, что придавало им вид дружеских собеседований двух единомышленников. Царь привычно восседал в кресле, нетерпеливому и горячему Афанасию Лаврентиевичу не сиделось и не стоялось на одном месте, он, нарушая всякий придворный обычай, прохаживался по комнате и умело обволакивал великого государя своими речами, коим было нельзя не поддаться, настолько они были убедительны и западали в душу своей страстностью и искренностью, что звучали новым словом в стенах, привычных отражать лишь равнодушно-лживые словеса постоянного и ближнего окружения русского самодержца.

— Никита Одоевский с тех пор, как ты покинул посольство, не перестает слать мне на тебя жалобы,— сказал Алексей Михайлович.— Обижается, что ушёл без совета с ним, а убегал ночью и забрал самого лучшего коня, а то бы он тебя непременно вернул.

— Что за глупые поклепы! — вспыхнул Ордин-Нащекин.— Он разбил посольский стан близ Смоленска и залёг в своем шатре, как в берлоге. Я его неделями не мог увидеть, и лишь по тому, что из шатра время от времени выносили жбан с его опорожнениями можно было догадаться, что боярин жив, а не переселился отсель в заоблачные пределы. Он и сам не торопился и поляков не поторапливал к миру, к радости турка и хана, которым славянское объединение кажется страшным сном, и они ему всячески вредят, то, пугая, то, улещивая ляшского короля.

— Но мне твоё желание, Афанасий, ехать к королю за миром, когда он нас к себе не зовёт, кажется неразумным. Полякам это добавит гонору, их требования к нам станут наглыми и невыносимыми. Но я ещё так до конца и не пойму, зачем нам нужен не только мир, но и союз с ляхами? Разве сие возможно?

— Это не только возможно, но и необходимо,— голос думного дворянина приобрёл юношескую звонкость, а глаза вспыхнули молодецким задором.— Союз любви и добра между Польшей и Россией наведёт страх на султана, потому что христианские Молдовия и Валахия отложатся от Турции и сблизятся с Россией и Польшей.

— Не хотелось бы тебе говорить, Афанасий,— смущенно вымолвил великий государь.— Но кое-кто мне советует при

случае польского безкоролевья примериться к королевской короне. Так, дескать, и мир можно заиметь, и союз с ляхами.

— Остерегись это делать, великий государь,— скорбно произнёс, опускаясь на колени Ордин-Нащекин.— Русский человек и так не в чести в Литве и Польше, а слух о том, что королём может стать русский царь на руку тем, кто мечтает, чтобы Польша и Россия истощали друг друга в войне и бесконечно ослабевали. С другой стороны, польский престол давно стал разменной монетой в соперничестве между собой многих стран, и это осложнит наши отношения с Австрией, Францией и, что немаловажно, со Швецией.

— Успокойся, Афанасий, и поднимись с колен,— усмехнулся Алексей Михайлович.— Я и сам знаю, что королевская корона мне будет жать голову, я просто хотел примерить к твоим словам советы тех, кто уже просто не знает на какую божницу меня усадить. Говорят, что поляки и литовцы меня ждут. Что за глупость! Может, и шведы меня ждут? Ждут от меня полмиллиона рублей за корельских перебежчиков. Просят, чтобы я принял их переговорщика, я пока их не жду, но ведь явятся. А у нас, ты ведь знаешь, с деньгами беда!

— Шведского переговорщика о корелах принять придётся,— деловито произнёс Ордин-Нащекин.— Но надо его замотать, замучить всякими посольскими выдумками, дьяк Алмаз это дело знает. И ещё одно: надо сохранить в строжайшей тайне то, сколько денег великий государь намерен дать за корелов. Шведы измаются ждать, а у них всегда безденежье и согласятся на то, что им поволишь дать ты, великий государь.

— Шведы то и дело ссорят поляков с русскими и имеют от этого большую выгоду,— сказал Алексей Михайлович.— Держат в своих руках всё Балтийское море, не дают нам выходу на Запад ближним путём, не через Архангельск. Для них даже не союз, а мир России с Польшей будет большой неприятностью. Значит, ты, Афанасий, настаиваешь на своей поездке в Польшу?

— Иного выхода я не вижу, великий государь,— с чувством вымолвил Ордин-Нащекин.— С поляками надо мириться…

— Но не любой ценой,— строго сказал Алексей Михайлович.— В Кардиссе шведы навязали нам условия давнего Столбовского договора. Как бы ляхи не оборотили нас к статьям Поляновского договора. Ты готов к такому повороту событий?

— Смоленск и Северскую землю Россия не уступит, — твёрдо произнёс думный дворянин. — А я догадывался, что полякам захочется всучить нам Поляновские условия мира, и даже попросил Алмаза сделать мне список со всех бумаг, которые касаются этого соглашения.

— Мне твоя, Афанасий, прозорливость нравится, — с улыбкой молвил Алексей Михайлович. — К несчастью, ты у меня на все случаи один.

— Позволь тогда, великий государь, довести до тебя то, что тебе будет не по нраву?

— Говори, — построжел лицом Алексей Михайлович. — Правда ино груба, да без правды нельзя.

— Может так статься, что за мир и, тем паче, союз с Польшей надо будет отдать ей и левый берег Днепра и Киев.

— Ступай отсель, Афанасий, а то мы повздорим! — осерчал Алексей Михайлович. — И думать забудь про то, что ты мне сейчас сказал.

Ордин-Нащекин понял, что он зашёл слишком далеко в своём стремлении ублажить поляков для вечного мира с Россией, и виновато склонил перед великим государем голову.

— Добро, Афанасий, — помягчел Алексей Михайлович. — Оставайся на трапезу, а после поедем смотреть моего нового кречета, я его ещё сам в лёте не зрил.

В Посольский приказ Ордин-Нащекин явился после посещения вместе с царём Потешного двора, где Алексей Михайлович показал ему свою соколиную охоту, которой думный дворянин никогда бы не смог заиметь из-за её немыслимой дороговизны и редкости ловчих птиц. Конечно, такой роскошной охоты не было ни у одного земного царя, но Афанасия Лаврентьевича скоро утомило обилие птиц, клекот хищников и позванивание серебряных колокольчиков на когтистых и косматых лапах, и он заметно заскучал, запозёвывал, и Алексей Михайлович милостиво отпустил его восвояси с тем, чтобы встретиться на утрене в Благовещенском соборе Кремля.

Дьяк Алмаз Иванов ещё не покинул Посольского приказа, в последние дни он стал задерживаться в своей комнате даже дольше, чем допоздна. И причина тому была известна: появление на Москве выдающегося умельца посольских дел Ордина-Нащекина встревожило Алмаза, поскольку могло стать угрозой его нынешнему служебному положению. За думным дворянином

было успешно заключенное со шведами Валиесарское перемирие, он отличался выдающимся красноречием, был боголюбив и нашёл в этом себе ближайшего брата во Христе — великого государя, который, по складу своего характера, нуждался в ежедневном собеседнике-утешителе, и мог вполне, чтобы всегда иметь друга при себе, поставить его во главе всех посольских дел.

Алмаз не испытывал к Ордин-Нащекину ни любви, ни ненависти, он просто полагал, что занимает своё место по праву совершённых им на дипломатическом поприще посольских дел, которые пошли на пользу России, и чувствовал себя достаточно твёрдо, чтобы ещё служить в полную силу своему государю и Отечеству. Помучившись сомнениями, дальновидный в решении чужих судеб и подслеповатый, когда дело касалось его собственной участи, Алмаз поджидал Ордин-Нащекина в своём приказе, чтобы попытаться проведать о намерениях Афанасия Лаврентьевича, а случится и поговорить с ним начистоту, ведь в отношениях между собой посольские люди, говаривал Ордин-Нащекин, должны жить по правде, чтобы не обмануть царя.

Оставаясь допоздна в приказе сам, думный дьяк не отпускал домой и Котошихина, чтобы он всегда был у него под рукой. Гришка не скучал и сидел в казённой комнате, вычитывая посольские бумаги прежних лет. Это занятие было интересно и полезно, за месяц, проведённый в подвале приказа, он так начитался, что мог по многим прежним посольским делам дать исчерпывающую справку. С особым вниманием Гришка читал бумаги, касающиеся европейских дел, и нашёл в них немало удивительного и необыкновенного. Русские послы с простодушием первооткрывателей в статейных списках повествовали великим государям о немецких странах, описывая их порядок управления, природу, обычаи и образ жизни европейцев, и во всех этих посольских россказнях те выглядели как люди, обогнавшие русских во всём, что касалось наук, ремесёл, мореходства, живописи, военного дела и прочих хитростей, но только в одном европейцы были, в глазах русских послов, безнадёжно ущербны — в вере, им оказалось ни по душе, ни по разуму божественное величие православия, и за это иноземцы были достойны великого сожаления и укора.

6

В пустом коридоре приказа раздался топот бегущего человека, дверь в комнату распахнулась, и сторож с задышливой хрипотцой возгласил:

— Приехал! Сейчас сходит с коня!

— Ступай! — досадливо поморщился Алмаз и, поднявшись с кресла, зажёг от горевшей свечи две других, и комната превратилась в просторные и высокие покои. Дьяк подошёл к полкам, на которых стояли десятка три книг, взял одну и, воздев на переносье очки, стал разглядывать её с самым заинтересованным видом.

— Челом, Алмаз Иванович! — раздался по-юношески звонкий голос думного дворянина. — Винюсь, что не смог раньше побывать в твоём приказе.

— Какой он мой, — укоризненно произнёс думный дьяк. — В приказе только моя службишка, приказ государев, и твоя в нём служба уже четвёртый раз в послах, многократно виднее моей. Я ведь просто докладчик посольских дел великому государю, на посольских съездах почти не бываю, в приказе таскаю подьячих за вихры, иной раз кого к скамейке велю привязать или батогами попотчевать — вот и вся моя власть. А сила у того, кто сердечно близок и дорог великому государю.

— Патриарх Никон был собинным другом царю, — внимательно глядя на Алмаза, сказал Ордин-Нащекин. — И нынче ведомо, что из этого вышло.

— Вестимо, что доброжелатели так часто стали кадить Никону, что и задымили в очах царя партиарший облик, — вздохнув, с сожалением вымолвил думный дьяк.

— Вот и ты, Алмаз Иванович, вздумал кадить своим похвальным славословием, чтобы зачадить меня, — весело произнёс Афанасий Лаврентьевич. — Ужели я в чём встал поперёк твоего пути? В чём твоё недовольство?

— Как можно на такое покуситься! — воскликнул Алмаз. — Всем ведомо, что великий государь с тобой держит совет. И потому каждое твоё слово может быть озвученным отражением его державной воли. Захочет царь видеть твою милость начальником Посольского приказа, то я буду рад служить великому государю под твоим началом, и вторым дьяком.

Взгляд Ордин-Нащекина посторожел, и он сухо вымолвил:

— О Посольском приказе у меня мечты нет. Сейчас важнее нет дела, как заключить на вечные часы мир с ляхами. Только о сем все думы великого государя. Сегодня он велел мне ехать великим послом в Польшу.

— А боярина Одоевского подхватишь в Смоленске?

— В сем посольстве я буду один. От родовитых товарищей только разноголосица и пря случаются, и великий государь меня пощадил.

— Великую на тебя надежду питаю, Афанасий Лаврентьевич! — сказал заметно обрадованный отъездом великого посла начальник Посольского приказа. — Я велел Котошихину подобрать для тебя бумаги по Поляновскому миру. Сейчас я его кликну, он уже больше месяца живёт ради твоего дела в казёнке.

— Пусть сидит там. Мне любопытно заглянуть в захоронку посольских тайн. Веди, Алмаз, показывай свои сокровища!

— Прости, Афанасий Лаврентьевич, ведь я, старый, забыл, что у меня есть полученная на днях от немецкого торгового человека грамотка для твоей милости, — смущённо произнёс думный дьяк и подал Ордин-Нащекину свиток, заключённый в кожаный футлярец.

— Что за подарок? — удивился думный дворянин и тут же изменился в лице, догадавшись, что это может быть весть о предательском Войке. — Разворачивай грамотку, Алмаз Иванович, и читай в полный голос.

— Удобно ли мне такое, — пробормотал думный дьяк и, натолкнувшись на строгий взгляд Ордин-Нащекина, вздохнул, вынул свиток из футлярца и глухим отчуждённым голосом вычитал покаянное послание сына-предателя к своему уязвлённому неслыханным бесчестием родителю.

— Спрячь письмо, — холодно произнёс Ордин-Нащекин, — и завтра же отдай его великому государю.

Алмаз положил грамоту Войки в ящик, запер его на ключ, и начальные посольские люди вышли из комнаты. В коридоре их ждал с приготовленным смольём пристав, который возжёг его от горевшей сальной плошки и, освещая путь, повёл думных дворянина и дьяка по коридору к входу в подвал, дверь которого им открыл сторож, вооружённый бердышем и широким ножом на тряпичном поясе.

— Гришка здесь? — вопросил Алмаз.

— А вон он из своей каморы высунулся, — указал сторож. — Помогает мне подсудных людишек стеречь.

Котошихин встретил думных людей поклоном, скоро поднялся с колен, зажёг ещё одну свечу и стал торопливо складывать в осиновый короб лежавшие на ящике столбцы.

— Показывай бумаги Поляновского мира, — сказал Алмаз. — Все ли ты собрал, что было?

— Все бумаги переворошил, — торопливо доложил Гришка. — Ни одной мимо не пропустил.

Он поставил ближе к свету осиновый короб, полный столбцов, завёрнутых в холст и кожу. Ордин-Нащекин взял один свиток, развернул и довольно хмыкнул:

— Сразу попалось как раз то, что нужно: список разногласий между нашими и польскими послами. Вот что, Григорий, ты составь опись этих бумаг, дьяк Алмаз и я её подпишем, чтобы не случилось какой пропажи.

— Сделай три описи, Гришка! — велел Алмаз. — Нам и себе. К утру поспеешь?

— Справлюсь, раз надо, — сказал Котошихин, довольный своей догадкой сделать опись всех нужных бумаг, не дожидаясь указаний дьяка. А выполнить с неё ещё два списка для Гришки было простым делом.

Ордин-Нащекин медленно обошёл ящики с бумагами, особенно заинтересовали его книги. Две из них, самую большую и самую малую, он просмотрел и, повернувшись к Алмазу, заметил:

— Не худо бы все бумаги переплести в книги, для лучшего их сбережения. Они всегда будут большим подспорьем посольской службе. Достойно удивление, что до нашего часа дошли грамоты стародавнего письма.

Алмаз это замечание, которое прозвучало как укор, оставил без внимания и велел Котошихину проводить их до выхода. Гришка взял свечу и пошёл впереди мимо камор, в которых находились узники. Приход начальных людей потревожил колодников, они приникли к узким продухам в дубовых дверях и пытались углядеть, кто явился в подвал, некоторые жалобились на свою участь, другие обреченно молчали, потеряв всякую надежду на спасение своих животов.

Сторож, загремев засовом и замком, открыл подвальную дверь и спросил Котошихина, когда думные уже ушли:

— Ты за ними пойдёшь или останешься?

— Останусь в последний раз.

— Стало быть, тебе завтра будет дадена воля, — оживился сторож. — Это брат не пустяк. Воля, она простора требует, а какой простор без вина?

— За счастье выпить не грех, — усмехнулся Гришка. — Да где в такой час вина сыщешь?

— Были бы деньги, — протянул грязную ладонь сторож. — А за вином дело не станет.

Котошихин справился о ночной цене хмельного зелья и снабдил сторожа деньгами, затем запер за ним дверь и пошёл в казёнку за сухарями, чтобы было чем закусить выпивку. Подвальные сидельцы угомонились, но не все, и когда Гришка возвращался, его окликнул тихий голос, принадлежащий явно немцу, который до сей поры сидел в каморе:

— Господин подьячий! Явите божескую милость к безвинному страдальцу.

Гришка взял свечу и подошёл к двери, в продухе торчала рыжая борода и лихорадочно вспыхивали глаза.

— Ты кто таков? — сказал Котошихин. — Что за вина на тебе?

— Вы меня, господин подьячий, не узнали, но и я вас не сразу угадал, — горячо зашептал немец. — Я — дядя Сельмы, в слободе вы искали дом Якова Блуме, и я послал с вами свою племянницу.

— Вон как! — радостно воскликнул Гришка. — И как она поживает?

— Откуда мне знать про это? — всхлипнул немец. — Я уже как месяц сижу в подвале, и моё дело никто не расследует, сижу здесь и всё.

— Как тебя зовут и что у тебя за дело? — вопросил Гришка, радуясь, что через дядю у него появится возможность протоптать тропку к сладчайшей в любовных ласках Сельме.

— Генрих Крузе — купец из Любека, я на Москве уже десять лет, веду дела с лучшими торговыми людьми, купцами гостиной сотни, дожил до седых волос, — купец всхлипнул, — и так промахнулся! Год назад продал десять пудов меди нечестному человеку, которого вскоре поставили целовальником денежного

двора. Его схватили с неправильными чеканами, за деланьем денег для себя, и я оказался здесь.

— Плохи твои дела, Генрих,— мрачно промолвил Котошихин.— Сейчас по всей Москве хватают верных голов и целовальников денежных дворов, рубят им руки и прибивают на стены домов.

— Но я худых денег не делал,— залепетал Краузе.— Господин подьячий, явите божескую милость, сходите к Сельме, она не ведает, что я здесь, скажите, чтобы она донесла о моей беде Якову Блуме, а то ведь я сгину в этой дыре безвестно и навсегда!

— Это точно,— согласился Котошихин.— Москва слезам не верит, у неё в чести только сила да деньги.

В дверь подвала забухал кулачищами явившийся с вином сторож.

— Добро, Генрих, я тебе помогу,— торопливо сказал Котошихин.— Но ты дай какой-нибудь знак, чтобы Сельма мне поверила.— Да не торопись! Я к тебе подойду.

Сторож был радостно возбуждён, и от него явственно потягивало хмельным душком. Гришка собрался его за это ругнуть, но спохватился: он мог крепко пригодиться своей помощью в деле, в которое, ещё его не начав, Котошихин увяз со всей головой. Гришка сейчас бы пренебрёг любым предостережением и запрещением, даже от своего соборного протопопа, не вязаться с немцами, поскольку уже погрузился в сладость воспоминаний о том восторге, который он испытал в амбаре в объятиях Сельмы.

— Здоров же ты на дармовщинку вино лопать! — сказал Котошихин, обтирая глиняную чарку сторожа полой кафтана.

— Я ведь не для своего удовольствия вина испил,— нагло заявил сторож.— Что ты сказал бы, господин подьячий, если вместо настоящего вина я принёс бы хмельные ополоски? Вот я и снял пробу с кувшина, который при мне и наполнил корчмарь.

В намерениях Котошихина было крепко подпоить сторожа и он, не жалея вина, налил ему чарку всклень. Служивый опрокинул её в своё хайло, заел сухарем и стал опять коситься на кувшин.

— Что, так и не залил свою каменку?— ухмыльнулся Гришка.

— Ещё бы столько, как было,— жалобно возгласил сторож.— Тогда бы стало в самый раз.

— Ладно, уж, обожрись,— с наигранным сожалением вздохнул Гришка и наполнил чарку вровень с краями.

Через малое время сторож крепко запьянел, стал мотаться из стороны в сторону, напевая песню про берёзу, внезапно схватил кувшин, в котором ещё бултыхалось вино, обливая бороду, допил его до конца и осел на пороге своего чулана. Котошихин легонько пнул его в ногу: опьянение лишило сторожа чувств, и он даже не взмыкнул.

Генрих Крузе, трепеща от проблеска появившейся у него надежды, ждал подьячего, стоя близ продуха в двери своей каморы.

— Давай знак для Сельмы,— сказал Котошихин.— Сторож опьянел и спит без задних ног.

— Тогда мы сделаем по-другому,— подумав, предложил Крузе.— Ночью по Москве идти опасно, принеси мне свечу и письменные снасти, я напишу письмо Якову Блуме, объясню ему в каком нахожусь положении и подскажу, как надлежит поступить, чтобы вызволить меня отсюда.

— Добро,— сказал Котошихин.— По Москве сейчас кругом рогатки, проход через Яузу на Кукуй закрыт. Я пойду в первом часу дня.

Гришка принёс узнику письменные снасти и зажжённую свечу, сам принялся делать списки для Ордин-Нащекина. Уснул он не сразу, долго ворочался на старой овчине, постланной на ящиках с посольскими книгами, мучаясь вожделением, Сельма уже вошла в его память вспыхнувшим, как порох, воспоминанием, и сон был похож на бред больного горячкой.

Первым звуком, донёсшимся до Котошихина, был звон разбившегося кувшина, это очнувшийся сторож спросонья схватил его, присосался к глиняному краю и отшвырнул в сторону. Гришка вскочил со своего лежбища и кинулся к каморе Крузе. Немец сунул ему стиснутую в комок до размера грецкого ореха бумагу, которую Гришка спрятал в шапку и пошёл на выход из подвала.

— Разве уже утро? — захлопал глазами сторож.

— А то нет,— сказал Гришка.— Весь крещёный мир уже на молитву встал, а ты валяешься поперёк чулана.

— Я бы давно поднялся, господин подьячий, на молитву, так вот беда, молиться нечем, всё вчера растратил.

Сторож мог ему пригодиться и, дойдя до двери из подвала, Котошихин до слёз обрадовал служивого, бросив ему на похмелье две деньги.

— Ты не пей допьяна, — строго сказал Котошихин. — Я ухожу не совсем, будут меня спрашивать, объявляй, что скоро буду.

Сквозь толстые стены подвала донеслись глухие удары боевых часов на Фроловской башне.

Сторож отомкнул дверь, и Котошихин по коридору, где горела только одна свеча, дошёл до комнаты дьяка Алмаза и положил ему на стол два списка бумаг по Поляновскому миру. Сторож возле дверей протирал заспанные глаза, но дверь приказа была открыта. Гришка вышел на крыльцо и остановился, пережидая, пока из хором пройдут на утреню в Благовещенский собор великий государь, царевич Алексей, Фёдор Ртищев, тесть царя Иван Милославский, окольничий Богдан Хитрово и думный дворянин Ордин-Нащекин.

Москва была уже не пуста, люди покидали свои жилища, чтобы успеть занять место на торге, служилый люд поспешал, кто в приказы, кто уже из приказов, в столице начиналась толчея большого города, где все находились в беспрестанном движении, поскольку каждый человек здесь, даже сам царь, зависел от других людей, здесь один понукал другого, здесь кто-то вёз поклажу, а кто-то норовил отделить от неё в свою пользу немалый кус, и всё это человеческое мельтешение называлось жизнью, которую люди сотворили себе сами, а теперь они страдали и мучались, искали виновных в своих несчастьях и находили их в тех, кого сами вознесли над собой.

Гришка чувствовал себя в толпе уверенно, он пересёк Красную площадь и поспешил в сторону Яузы, горя одним желанием — застать Сельму дома, при мысли, что она провела ночь в гостях, голова у него начинала кружиться и, чтобы опамятоваться, он срывал с карнизов ледяные сосульки и, хрустя, жевал их, охлаждая своё разгорячённое нутро. Гришка шёл скоро, и Новая слобода уже стала обозначиваться островерхими крышами домов в утренних весенних сумерках, с Покровских ворот с хриплым ором снялась стая ворон и полетела по какой-то своей вороньей надобности в сторону Москвы-реки, на лютеранской кирхе пробило второй час дня. На заставе запыхавшегося Котошихина караульный немец мельком оглядел и разрешающе махнул рукой, угадав в прохожем служилого человека.

В окнах посверкивали огни, а в доме Генриха Крузе ставни были закрыты, и со двора не доносилось даже шороха. Гришка, не раздумывая, стал тарабанить ногами и руками в ворота, и скоро его усилия увенчались успехом: одна створка ворот приоткрылась, и высунулся старый бритый немец, который на скверном русском языке осведомился, что ищет молодой господин?

— Меня прислал господин Крузе с письмом к своей племяннице Сельме, — сдерживая голос, объяснил Гришка.

Немец задвинул за собой створку ворот и ушёл в дом. Через малое время он вернулся и открыл калитку.

— Добрые люди, — сказал немец, — стучат в калитку и входят в дом через неё, а не ломятся в ворота. Ступай по крыльцу в дом, только соскреби грязь с сапог.

Котошихин старательно очистил подошвы сапог, поднялся на крыльцо и вошёл в коридор, где его встретила служанка и провела в пустую комнату. Девка присела, растопырив в разные стороны руки, и удалилась. Гришка потоптался на месте, поозирался, Сельмой здесь и не пахло, он стал подумывать, в тот ли дом он забрёл, подошёл к двери, толкнул её и попал на этот раз туда, куда так отчаянно стремился. Служанка несла Сельме, которая едва лишь оторвала голову от подушки, платье для одевания. Гришку будто ожгло варом, он вытолкнул девку за дверь, накинул запорный крюк и, не снимая сапог, кинулся к Сельме, которая едва только успела охнуть, как оказалась в жадных объятьях потерявшего голову подьячего.

Старый немец прислушался к звукам жаркой схватки, доносившейся из комнаты Сельмы, неодобрительно поморщился и вышел из дома в сад, где скоро достиг калитки, открывающей доступ во владения Якова Блуме. Хозяин был у себя, он находился в кабинете и баловал себя кофе со сливками. Известие о вторжении Котошихина в дом Крузе и последовавших затем событиях он выслушал с нескрываемым интересом, и отблагодарил старого немца доброй понюшкой табака, которым гость набил свои широкие и поместительные ноздри, и тотчас начал сладко морщиться и сучить ногами, испытывая неописуемые наслаждения перед тем, как разразиться оглушительным чихом.

— Не будем спешить, — рассудительно молвил Блуме. — Гришка для Сельмы не опасен, а он явился неспроста, у него есть для меня важная новость.

— Я, господин Блуме, забочусь не о сохранности Сельмы, — сказал старый немец. — Она девушка осторожная и глупостей не позволит. Но как бы толки о покушении московита на дом господина Крузе не достигли ушей майора Бема: он ведь с Сельмой почти помолвлен.

— А что майор Бем? — усмехнулся Блуме. — Если он станет обидчив и привередлив, то есть полковник Коль. А чем плох подполковник Шенвиц? В конце концов, есть майор Глюк, который после получения известия о кончине своей супруги в Дрездене, стал поглядывать на Сельму с вполне понятным интересом.

— Вы правы, господин Блуме, — сказал старый немец. — Но я живу на Москве десять лет, здешние нравы знаю и боюсь, что если московиту что-нибудь придётся не по вкусу, то он всё может сокрушить, даже то, что ему дорого.

— Что ж, мне ваша осторожность не кажется излишней. Московиты — опасные существа, они несдержанны в любви и незрячи в гневе, и с ними надо держать ухо востро. Поспешим в дом господина Крузе. Надеюсь, Сельма уже остудила своего гостя до такого состояния, что с ним стало возможно говорить.

В дом Крузе они проникли тем же путём, каким явился старый немец.

— У вас оружие при себе? — сказал он, остановившись перед входной дверью.

— Зачем оно мне? — удивился Блуме. — Насколько я понял, у Сельмы находится господин Котошихин, этот человек для неё почти свой и опасаться его не стоит.

Своим приходом они спугнули служанку, которая, прилипнув к двери, подглядывала и подслушивала за всем, что происходит в соседней комнате. И хотя она проделывала всё это из самых лучших побуждений, чтобы немедленно прийти на помощь хозяйке, появление свидетелей её смутило. Она попыталась покинуть комнату, но Яков Блуме ухватил её за руку и велел молчать и не взвизгивать.

Опытный Блуме по шуму, исходившему из комнаты, догадался, что там вот-вот воцарится затишье и, дождавшись его, постучал в дверь. Через некоторое время на пороге появился Гришка, и старый немец от неожиданности чуть не прикусил язык: на подьячем был персианский халат, который майор Бем привез из Астрахани, и весьма им гордился, поскольку

ни у кого в Новой Слободе не было столь роскошного одеяния для домашних покоев.

— А, это вы, господин Блуме, — лениво произнёс Котошихин, почёсывая мохнатую грудь. — Могли бы явиться и позже. Дело, конечно, спешное, но пройти к Генриху Крузе будет возможно лишь в темноте.

— Где он отыскался? — вопросили в один голос Блуме и старый немец.

— Сидит на привязи в подвале моего приказа, — сказал Гришка. — Вот есть от него письмо Сельме, но она читать не умеет и сказала отдать его вам.

Блуме разобрал бумажный комок, разгладил лист на своём колене и, нацепив на нос очки, быстро зашевелил, не произнося слов, толстыми губами.

— Большая беда явилась в этот дом, — обречённо вымолвил он, снимая очки. — Генрих сидит под следствием о порче денег. Просит, чтобы я пришёл к нему на совет.

— Ладно, — сказал Гришка, — вы тут толкуйте, как выручить купца, а меня заждалась Сельма.

— Когда отправимся в приказ?

— Я же сказал: когда стемнеет, — буркнул Гришка и, затворив за собой дверь, звякнул запорным крюком.

Блуме подошёл к окну, ещё раз вдумчиво прочитал письмо Крузе и погрузился в задумчивость. Генрих из-за своей неуемной жадности попал в русскую судебную западню, из коей, даже имея серебро и золото, освободиться было почти невозможно. Судебная система московитов отличалась от немецкой судебной машины беспорядочной непредсказуемостью своих решений. Конечно, золото решало всё, но не всегда и не везде. Сбой случался, когда высокородный и высокочтимый мздоимец, по прихоти великого государя, лишался своего державного влияния, тогда лестница власти, построенная им, рушилась, и под кнут и топор шли и те, кто брал посулы, и те, кто их давал, и сие почиталось за торжество справедливости.

Нечто подобное наблюдалось близ царя и сейчас: опала настигла патриарха Никона, тесть великого государя боярин Милославский был у своего зятя в немилости, и порой получал от него пинки и затрещины, и к нему с посулом соваться было бессмысленно и опасно. Выручить Крузе мог только случай, но Генрих был истовым лютеранином и в чудо не верил, потому

и вопил из своего узилища, чтобы спасали его, не жалея денег, а если придётся просить о помиловании царя, то обещать ему от немецкой купеческой дружины двести шведских мушкетов, коих достанет, чтобы вооружить роту пехотинцев.

«Генрих сидит в подвале уже месяц, а разума не утратил, — порадовался за соотечественника Блуме. — Однако, размахивать кошелем с деньгами перед очами царя не лучший способ спастись. Московиты, узнав о настоящем богатстве Крузе, разорят его в дым и примутся за других кукуйских негоциантов».

Убедившись, что от Котошихина, занятого любовными игрищами с Сельмой, он не услышит сейчас ничего полезного, Блуме покинул дом Крузе и вернулся туда, когда на небе прорезался тонкий и прозрачный серпик месяца и стали повизгивать комары. Гришку он застал в гостевой комнате, воссевшим на хозяйском кресле. Он только что отобедал и стал сыт со всех сторон, — и со стороны брюха и со стороны причинного места. Сельма была бескорыстно щедра и на яства и на горячие женские ласки, от которых подьячего слегка покачивало и знобило.

Блуме ласково потрепал Гришку по плечу и осведомился, не пора ли им идти в приказ на свидание с Генрихом Крузе, который истомился ждать их в узилище, чтобы его утешить и приободрить. Котошихину явно не хотелось покидать Сельму, да и та была не против снова начать играться со своим обожателем, но Блуме был настойчив, и вскоре они сидели в карете, которую охраняли четверо крепких вооружённых немцев, и мчались, насколько это позволяла сделать бревновая мостовая, по направлению к Кремлю.

Карету они оставили у Фроловских ворот и пешими достигли крыльца Посольского приказа. Гришка покинул Блуме и, забежав в приказ, выяснил, что никто его не искал, дьяк Алмаз на месте, слегка нетрезв и бьётся в шахматы с дьяком Дохтуровым, и перед ними стоит кувшин романеи, а в большом серебряном блюде истекают сахарным соком ломти медовой дыни.

За годы житья в Москве Блуме хорошо усвоил вкусы служилых людей и всегда держал под рукой вино, с помощью которого с пользой для себя решал многие дела. Не отступил от своего правила он и сегодня: Котошихин поманил его за собой к двери подвала, и немец сунул ему замотанный в холст кувшин, в котором плескалось и булькало.

— Челом, господин подьячий! — осклабился сторож и тут же строго запоглядывал на немца. — Что за человек? Таких в приказе я не знаю.

— А тебе его и не зачем знать, — потряс перед ним кувшином Гришка. — Пусть немец с немцем перетолкуют, а ты угостись.

— За «угостись» пусть другой рискует спиной, без полтины к немцу не допущу!

— Вот тебе рубль, — сказал Блуме. — Но ты дай свечу, а то в потёмках я Генриха не разгляжу.

— Ещё как узнаешь! — хохотнул сторож. — Стойте здесь, на свету, а немца я приведу.

Неизвестно, какие страхи взбрели в голову Крузе, но он не захотел выходить из каморы, и сторожу пришлось его крепко встряхнуть, чтобы он стал послушным. В тычки сторож подогнал его к своему чулану, и там немцы упали друг другу в объятия.

— Поторопитесь, неровен час, кто-нибудь сюда заглянет, — предупредил их Гришка. — Толкуйте сначала о деле, а поплачете на росстани.

— Я прочитал твоё письмо, Генрих, и не советую тебе разбрасывать деньги: возьмут и обманут.

— Что же тогда, Яков, делать? — затосковал Крузе. — Я не хочу, чтобы мне отрубили руку и прибили её к денежному двору. Пусть возьмут всё, только не калечат.

Немцы стали искать способ, как вымолить прощенье у царя, Гришка их слушал и вдруг сказал:

— Я знаю, как тебе, Генрих, спастись от казни.

— Говори, что придумал! — потребовал Блуме.

— Так сразу и скажи, — отмахнулся Гришка. — Я тоже хочу получить своё.

— Я тебя озолочу! — воскликнул Крузе. — Только не молчи.

— Хочу иметь свободный доступ к Сельме, — заявил Котошихин.

— Но она почти помолвлена с майором Бемом, — сказал Крузе. — А он драчун и рубака. Может, подойдёт другая девка, конечно, из немок?

— Другой не надо! — озлился подьячий. — Или Сельма, или жди приказного суда.

— Послушай, Генрих, — неуверенно произнёс Блуме. — Майор вернётся не раньше Рождества, так что…

— Это выход, — поколебавшись, сказал Крузе. — Ты будешь иметь доступ к Сельме. А теперь говори, что надумал.

— Я знаю, что великий государь крепко уязвлён, — зашептал, притиснувшись к немцам, Котошихин. — И причиной тому печатные тетради, в коих помещена хула на великого государя. И он не раз говорил, что безмерно наградит того, кто уймёт борзописца и клеветника, сиречь автора памфлетов, который прячется в Стокгольме и оттуда рассылает похабные листы на всю Европу…

Едва Гришка умолк, как немцы вступили между собой в скорострельную словесную перепалку. О чём они говорили, Котошихин, как ни вслушивался, понять не смог, но было ясно, что они обсуждают свои возможности утишить обиду великого государя и свернуть шею стокгольмскому борзописцу, наконец, немцы угомонились, и Блуме захотел узнать, каким путём донести до великого государя о своём желании оказать ему услугу, а в ответ получить прощение Генриха Крузе.

— Этот путь здесь, — сказал Гришка и указал перстом на потолок подвала. — Через думного дьяка Алмаза Иванова.

7

Решительная победа в шахматной сече над известным всей Москве умельцем сей замысловатой игры дьяком Дохтуровым вселила в сердце Алмаза Иванова столь великую радость, что он, вопреки обыкновению, не погрозил Гришке пальцем за неявку в приказ, а только вздохнул:

— Беда с тобой, Котошихин — Котышихин! Хотя, гляжу, ты не пьян, может, в чём другом с привязи сорвался?.. Ордин-Нащекин списком остался доволен, хвалил тебя, но сказал, и ты, Гришка, вникни, что Бог шельму метит именем. Ты кто? Котошихин, от слова «котышить», а в тех местах, откуда думный дворянин родом, оно означает — щекотать… Ну, и чем ты себя щекотал?

— Прохватило меня, — не поднимая головы, забормотал Гришка. — Думаю, от перекисших огурцов, утром пожадничал, как из приказа явился…

— Ну и сидел бы в отхожем месте, усмехнулся дьяк. — По какому делу сюда забрёл, на ночь глядя?

— Не знаю, как сказать, но ко мне явился торговый немец Яков Блуме и поведал такое, что иначе как «словом и делом» государевым сие назвать нельзя.

— Тебе, Гришка, часом голову тоже не прохватило? — воззрился на подьячего Алмаз.

— Я всё, как есть, так всё и довожу до твоей милости, — не смутился Котошихин. — Сей немец стоит за твоей дверью, изволь его выслушать, если охота.

— А куда мне теперь, после твоих слов от него деваться? — проворчал думный дьяк. — Но гляди, Гришка, коли откроется, что ты навязываешь на мою голову свою блажь, то быть тебе крепко биту. Веди сюда этого торгового немца, как то бишь его кличут?

— Яков Блуме, — весело вымолвил Гришка, и скоро кукуйский негоциант оказался перед начальником Посольского приказа, который на Москве опекал всех иноземцев, но в первую очередь людей посольских и торговых.

Немец пообтёрся на Москве и знал, как себя держать перед думным дьяком. Он, не спеша, вошёл в комнату, снял шапку, помахал ею на свой немецкий манер и водрузил её на коротко подстриженную голову. Дьяк Алмаз не соизволил поприветствовать Блуме даже шевелением своих кустистых бровей, а только ощупал немца с головы до ног пронзительным взглядом и осведомился у Котошихина:

— Он что, явился сюда молчать?

— Говори, Яков! — заторопился Гришка. — Объявляй своё дело.

Блуме такой холодный прием не смутил, он уверенным голосом изложил своё предложение: освободить тюремного сидельца Генриха Крузе в обмен на услугу, которую окажут великому государю благодарные немцы.

— Так! — откинулся на спинку кресла Алмаз. — Ты, Блуме, не иноземный посол, чтобы крутить вокруг да около. Знай, что мой приказ не токмо посольский, но и судейский, а дело твоего Крузе состоит в порче денег. Со своими ворами мы расправляемся скоро и беспощадно, а с немцем решено повременить, но эта отсрочка не избавит его от казни. Говоришь, что для Крузе есть другой выход. Объяви тогда, что ты надумал.

— Мы, немцы, стоим за строгий порядок! — горячо вымолвил Блуме. — Каждый, кто преступил закон, должен быть наказан.

Никто не утверждает, что на Крузе нет вины, да и сам он её признает и слёзно раскаивается. Генрих нанёс ущерб государевой казне и готов его возместить.

— Стало быть, он решил откупиться, — нахмурился Алмаз. — А он не подумал, что его казнят, а все зажитки отпишут в казну.

— О, я знаю этот справедливый закон! — горячо воскликнул Блуме. — Но Крузе в силах возместить ущерб, который нанесён великому государю иноземцем, до которого трудно дотянуться из Москвы.

— Говори внятно! — потребовал Алмаз. — Какой-такой ты проведал ущерб царю, что за иноземец, замахнувшийся на великого государя?

— Великий государь, — негромко произнёс, приблизившись к дьяку, Блуме, — терпит поношение от иноземного борзописца и печатных дел умельца Юнгеманса, что разносит хулу на великого государя по всей Европе. Коли будет царю угодно, мы можем этому воспрепятствовать и заставить государева недоброжелателя замолчать.

Поначалу дьяк Алмаз хотел грозно вопросить Блуме, откуда тому ведомо о памфлетах, и не его ли кукуйские сородичи привозят эти грязные книжки на Москву, но скоро понял, что гнев являть ещё рано и надо расследовать это дело скрупулёзно.

— Вы что, собрались этому борзописцу свернуть шею или решили утопить его в поганой яме? — вопросил Алмаз, зорко вглядываясь в немца.

— В Европе давно столь дикие повадки вышли из обычая, и есть более гуманные способы внушить Юнгемансу, что он занимается недостойным делом.

— Стало быть, на Кукуе у вас завелся чернокнижник, который может дотянуться до Стокгольма и своим ведовским словом может ослепить борзописца, чтобы он всегда ходил наощупь.

— Нам такие страсти ни к чему, — спокойно пропустив насмешку мимо ушей, сказал Блуме. — Крузе вёл торговые дела с Юнгемансом и знает, что он глуп, и его легко можно пустить по миру.

— Это каким образом? — сказал Алмаз. — Юнгемансу даёт деньги на памфлеты король.

— Шведский король не станет скупать векселя печатника, когда они все разом будут предоставлены к оплате, слишком

велика окажется сумма и против этой траты возмутится риксдаг.

Дьяк не торопился произнести свой приговор на предложение Блуме, и тот занервничал:

— Банкротство — пострашнее ножа и яда, оно ведёт к позорной огласке, а в Швеции после такого не живут.

— А что же они тогда делают? — усмехнулся дьяк. — Ужели на себя накладывают руки?

— Этого требует совершить купеческая честь, — сурово промолвил Блуме.

— Ты это, Гришка, слышал? — сказал Алмаз. — Стало быть, все шведы скопом своим презрением убивают человека? Радуйся, Гришка, на Неметчине почитают нас за злодеев, но здесь так злостно людей не казнят. Топором, вервью, кнутом — этим пожаловать могут, но чтобы запрезирать человека до смерти, такого у русских в обычае нет.

Думный дьяк прошёлся по комнате, остановился возле шахматной доски, взял фигуру коня, поразглядывал и положил его плашмя на доску.

— Ты, Блуме, не глуп, и твоя задумка ходом коня уложить борзописца наповал, чтобы он даже не трепыхнулся, заслуживает рассмотрения. Я доведу наш разговор до кого следует, но при любом раскладе Крузе будет сидеть в подвале до государева решения. Позволяю его навещать только тебе. Ты, Гришка, завтра с утра явись ко мне для разговора. И не ищи причину, чтобы увильнуть.

Блуме и Котошихин, облегченно вздыхая, стали выпячиваться из комнаты, а думный дьяк уже звал на шахматную расправу Дохтурова, заливавшего свой разгром чаркой вина двойной выделки в своей комнате.

Сторож в подвале встретил Котошина безмолвным протягиванием грязной ладони за посулом, но Гришка отпихнул его в сторону.

— Ты над немцем уже не хозяин. Дьяк разрешил к нему полный доступ купцу Блуме. Живо подай огонь!

Генрих Крузе, узнав, что о его предложении будет доложено царю, воспылал такой безудержной радостью, что даже расплакался, и так горячо стал хвалить всё русское, что Гришка заподозрил немца в желании перейти в православие. «Это сильно бы помогло немцу выжить, — подумал Котошихин. —

Жизнь у него висит на такой слабой ниточке, что того гляди оборвётся». Но Крузе об измене лютеранству не помышлял, и московитов нахваливал, надеясь, что его слова дойдут до ушей сильных людей, и те благосклонно глянут на его участь.

Яков Блуме тверже стоял на земле ногами, чем его соотечественник, и вернул воспылавшего надеждой Крузе к суровой действительности. Они, уже не прячась от Гришки, которого, в пусть самой малой степени, но уже зачислили в свои соратники, стали говорить о том, как скорее и жестче извести борзописца и печатника Юнгеманса и тем удовольствовать гнев великого государя.

Гришка слушал горячие речи немцев, возжигавших друг друга надеждами на скорое освобождение Крузе, и был весьма удивлён их простотой. Подьячий, хотя и был склонен к совершению неразумных поступков, но временами рассуждал здраво. Ещё недавно он был уверен, что предложение немцев извести Юнгеманса получит одобрение великого государя, но сейчас пребывал на сей счёт в крепком сомнении.

— Погодите радоваться! — остудил он взвеселившихся купцов. — Как бы вам не спугнуть своё везение. На Москве спешить не любят, и как бы ваша задумка не потерялась близ царских сеней, не дойдя до великого государя. Но бывает чудо, и о вас будет царю доложено, и что он на это скажет? Будет ли доволен вашей задумкой?

Вымолвил Котошихин остерегательные слова, и Блуме с Крузе будто холодком обдуло, они враз поскучнели, даже приуныли, и стали прощаться, а Генрих догадался, что Гришка ему позарез в его беде нужен, стал к нему ласкаться и просить о помощи.

— Завтра меня ждёт думный дьяк, — сказал Котошихин. — Догадываюсь, что он станет говорить о вашем деле.

— Нам надо знать, что дьяк умыслил, — сказал Блуме. — Эта услуга будет вознаграждена.

— Добро, — промолвил Гришка, думая, что несколько рублей впридачу к Сельме ему не помешают. — Я не забуду, что мне скажет Алмаз.

Гришка не был избалован вниманием людей, тем паче такого богатого немца, как Блуме, который вдруг проникся почтением к его подьяческой особе и уступил ему право первым войти в карету, что вызвало в Котошихине ответную волну благодарности и не совсем трезвое размышление о том, что среди

русских вряд ли найдётся такой человек, кто по своей доброте и бескорыстности сравнился бы с сим иноземным торговцем. Благорасположение Блуме простёрлось до устройства вечеринки, правда, без шумства и попоища, но рядом с Гришкой, теша его своими пышностями, находилась Сельма, душно благоухая иноземной сластью медовых притираний, терпких духов и помад. Но подьячему было мало присутствовать рядом с ней, и хотелось чего-то более увлекательного, и он начал из-за стола теснить её помалу к двери комнаты, в которую они, воспользовавшись тем, что Блуме отвернулся, благополучно удалились.

Котошихин проснулся на белых простынях в мягкой постели и, вспомнив, что его ждёт думный дьяк, заторопился одеваться. Сельма спала, разметавшись по широкому лежбищу, и Гришка, стараясь не скрипнуть сапогами, вышел на крыльцо, где его поджидал старый немец.

— Мне велено, — сказал он, сняв шапку, — отвезти тебя к приказу.

То покачиваясь на мягких земляных ухабах, то подпрыгивая на бревновой мостовой Котошихин ехал в немецкой карете, поглядывая через небольшое оконце на утреннюю Москву. Последние два дня привнесли в него столь много нового, необычного, что поколебали тот привычный порядок, в котором он жил. Но Гришка ещё не догадывался, что после Сельмы, немцев, самого Кукуя, прежней жизнью ему жить будет скучно, поскольку он узнал, что можно жить и по-другому, никогда не ощущая тоскливой тесноты в душе от докучных обязанностей перед семьёй и службой.

Жаль, что он не мог показать себя проходившему мимо люду, а то бы выехал и на Красную площадь, но осторожность заставила его покинуть карету в каком-то закоулке Китай-города и, пряча лицо, пробежать, петляя, как заяц, между домов, прежде чем пойти прямой дорогой. К счастью для него, Гришка не опаздывал, рядом с ним шли служилые люди, которые ему были знакомы, но разговаривать и веселиться охоты ни у кого не было, всем им предстояло окунуться в душное и чадное от горевших весь день сальных свечей, нутро изб своих приказов, без всякой надежды хоть в чем-то изменить свою судьбу.

Вчерашнее шахматное расслабление никак не отразилось на думном дьяке, он был деловит, собран, окинув Котошихина острым взором, равнодушно осведомился:

— Ты где с немцем сошёлся?

Вопрос был пугающе неожиданным, у Гришки имелся всего лишь миг, чтобы извернуться с ответом, и он не оплошал:

— На посольском дворе, когда последний раз там жили шведские послы.

— И сколь вчера он тебе в руку положил?

— Рубль, — соврал Гришка.

— Мало! — рявкнул Алмаз. — Стало быть, за встречу со мной дают всего рубль?

— Я не торговался, — вякнул подьячий.

— И правильно, — неожиданно мягко произнёс думный дьяк. — В таком деле торговаться не след. Но ты, Гришка, остерегись следующий раз брать посул. Это в других приказах посул не грех, там даже говорят, что посул — большая помощь, чтобы приказы лучше работали, не волокитили дела, не мучили челобитчиков. Ты скажешь, что тогда в приказах не будет правды, а они тебе ответят, что правды нет нигде, разве что на том свете. Великий государь положил нашему приказу жалованные оклады вдвое больше, чем в других приказах, несколько раз в год даются деньги на хлеб, наградные за добрую работу. Разве этого тебе мало?

— Я премного доволен, — пролепетал Котошихин.

— Посольский приказ — это не токмо око государево, но и первейший оберегатель государевой чести. И ты, Гришка, к обережению причастен самым прямым путём, как средний подьячий, допущённый до тайных посольских дел, а ты за рубль оказал немцу услугу, поспособствовал ему донести такое, с чем я теперь не знаю, как совладать.

— Немец явился к нам с добром, — робко сказал Котошихин. — Речь шла о печали великого государя, вот я и привёл его сюда.

— С добром, говоришь? — усмехнулся дьяк. — А я вот не знаю ни одного немца, который бы явился в Россию с добром. Можешь мне поверить на слово, я много больше твоего немцев перевидал и на посольских съездах, и здесь, на Посольском дворе. У немцев, Григорий, поперёд всего стоит своя выгода, лютеране не только от таких простофиль, как русские, ищут выгоду, но даже у своего Бога: «мы, дескать, тебе молитвы, а ты нам удачу, чтобы облапошить московитов». Но ты ведь думаешь другое, что не худо бы у немцев перенять их воинские, корабельные, промысловые хитрости, ведь так?

— Хвалят новые полки, — сказал Котошихин. — А их немцы строят.

— У государя есть стрелецкие приказы, не хуже этих полков. Но не твоего ума это дело, ты с этими немцами не промахнись сам.

— Я ведь к ним ни при чём! — испугался Котошихин.

— А теперь при чём, — властно промолвил Алмаз. — Дело о государевой чести — сугубо тайное. Раз ты о нём знаешь, то будешь при немцах приглядывать за ними, дабы они не учинили какого-нибудь вреда под видом добра, с коим ко мне ты их без спроса приволок. Пусть Блуме толкует с Крузе под твоим доглядом. Скажи им, что я скоро, может даже сегодня, доведу об их задумке великому государю. Разрешаю припугнуть их батогами, коли они станут разглашать государеву тайну. И сам заруби на носу, что сейчас ты в ответе за всё, что связано с этим делом.

— А моя письменная работа? — сказал Котошихин. — Кто её станет делать?

— Ты и будешь, сколько сможешь. А дьякам скажи, чтобы тебя не держали, когда тебе надо идти. А ты сам не беги делать то, что тебе укажут немцы. Всё, даже самое мелкое, доводи до меня. И не наберись от них немецкой прелести. Уже не один сгинул, подавившись ихней сладостью.

— Стало быть, и за стол с ними не садиться?

— Садись, да памяти не пропивай. Слушай только то, что о деле, а другое пропускай мимо ушей. И ещё одно. Подьячий Никифоров из приказа Тайных дел тебе ведом? Остерегись при нём распускать язык. Он поставлен от великого государя присматривать за посольскими делами и будет знать о немцах и о тебе, и посему для тебя опасен.

— Он не так давно странными словами меня смущал, — признался Котошихин.

— Тайные люди для того и живут, чтобы смущать служилых людей. Авось, кто и клюнет на их приманку. С ними рядом всегда кнут, дыба и палач. А теперь ступай и помни, что тебе сказано.

Сегодня был день заседания Ближней думы, и Алмаз, взяв государственные бумаги, явился на совет великого государя со своими думными людьми. Разбор дел занял много времени, и наедине с Алексеем Михайловичем думный дьяк смог остаться, когда пробило первый час ночи. Великий государь выглядел

усталым и озабоченным, и было отчего: ляхи натравили на южные уезды крымских татар, а в русскую Малороссию вторглись турки. К польскому королю в Краков с предложением о мире спешно отправился великий посол Ордин-Нащекин, и сейчас все думы Алексея Михайловича были о том, удастся ли думному дворянину найти путём переговоров выходы из тягчайшего положения, в котором из-за предательства казацких старшин и бездарности русских военачальников оказалось русское государство.

— Что за новости, Алмаз, ты приберёг для меня на сон грядущий? — спросил Алексей Михайлович.

— Я в смущении, великий государь,— поклонился думный дьяк,— как изложить предложение, с коим ко мне вчера обратился иноземец Яков Блуме.

— Что сей немец такого напридумывал? — в глазах царя пробудился интерес.— Любопытно, чем он смог смутить моего бывалого думного дьяка?

— Блуме предложил извести борзописца и печатника, что разбрасывает из Стокгольма похабные памфлеты, в коих чернит твоё, великий государь, царское величество.

— Какое немцу дело до обережения государевой чести? — после некоторого молчания вопросил царь.— И как он думает наказать борзописца и печатника? Подстережёт его тёмной ночью и размозжит голову кистенём? Или насыплет ему в питье отравы?

— Он мне поведал, что разделается с ним по-своему, по-немецки: изнищит его, скупив долги, а после этого борзописцу останется лишь наложить на себя руки.

— А что ему надо от меня? — сказал, помрачнев, великий государь.— Не из любви же ко мне Блуме решается на душегубство?

— Он просит, великий государь, освободить от казни торгового немца Генриха Крузе, причастного к порче денег.

— Каким образом он причастен к воровству?

— Продал целовальнику денежного двора десять пудов шведской меди.

— Вот беда,— огорченно промолвил Алексей Михайлович.— Разве у иноземцев нет воли скупать меха, рыбий зуб, пеньку, сало и наживать на каждом ефимке не меньше пяти? Уже и портить монету взялись.

— На розыске Генрих Крузе показал, что продал медь по неведению,— доложил Алмаз.— Но верить в это сомнительно: немца не пытали.

— А вот этого и не надо было делать,— сказал Алексей Михайлович.— Меня борзописец уже выставил на обозрение перед всей Европой поджигателем храма, как его, то бишь, звали?

— Герострат, великий государь. Ветхий грек, сжёг языческий храм.

— Вот и мне хватит один раз побывать Геростратом,— сказал царь.— Хотя льщу себя надеждой, что не только дурь, учинённая шведским борзописцем, будет любопытна для наших потомков, но и строительство державы. А теперь скажи, Алмаз, с руки ли мне, великому государю, идти подручником в душегубстве к Якову Блуме, пусть он даже немец, а я природный и, стало быть, глупый русак?

— Что повелишь сказать немцу Блуме? — сказал Алмаз, одобривший в душе решение Алексея Михайловича.

— Отпусти с миром. Лучше и праведней я его сделать не в силах. Пусть живёт таким, какой есть.

— Надо как-то решать и с Генрихом Крузе,— осторожно напомнил Алмаз.— Немцы спрашивают о его участи. Да и Блуме не сам удумал изнищить борзописца, а по подсказке Крузе.

— За его заботу о государевой чести он достоин награды,— Алексей Михайлович лукаво усмехнулся.— Но это не перетягивает его медного воровства, за него он должен ответить. Я теряюсь и не знаю, как разрешить эту задачу, но ты, Алмаз, сказывают, добрый шахматный игрец, вот и разреши, не сходя с места, как поступить с немцем.

— Случай, великий государь, сомнительный, посему вели наказать Крузе по-отечески.

— Это как же? — заинтересовался Алексей Михайлович.— Поставить его коленями на горох? Или надрать ему своей рукой уши?

— Вели его бить в батоги.

— Ну и новость ты объявил, Алмаз! У нас во всяком приказе половина дел заканчивается батогами. Добро, в таком разе не будем делать для немца исключения: попотчуй его палками для просветления разума.

Решив с Алексеем Михайловичем ещё несколько неотложных дел, думный дьяк вернулся в Посольский приказ, где, несмотря на позднее время, ещё не прекратилось письмописание, и многие писцики и подьячие были на месте. Созвав приказных дьяков, Алмаз поведал им, какие, касающиеся посольских дел, решения были приняты на заседании думы, определил работы, которые надлежало выполнить в первую очередь, и затем велел кликнуть к себе Котошихина.

Гришка весь день прожил с оглядкой и настороже, предчувствуя своей битой спиной, что полоса счастливого везения для него вот-вот закончится, и явился к думному дьяку без промедления, встал неподалёку от двери и изобразил на лице почтительное внимание.

— Как я и предполагал, — сказал Алмаз, — великому государю затейка немцев показалась глупой и опасной для его царского величества. Посему — Якова Блуме решено отпустить восвояси с грозным предостережением впредь не соваться в государевы дела, а Генриху Крузе пожалованы на моё усмотрение батоги. Тебе, Гришка, это счастье знакомо, пятидесяти батогов немцу для вразумления хватит?

Гришка потупился и помалкивал, ему мерещилось, что Алмаз ещё не закончил свою грозную речь. И опытный подьячий угадал.

— Что же ты не просишь за своего немецкого приятеля? — усмехнулся дьяк. — Как сладостью от него посытиться, так ты, поди, бежал к нему со всех ног, а просить за него и не думаешь. Я такую мелочь, что ты путался без спросу с немцами, до великого государя не доводил, и накажу тебя своей властью: за шашни с иноземцами лишаю тебя очередной дачи хлебных денег!

Гришка с облегчением перевёл дух, потеря нескольких рублей, конечно, была неприятна, но не так болезненна, как батоги, страх после битья ещё не выветрился из подьячего, и приговор думного дьяка он принял как спасение и, упав перед Алмазом на колени, благодарно облобызал его усеянную рыжими веснушками могучую длань.

Однако Гришка был так устроен, что ни страх, ни радость в нём долго не задерживались, и, поспешая по пустынным улицам домой, он горевал, что немцы, коих он не удовольствовал в той мере, в какой они надеялись, отсадят его от сладчайшей Сельмы и запретят ему являться на Кукуй, а свою племянницу

Крузе поспешит выдать замуж. Ноги уже понесли Гришку в сторону Яузы, как он заметил за собой слежку, кто-то явно его настигал, и это придало подьячему резвости, он кинулся бежать к своему дому и едва успел захлопнуть за собой калитку в воротах, как кто-то, тяжело сопя, протопал, стуча сапогами, мимо котошихинского двора и всполошил всех собак околотка.

Гришка проснулся в утренних потёмках и поспешил в Новую слободу, чтобы известить Блуме о новостях, но только ради этого он не стал бы суетиться: ему не терпелось ещё разок попользоваться счастьем, которое вот-вот выскользнет из его рук. Сонная служанка открыла Котошихину дверь и сразу же преградила ему дорогу. Гришка заглянул через её плечо и на полу гостиной комнаты увидел грязные сапоги, а на столе военную немецкую одежду, поверх которой лежала длинная шпага. Гришка отшатнулся от двери и, заскрипев зубами, всхлипнул, чем переполошил служанку ещё пуще, она охрабрела и, вытолкнув непрошенного гостя, закрыла за ним дверь на крюк. Котошихин плюнул на порог, чертыхнулся и поспешил к Якову Блуме.

Осторожность московитского царя отодвинула вдаль надежды немецкого купца приблизиться к престолу и стать близким к царскому двору человеком, но Блуме знавал виды и неудаче не смутился, однако отстранился от этого дела с самым решительным видом.

— Решение великого государя говорит о его прозорливости, — сказал Блуме. — По зрелому размышлению и мне перестала нравиться наша затейка. Но Генриху крепко повезло, он за свою жадность поплатится спиной, и я нахожу это милостивым решением.

— Я спешу в приказ, — сказал Котошихин. — Что передать Крузе?

— А ничего, — нахмурился Блуме. — Я не смогу вместо него лечь под палки. А ты ему помоги, он тебя не забудет и наградит.

— Нечем ему меня жаловать, — горько вымолвил Котошихин. — Я сейчас из его дома, там возле Сельмы окопался какой-то немец со шпагой.

— Девицу надо понять, — нравоучительно произнес Блуме. — Ей нужен муж с положением в обществе и достатком.

— Когда у неё полковник Коль, — нашёл в себе силы съерничать Котошихин. — Не подходи к ней близко голь.

— А ты, Гришка, молодец! — хлопнул его по плечу Блуме. — Мы ещё друг другу понадобимся. О Сельме пока не мечтай, но надейся. Прими от меня на дружбу деньги, которые у тебя отнял дьяк Алмаз.

Кошелёк с ефимками весьма подбодрил Котошихина и он, обойдя дом Крузе, там сейчас веселилась неверная Сельма, поспешил к своему приказу, где уже начала возгораться жизнь.

Дьяк Алмаз восседал в своём кресле, а перед ним на коленях стоял Мишка Прокофьев.

— Не жуй слова, а говори! — нахмурился думный дьяк.

— Я, милостивец, как ты повелел, шёл за ним неотступно до самого дома. Гришка сиганул в калитку и вошёл в избу.

— Может, он после за Яузу ушёл?

— Я, милостивец, как тобой велено, дождался до седьмого часа ночи и вернулся в приказ.

— Добро, ступай, — сказал Алмаз. — А за Гришкой не забывай, приглядывай, да не вздумай где-нибудь про это брякнуть. С головой в землю урою!

Глава третья

1

В один из июньских дней 1663 года дьяк Алмаз Иванов, вернувшись из государевых палат в Посольский приказ, без промедления вызвал к себе дьяка Дохтурова, под началом которого, в числе других, был и шведский стол.

— Ты не запамятовал, Герасим Семёнович, как два месяца назад из Пскова прибегал гонец и доложил, что к ним явился шведский посол Адольф Эберс, предъявил свою полноправную грамоту о назначении его комиссаром шведского подворья на Москве? — сказал думный дьяк, проглядывая лежавшую перед ним на столе толстую посольскую книгу.

— Я держу в памяти приход шведов, — доложил Дохтуров. — А что они уже близко?

— Ещё как близко, — вздохнул Алмаз, огорчённый неизбежной докукой, какую вот-вот доставят вместе с собой шведы. — Они явились, чтобы установить, сколько денег получат по Кардисскому миру. Я помню, как намучился с ними в Стокгольме, когда спорил, сколько им дать за корелу и ижору, кои перебежали от них к нам в Россию. Вот, велел поднять договорную грамоту за 1649 год, — дьяк надел очки и заелозил пальцем по странице раскрытой книги. — Сам писал, не доверил писцику листовое письмо. Вот и запись — сто девяносто тысяч рублей за утекших на нашу сторону шведских крестьянишек.

— Стало быть, великий государь, памятуя твою стокгольмскую службу, поволил тебя поставить главным переговорщиком со шведами? — вопросил Дохтуров.

— Что у него думных людей не стало? — удивился Алмаз. — Есть и помоложе меня, кто рвётся поспорить с Эберсом, который жил уже на Москве целых три года полномочным представителем шведского короля.

— Не ко времени шведы явились, — проворчал Дохтуров. — Толмач Юргенс стал совсем плох, а кем его заменить? Второй толмач застрял с гонцом Леонтьевым в Швеции. Не брать же толмача из кукуйских немцев?

— Помнится, Эберс по-нашему уже начинал кумекать, — задумчиво промолвил Алмаз. — Котошихин тоже, вроде, бормочет по-свейски. Пока доброго толмача не сыщем, они друг друга поймут. А ты сейчас же съезди к Юргенсу, может он не при смерти, а пьян в стельку валяется, так встряхни его, пусть опамятается.

Алмаз повернулся к оконцу в стене, за которым виднелась голова его ближнего подьячего:

— Ферапонт! Зови Котошихина.

— Эберс мне известен по переговорам в Кардиссе, — сказал Дохтуров. — Тогда от имени своего короля он написал много наказов своим послам и немало нам попортил крови.

— Я и сам его таким знаю, — согласился думный дьяк, задумчиво глядя на склонённую в рабьем поклоне спину Котошихина. — А ты, Гришка, что ведаешь про шведа Эберса?

Душа подьячего чуть не оборвалась со страха с той нитки, на которую её подвесил Господь, и он похолодел в ожидании, что сейчас Алмаз объявит, что ему ведомо об его встрече с Эберсом в Стокгольме.

— Знаю, что есть такой советник у шведского короля, — запинаясь, промолвил Котошихин.

— Завтра ты его увидишь, — сказал Алмаз. — У нас незадача вышла с Юргенсом, и тебе придётся толмачить при въезде шведов в Москву. Как, справишься?

У Котошихина отлегло от сердца, он взвеселился и бодро тряхнул головой:

— Слова я не позабыл, а вот говорить по-свейски приходилось редко.

— А ты сегодня встряхнись, проговори все слова, что помнишь, а тем временем Дохтуров проведает Юргенса, сдаётся мне, что толмача надо лечить батогами, а то он точно отдаст Богу душу, упившись хмельного.

Думный дьяк велел Дохтурову и Котошихину оглядеть посольское подворье и определить палаты, в которых будет жить Эберс со своими людьми, назначил двух приставов для встречи посольства, подписал подготовленные ими требования в Конюшенный приказ о выделении добрых лошадей и кареты для посла, в Стрелецкий приказ — о выставлении стрельцов вдоль улицы, по которой посольство будет проезжать к Кремлю, в Дворцовый приказ — о выделение мясных, рыбных, хлебных и прочих припасов для прокорма шведов на все дни, пока они будут пребывать в Москве. Шведское посольство из-за его невысокого статуса встречали по малому чину встреч представителей иностранных государств. Эберс приехал докончить уже решённое дело, и почёт, оказываемый ему, был, соответственно, невелик.

Едва Дохтуров и Котошихин вышли от начальника приказа, как встретили стольника Прончищева, которому великий государь поручил приветствовать от своего имени шведов, согласно посольскому чину ввести их в приёмную палату, где должна состояться встреча с царём и вознесение подарков царскому величеству.

Прончищев был прост в общении и со своими соратниками в сражениях со шведами по заключению мирного договора в Кардиссе не чинился:

— Опять придётся обороняться от шведов, но уже близ Москвы. Как, Герасим Семёнович, устоим?

— Вот если Гришка подопрёт нас своим плечом, то выдюжим, — улыбнулся Дохтуров. — Он назавтра наш толмач, на него вся надежда, Иван Афанасьевич.

— Это почему же? — удивился стольник.

— Сыпанет шведам матерно по-ихнему, они сразу и руки в гору поднимут. Гришка наперёд весь русский мат на их язык перевёл и со шведской матерщиной перемешал, вот такой у нас знатный толмач, Иван Афанасьевич.

— Зря так говорите, Герасим Семёнович, — обиженно сказал Котошихин. — У шведов матерных слов и в заводе нет.

— Как же они обходятся? — удивился Прончищев. — Что, и срамные места не называют, а только пальцем на них указывают?

— У них всему есть своё имя, но срамным они перед лицом друг друга не размахивают, — сказал Котошихин. — Но я наслышан, что Эберс так хорошо говорит по-русски, что толмач ему не нужен.

— Вот завтра об этом и узнаём, — сказал Прончищев.

В Москве до Алексея Михайловича иноземные послы постоянно не живали, при приезде на какой-то срок им давали для житья подворье какого-нибудь архиерея или другие подходящие помещения, но недавно в Китай-городе было выстроено большое каменное подворье, которое почти не пустовало, совсем недавно его населяло цесарское посольство Майерберга, чуть раньше жили датчане с посланником Ольделандом. Иноземцы были не очень довольны умением русских зодчих, постанывали, что в покоях ветрено и холодно, отхожие места нечисты, и в них можно провалиться; по ночам на спящих сыпались с потолка клопы, но они терпели неудобства, понимая, что московское гостеприимство дорогого стоит, и без русского царя в Европе трудно прийти к общему согласию.

На Посольском подворье дьяка Дохтурова не ждали, и его с Котошихиным встретил посреди неметёного двора, усыпанного конскими шевяками, старый облезлый козёл, который, увидев посольских людей, пошёл, потрясая рогами, на них приступом, но они успели вбежать на крыльцо, где сошлись с подьячим подворья Копыловым.

— Так-то ты правишь Посольским двором! — пошёл на него с кулаками Дохтуров. — С какого лиха козла держишь?

Копылов знал, как дерутся дьяки, и подставил под удар спину, укрытую толстой суконной однорядкой.

— Это уличный козёл! — оправдывался подьячий. — Почём я знаю, с чего он сюда лезет!

— Где твои люди? — скоро остыв, вопросил Дохтуров. — Завтра сюда явятся шведы, но до них с батогами сюда явлюсь я, и быть тебе, Тимошка, нещадно биту, коли не будет всё прибрано, вымыто, вычищено. А ну, веди в поварню!

В котлах, жбанах и поварешках ничего не было, кроме застывшей сальной копоти. Дохтуров снова вспылил и, схватив черпак, кинул его в подьячего, который увернулся и спрятался в чулан.

На шум и бряк, учинённый дьяком, из палат подворья и каменных подклетей изб стала выходить на свет посольская обслуга: повара, поварихи, кухонные мужики, поломойные женки, прачки, истопники и прочие людишки, которых использовали на всяких посылках и для разных услуг.

— Да тут не меньше ста дармоедов! — поразился Дохтуров. — Это ж, какую уйму деньжищ они забирают! Да ещё и кормятся здесь!

— Копылов! — крикнул дьяк. — Вылезай из чулана, от батогов не схоронишься! Возьми всех людей в работу. Я к ночи зайду, гляну, как ты постарался. Ужо и ты гляди у меня, не огорчи дьяка своим нерадением.

Котошихин на Посольском дворе бывал редко и, отстав от Дохтурова, поднялся по широкому крыльцу на второй этаж, оглядел всё подворье сверху и сразу заприметил, сначала за оградой, а потом и в воротах знакомую карету.

«Хотя в Москве деревьев почти нет, но мы живём, как в лесу, — подумал Котошихин. — Иначе откуда, как ни от эха, Яков Блуме проведал о приезде шведского посольства?»

Гришка появлению немца не обрадовался, слишком памятным было для него расставание, когда он по его милости, чуть не попал дьяку Алмазу в подозрение, утратил Сельму, которая, обвенчавшись с полковником Колем, стала одной из первых кукуйских барынь, вырядилась в камку и парчу, в и кирхе занимает место в первом ряду, вызывая дружную ненависть немецких дворянок, которых к себе в жёны офицеры привезли из своих стран.

Котошихин узнал о возвышении своей зазнобы на днях, когда на Варварке увидел немецкой работы карету, в которой, разряженная в шелка, сияя золотыми и алмазными украшениями, восседала Сельма, а рядом с ней на громадном рыжем жеребце гарцевал полковник Коль в железном шлеме и доспехах,

и грозно поглядывал на прохожих и нищих, которые глазели на немецкую женку и её страховидного сторожа. Гришка, толкая людей, забежал вперёд кареты и встал на краю обочины этаким разгульным фертом, коему всё нипочем, заломив шапку и засунув руки под распахнутую однорядку за пояс. Сельма скользнула по нему ленивым взглядом, а полковник Коль ударил шпорами жеребца, и тот скакнул к обочине и задел боком Котошихина, который остался жив, но был перепуган и осмеян толпой.

Обида на Сельму ещё не выветрилась из его сердца, и он, спускаясь с крыльца, не ускорил шагов, хотя увидел, что из приехавшей кареты точно вышел Яков Блуме и, поклонившись Дохтурову, начал с ним оживлённую беседу. Дьяк его заметил и поманил к себе, увидел его и Блуме, и тоже стал давать Котошихину знаки, чтобы тот не чурался знакомства с ним, а приблизился к его немецкой милости.

Гришка был незлопамятен, и, обнявшись с немцем, почувствовал к нему то же самое сердечное влечение, как и при первой встрече.

— Мой бог! — воскликнул Блуме. — Мы, скоро год, как с тобой не встречались, Григорий!

— Не было случая свидеться! — сказал Котошихин. — Как жив-здоров Генрих Крузе?

— Дня не проходит, чтобы он не вспоминал добрым словом дьяка Алмаза, — сказал Блуме. — Говорит, что после батогов он стал лучше разуметь московитов и весьма хвалит ваши порядки.

— Гляди, как прозрел! — хмыкнул дьяк Дохтуров. — Хорошо бы всякого иноземца на пограничной стороже сначала поколотить палками, а потом давать ему подорожную до Москвы. Может, тогда наших хулителей поубавилось бы.

— А ты, Яков, как спроведал, что завтра сюда явится шведское посольство? — сказал Котошихин.

— Тоже мне тайна, — рассмеялся Блуме. — Я зашёл в лавку к приятелю и тут же услышал от приказных людей, что завтра будет въезд посла Эберса в Москву. Город гомонит об этом уже не первый день. Народ ждёт радости — залезть на заборы и крыши, чтобы поглазеть на приезжих немцев.

— Что ж, приезжай завтра, — сказал Котошихин. — А если не терпится, то ступай к Эберсу сейчас. Впрочем, как знаешь…

Дьяк Дохтуров уже укоризненно поглядывал на Гришку,

который болтал с немцем о всяких пустяках, и затем многозначительно кашлянул.

— Поторопись, Гришка! Я завезу тебя домой. Или ты забыл, что завтра тебе встречать Эберса и говорить как толмачу по памяти титул великого государя и титул шведского короля. Я завтра тебя не отпущу из приказа, пока ты их назубок не выучишь и не прочтёшь наизусть.

Он довёз Котошихина до его подворья и поехал проведывать толмача Юргенса о его здоровье или притворстве, а Гришка заперся в избе, завалился на лавку и проспал до того самого времени, когда боевые часы на башне не пробили конец одиннадцатого часа. При тусклом мигающем свете лампады он оболокся в праздничную, из зелёной камки, рубаху, пристегнул к ней ожерельный воротник, украшенный десятком жемчужин, обул лёгкие из юфтевой кожи сапоги с красно-зелёными голенищами и чёрными, обложенными вокруг подошв серебром, головками, надел однорядку из аглицкого тонкого сукна и, прихватив шапку, поспешил к Посольскому приказу.

Между колокольней Ивана Великого и избой приказа была коновязь, и возле неё стояли оседланные кони для приставов, подьячих и служек, коих нарядили встречать шведское посольство. Многие из них уже были здесь, одетые в свою лучшую или взятую в казне одежду, все находились в приподнятом настроении, поскольку въезд послов, как и их проводы, рассматривались ими как праздник, нечто вроде свадьбы, где приказные люди были и распорядителями и участниками торжества. Подобные чувства испытывали и многие москвичи, которые на время въезда в столицу посольства отставляли свои ежедневные дела в сторону, оболокались во всё красное и лучшее и с раннего утра начинали толпиться и толкаться на обочинах улиц, по которым должны были проследовать к Кремлю посольские иноземцы.

Главная ставка всего этого действа находилась в Посольском приказе, в комнате, где заседал Алмаз Иванов. Рядом с ним находились дьяк Дохтуров и самые смышлёные подьячие. Герасим Семёнович завидев Котошихина, схватил его за руку и, отводя в угол комнаты, потребовал:

— А ну, вычти титулы государей, да только не ори.

Гришка громким шёпотом проговорил титулы, в которых дьяк не узрел ни одной ошибки, и одобрительно потрепал подьячего по плечу.

— Гришка готов! — объявил он начальнику приказа.

— А что Юргенс? — спохватился Алмаз. — Ты у него был?

— Нашёл в мыльне. Пока он в похмельной болести, но завтра будет готов толмачить великому государю.

— Ты его держи под приглядом, — хмуро сказал Алмаз. — С нашими толмачами совсем нет сладу.

В комнату вошёл пристав и доложил, что поезд шведского посла миновал Андреевский монастырь и стал спускаться с Воробьёвых гор.

— Жидовинов! — встрепенулся думный дьяк. — Выходи помалу своим поездом навстречу шведам. А ты, Гришка, с двумя приставами поезжай поперёд Жидовинова и делай своё дело!

Народу вокруг Посольского приказа заметно прибавилось, подъехали две кареты, запряжённые породистыми конями белой масти, украшенные роскошными лисьими хвостами, которые свешивались с ушей аргамаков и с дуг упряжи. Кареты были убраны коврами и внутри, и снаружи.

— Поезжай, Гришка! — сказал Жидовинов. — А мы после подтащимся.

Котошихин, чтобы быть уверенным в езде, отвязал от коновязи спокойную чалую кобылу, на которую никто из приставов не позарился, проверил, хорошо ли она оседлана и взгромоздился на лошадь, которая под ним слегка осела на круп, но скоро выправилась и, помахивая хвостом, порысила за конями приставов, затеявших очередной осмотр посольского въезда.

На сегодня приезд послов в государевы палаты не ожидался, и на Красной площади уже закипали многолюдством бесчисленные торговые ряды. Приставы прямо-таки горели желанием показать свою власть, и нерасторопные прохожие получали от них награждение ударами коротких свитых из ремней бичей, что было наукой и остальным: люди размыкались перед властными людьми, как трава под порывом сильного низового ветра. Подобное почтение людей заставило Котошихина приосаниться, и он запоглядывал по сторонам, переполняясь уважением к своей особе, и когда какой-то мужик-деревенщина, ополоумев от московской суеты, метнулся перебежать перед ним улицу, то Гришка выхватил бич и со всего размаху опоясал ротозея сплетённым ремнем.

Восходившее солнце светило всадникам в спину и не мешало им видеть, что было перед ними, и скоро Гришка узрел двигавшийся малой скоростью от Москва-реки к Тверским воротам поезд шведского посольства. Заметили его и приставы, они дружно гикнули и помчались, пугая народ, навстречу шведам. Котошихин решил не спешить, он чувствовал, что им начинает овладевать волнение, и не находил этому причины, кроме той, что он побаивается встречи с Эберсом. Он живо представил советника наяву, вспомнил ту обволакивающую мягкость, с которой швед навязал ему опасное поручение в Москву, и Гришка ему не воспротивился, а даже испытал счастливое волнение, что стал полезен такому удивительному человеку.

Эти воспоминания помогли Котошихину преодолеть сомнения, и он приблизился к шведам, испытывая начинающее возгораться в нём любопытство к скорой встрече с послом.

Эберс находился в карете с открытым верхом в окружении нескольких ратных шведов, восседавших на толстоногих раскормленных конях. Посол был недоволен: подъехавшие приставы опять остановили движение посольства, чтобы кого-то подождать. Котошихина он заметил, узнал, и его лицо озарила улыбка, кою он тотчас погасил, чтобы не обнаружить своё опасное знакомство с московитом.

— Это, господин посол, — довольно развязным тоном произнёс пристав, — толмач Посольского приказа Котошихин.

Эберс неузнающим взглядом окинул Котошихина и вымолвил по-свейски:

— Может здесь кто-нибудь объяснить, что от меня требует этот скиф?

Гришка довольно легко понял, о чём его спросил посол, и храбро заговорил на его языке:

— Приставы просят, твою милость, подождать прихода встречных карет, куда ты должен переместиться.

Речь далась Котошихину трудно, но ему помогал Эберс: благожелательно посматривал на неловкого толмача, один раз даже подсказал нужное слово.

— Скажи этим дурням, — улыбаясь, промолвил Эберс, — чтобы они не колготились вокруг меня, а скорее доставили ваши посольские кареты. Представляю, что это за колымаги!

Переводить брюзжание шведа Котошихину не пришлось, к ним приближались всадники, кои вели с собой в поводу трёх лошадей: двух с седлами и одну без седла, они же доставили кареты, в одну поместился Эберс, другая пока осталась пустой, и посольский поезд продолжил движение, однако скоро опять встал: пришла очередь Котошихина исполнить главную обязанность встречного толмача: вычесть послу титул великого государя. Гришка слез с лошади, пригласил Эберса выйти из кареты, а всем остальным спешиться и обнажить головы.

— Божией милостью великий государь царь Великия, Малыя и Белыя России… — возгласил Котошихин на одном дыхании большой титул и нигде не запнулся, но покраснел, как варёный рак, и, вымолвив последнее слово, осторожно вдохнул малую толику воздуха и не раскашлялся, не расчихался, и достойно исполнил порученное ему дело.

Тем временем к посольскому поезду приблизились два старших пристава, наряженные в персидские парчовые кафтаны и плащи из сукна лимонного цвета, с шарфами, расшитыми серебром и золотом, в дорогих собольих шапках. Пристав Жидовинов стал перепираться с Эберсом, кому из них первому ступить на землю, чтобы обменяться прочтениями титула русского царя и шведского короля. Жидовинов переупрямил шведа, титулы были прочитаны, приставы поместились в карету, и поезд медленно тронулся в путь. Котошихин оглянулся и прикинул, что пройдено всего с две версты, а солнце уже подкатилось к полудню.

По мере продвижения посольства народу на улицах всё прибывало, за Неглинным мостом люди уже стояли плечом друг к другу, сидели на заборах, висли на крышах и жадно взирали на шведов, которые тогда числились одними из первейших врагов православной Руси. Бывалые москвичи переговаривались и соглашались между собой в том, что немецкие послы въезжают в Москву скучно, нет от них ни шума, ни треску, ни блеску, на который так падко простонародье. Иное дело, когда являются азиаты, в 1642 году хивинское посольство своим видом людей, явившихся из сказки, так поразило толпу, что и через двадцать лет москвичи помнили и пардусов, которых вели на коротком поводке обнажённые до пояса багатуры, и верблюда с золочёными копытами и корзиной между верблюжьих горбов, в которой отвратно орали и растопыривали длинные, алмазно

вспыхивающие перья, царские птицы павлины, и громадную полосатую кошку в клетке с горящими, как угли, глазами, от вида коей все московские собаки попрятались в свои подворотни. Вот это было знатное позорище, а на шведов московские люди таращились в ожидании, что случится такое, над чем можно было бы позубоскалить, но ни один швед ни запнулся, ни сверзился, загремев железными доспехами, с коня, посольский поезд проследовал, оставив позади себя зевак, на обширное чисто выметенное и сбрызнутое водяной пылью подворье, и шведы враз повернули свои носы в сторону поварни, откуда дразняще скусно повanивало мясными и рыбными яствами, и слуги уже несли в обеденный зал хлебные, хмельные и прочие припасы, а наверху между столов прохаживались два пристава и приглядывали за обустройством встречального пира.

Эберс, выйдя из кареты, заоглядывался, отыскивая глазами Котошихина, но увидел, как на Посольское подворье въезжает карета, которую сопровождает вооружённый всадник.

— Кажется, ещё одно посольство явилось? — сказал он своему помощнику Муресу.

К карете поспешил подьячий Посольского двора, но встал на полпути: приезжими оказались важные немцы — полковник Коль, торговые люди Блуме и Крузе, и его прелестная племянница Сельма, весьма грациозно и призывно совершившая поклон шведскому послу, и тотчас заслонённая от заинтересованного взгляда Адольфа Эберса мощным станом покинувшего седло полковника Коля.

Сотоварищ Эберса по явным и тайным делам Яков Блуме представил ему кукуйских немцев, которые поздравили посла с благополучным прибытием в Москву, и каждый пригласил его побывать у него в гостях. Эберс откликнулся лишь на приглашение Сельмы, и сделал это не с каким-то умыслом, а исключительно из кавалерской галантности. Все, кроме Коля, именно так это и поняли, но полковник стал пофыркивать и горячо, как борзой конь, дышать через ноздри.

— Узнай у пристава, — обратился посол к Котошихину, — могу ли я пригласить своих соотечественников за пиршественный стол.

Жидовинову просьба Эберса пришлась не по вкусу, он стал долго и нудно толковать о посольском обычае, дескать, такого ещё не бывало, чтобы какие-то сторонние люди садились

за пиршественный стол, может, в Швеции и есть такой порядок, а Москва его не знает.

Котошихин принялся через пятое на десятое переводить возражения Жидовинова, и скорее всех сообразил, что делать, Яков Блуме. Он велел слуге отвязать от задка кареты громадную корзину и помог ему поставить её на землю. Все, притихнув, наблюдали за немцем, а он, коверкая русскую речь, но вполне понятно, обратился к приставу:

— Тебе, Василий Степанович, давно известно, как нелегко нам, немцам, привыкать к русским яствам. Эти кушанья, что в корзине, приготовлены в Новой Слободе по-европейски, и мы предлагаем устроить складчину, вполне по русскому обычаю. Посол ещё не принят великим государем и волен есть и пить, с кем пожелает.

Блуме снял с корзины крышку и открыл для взоров присутствующих её содержимое: здесь были хитрые поварские изделия, всякие колбасы, сосиски, рулеты, паштеты, мясные шейки, копчёный гусь — всё это пристав Жидовинов сразу углядел, но ещё большего рассматривания им удостоился дубовый бочонок, в коем поплескивался ромус, поставленный рядом с корзиной все тем же молчаливым слугой.

Бывалый Жидовинов не дал устного разрешения на присутствие кукуйских немцев, но и не воспретил, и Эберс, правильно истолковав сей знак, сказал, делая приглашающий взмах рукой:

— Пора, господа, познакомиться с покоями!

И все немцы подошли к крыльцу средних палат и стали по нему подниматься на открытую площадку, где их встретил подьячий Копылов, поклонился и произнёс:

— Добро пожаловать, ваша милость, в свои покои!

— А где толмач? — по-свейски сказал Эберс и заозирался.

Гришка доплёлся всего лишь до половины лестницы, внезапное появление немцев, особенно Сельмы, в сопровождении воинственного супруга, сильно смутило Котошихина, и он стал искать возможность, как можно скорее покинуть Посольский двор. Услышав, что его торопят, толмач взбежал на площадку и сказал Эберсу:

— Подьячий просит тебя пройти в покои.

Комната для посла была просторной, мебель в ней находилась русская — широкая лавка, застланная медвежьей шкурой,

которую Эберс сразу ощупал, большой стол, всякого размера скамейки, столец для письменных дел, два шкафа, большой сундук и деревянный жбан с крышкой, выглядывавшей из-под лавки, который сразу заинтересовал Эберса.

— Что это за предмет? — сказал швед и осторожно затронул жбан носком сапога. — Может, он начинён порохом? Русские умеют ловко взрывать крепостные стены.

— Это ночной горшок, — успокоил посла Котошихин и снял с него крышку.

Блуме заглянул в жбан и удивился:

— Там какая-то трава…

Подьячий посольского двора, сопровождавший немцев, сунулся к горшку:

— Это укроп, для приятного запаху, господа. Я сам это удумал.

Продолжить беседу на столь приятную для обоняния тему гостям и хозяину помешал Мишка Прокофьев, который безошибочно определил среди немцев шведского посла и, низко ему поклонившись, довольно торжественно возгласил, что он послан начальником Посольского приказа думным дьяком Алмазом Ивановым, дабы от его имени приветствовать господина посла, осведомиться о его здоровье и узнать, есть ли у него в чём-нибудь нужда.

— А ещё думный дьяк велел мне собрать о посольстве некоторые сведения, — сказал Прокофьев и, достав из сумки письменные снасти, разложил их на столе, изготавливаясь для допроса.

— Как же я буду отвечать, когда у меня голова от встречи болит, — сказал Эберс. — Приходи завтра и потолкуем.

— Думный дьяк велел мне не уходить, пока я не получу ответы, — сказал Прокофьев и развернул лист. — Объяви всех людей, их звания и чины, и прозвища, кои пришли в посольство? Есть ли у посольских людей товары, не явленные на таможне, а также запрещённые к ввозу: табак, всякие приворотные зелия, бумажные листы с памфлетами и прочие вредные изделия и снадобья? Выполняет ли Речь Посполитая все пункты договора, заключённые ей со Швецией в Оливе? Кто из русских людей без ведома великого государя обитает в Швеции? Продолжаются ли на море баталии шведских кораблей с датскими? Почему в Нарве были задержаны товары торгового человека Самоварова? Когда

будут поставлены в Москву пятьсот мушкетов, деньги за кои уплачены сполна ещё два года тому? Какие дары намерен посол преподнести великому государю на завтрашней встрече в Кремле?

Выслушав вопросы, Эберс огорчённо глянул на Котошихина:

— Скажи подьячему, что ответить на вопросы без раздумья я не смогу.

— Он не отвяжется, — по-свейски сказал Гришка.

— Как же его обойти?

— Отдай ему на растерзание своего советника Муреса. Я знаю этого подьячего, он не уйдёт, пока не запишет все ответы, и ещё после будет перетаптываться у порога, пока не возьмёт посул.

2

Дьяк Алмаз с брезгливым видом разглядывал стоящего перед ним толмача Юргенса.

— Не прошло и полгода, Густав, когда ты клялся, что не возьмёшь в рот хмельного, как опять упился, да ещё в самый неподходящий час. Вчера пришлось Котошихина посылать толмачить шведскому послу, а тот язык постигал самоукой, а ты природный немец, но, может, — нет? Может, твой родитель из наших кабацких питухов, что днюют и ночуют в кружалах?

— Не изволь гневаться, милостивец, — жалобно возгласил Юргенс. — Я уже трезв, и отслужу тебе всё, что задолжал.

— Ты не мне, а великому государю служишь! Это он изволил пожаловать тебя из пленного раба в толмачи Посольского приказа, жалованье у тебя выше, чем у старшего подьячего. Ты что, возмечтал так прожить до смерти? Не выйдет! На Москве незаменимых людишек нет! А сейчас ступай к Жидовинову и поезжай с ним на Посольский двор к шведскому послу.

Пристав, хотя вчера изрядно попировал с немцами, был свеж и деятелен.

— Вот и ты, Густав, на моё счастье ожил! — сказал он. — Вчера Гришка толмачил, но я ему не верю, он может и такое перевести, чего у посла в разуме не бывало.

Шведское посольство, предупреждённое о встрече с царём, с утра было на ногах. Немцы мылись, брились, подравнивали

волосы, подвивали усы, вытрясали одежду от дорожной пыли, начищали на ней медные пуговицы и пряжки, обихаживали сапожными щётками обувь, оглядывали свои шляпы, на которых по случаю торжественного прихода к царю, заменяли старые, истрепавшиеся в дороге петушиные перья на другие, ещё неношеные. Московские удобства не способствовали скорому завершению приведения посольства в требуемый для представления великому государю порядок, и Адольф Эберс кое-на-кого прикрикнул, чтобы они не копошились, излишне не выряжались, а поспешали, ибо сейчас явятся приставы со своим уставом и поблажки никому не дадут.

Сам Эберс обладал счастливой способностью выглядеть достойно и пригоже во всякой обстановке. Ему недавно исполнилось сорок лет, он был высокого, как все шведы, роста, и на всех производил впечатление прямодушного викинга, и это было чистой правдой по отношению к своим; славян, и русских, и ляхов, Эберс презирал, полагая, что по отношению к ним возможна любая подлость, если только она послужит на пользу шведскому Великодержавию. Пять лет назад он покинул Москву, где три года был резидентом, за это время швед достаточно хорошо для иноземца узнал Россию, но ни уважения, ни любви у него к ней не прибавилось, и больше всего он был огорчён тем, что так и не заимел тайного доступа в Посольский приказ через своего лазутчика, хотя совершал в этом направлении подходы, присматривался к подьячим, переводчикам и толмачам, но сделать кому-нибудь предложение так и не решился.

Россия заключила в Кардиссе мирный договор со Швецией, но выглядел он как поражение. Шведам были уступлены земли, города и дано согласие на выплату денег, которую правильнее было бы назвать контрибуцией. В Кардиссе русские согласились на эту уступку, скрепя сердце, два года тянули с открытием переговоров по этому вопросу, спорили о месте, где провести съезд послов, наконец, шведы приперли русских к стенке: явились в Москву с довольно строгой грамотой своего короля, после чего великий государь был вынужден назначить своего переговорщика.

Однако, как ни торопились шведы прибраться к появлению на Посольском дворе приставов, они явились, да не одни, а привели с собой двенадцать всадников на белоснежных конях, в дорогой сбруе, привели коней той же масти для шведов,

а для посла была привезена дорогая своим узорочьем карета, запряженная также двумя белоснежными лошадьми.

Приставы велеречиво поприветствовали посла, справились о его здоровье, нет ли у него жалоб на русское гостеприимство, на что Эберс отвечал цветистой благодарностью за проявленную к нему и к его людям заботу.

— Мы должны вопросить твоё свейское превосходительство, — важно сказал Жидовинов, — послал ли его величество король свейский подарки великому государю?

— На этот раз, — ласково улыбнувшись, ответствовал Эберс, — шведский посол преподнесёт великому государю подарки от себя лично.

— Не изволит ли господин посол явить свои подарки государевым приставам?

— Мурес! — позвал Эберс своего помощника. — Подарки готовы?

Тут же был вынут из укладок и открыт каждый ящик, в котором, завёрнутые в ткань, находились подарки, их освободили и показали приставам, те их оглядели и скуксились, уже давно царскому величеству не подносили столь скудные дары.

Чтобы избавиться от возникшей неловкости, Жидовинов попросил посла садиться в карету, а его сопровождению — на коней. Началась небольшая предотъездная сумятица, но скоро все заняли свои места, и торжественная процессия вышла из ворот Посольского двора. Впереди следовали двенадцать красиво убранных всадников, за ними Мурес, исполнявший обязанности гофмейстера посольства, далее следовал секретарь посольства с верительной грамотой шведского королевского величества.

Перед каретой посла несли подарки: зеркало в красивой чёрной раме, два серебряных с позолотой кувшина и большой золочёный бокал. За подарками ехал посол, впереди его находился на облучке толмач Юргенс, а лошадей вели два назначенных для этого человека в дорогих кафтанах и шапках. Кремль был рядом и, перейдя через мост, посольство вступило на площадь, окружённую с трёх сторон государевым дворцом и домами знатнейших бояр. Вдоль пути, по которому следовало посольство, были расставлены двойным строем стрельцы государева стремянного приказа, одетые по левой стороне в жёлтые,

по правой стороне — зелёные кафтаны, с мушкетами в руках. Эберс пригляделся: мушкеты были ему знакомой свейской работы, а стрельцы все молодые и здоровые, с румянцем в обе щеки, парни. А вот это было шведу не в радость: Россия была относительно многолюдна, тогда как свеев насчитывалось менее миллиона, но держали они под собой всё побережье Балтийского моря.

Не доезжая царского дворца, посольский поезд остановился, шведы спешились, посол вышел из кареты, чуть позади его остановился толмач Юргенс, на царском крыльце показались и стали спускаться с него стольник Прончищев и думный дьяк Алмаз Иванов. Юргенс подсказал послу, что следует идти к крыльцу, на ступеньках государевы и посольские люди сошлись, и Адольфу Эберсу пришлось пережить несколько неприятных мгновений, поскольку он, выслушивая приветствия думного дворянина, находился глазами на уровне средней пуговицы его кафтана, чем допустил явную поруху чести шведского короля. Он едва утерпел достоять до конца произнесения титула великого государя, но всё когда-нибудь да заканчивается, и посла, оставившего свою шпагу, с несколькими людьми его свиты ввели в приёмную палату, которая оказалась довольно мрачной на вид, всего с двумя небольшими окнами комнатой, столь обильно убранной прекрасными персидскими коврами, что они были в ней везде, кроме потолка, разрисованного золотыми цветами и яблоками.

В палате по правую сторону от дверей сидели десятка два бояр в парадной одежде, а за ними стояли человек с пятьдесят в золочёных кафтанах из казны, все с непокрытыми головами. Эберс видел вблизи великого государя всего несколько раз и с любопытством, но не назойливо, к нему присматривался. Алексей Михайлович восседал на серебряном троне, на верхней части спинки которого был изображён двуглавый орел. На голове у царя была шапка из серебряной ткани, отороченная собольей каймой и увенчанная маленькой коронкой. Верхняя одежда великого государя тоже была из серебряной ткани, а в руке он держал серебряный скипетр, а рядом с троном на серебряной подставке находилось царское яблоко — золотой шар с крестом наверху, сиречь держава.

Впереди царя, по двое с каждой стороны, стояли статные витязи в прекрасных белых, отделанных мехом горностая,

одеждах, имевшие в руках откинутые на плечо топорики с широким лезвием, и заметно важничающие своей к великому государю близостью. По правую руку от царя стоял его тесть Илья Данилович Милославский, а по левую — свояк царя Борис Иванович Морозов. Сих могущественных царедворцев Эберс в свою прежнюю бытность в Москве почтил посулом не ради выгоды, а для знакомства, и они его приняли с небрежностью природных властителей.

Когда все придворные и посольские люди заняли положенные им места, стольник Прончищев сделал знак послу начать своё выступление, и все затаили дыхание, придирчиво наблюдая, как Эберс правит поклон великому государю, который во время произнесения титула королевского величества встал, а Милославский снял с него шапку. С обнажённой головой царь спросил о королевском здоровье, затем Эберс подал королевскую верительную грамоту, которую принял боярин Морозов и сразу же отдал думному дьяку Алмазу для внимательного её прочтения и подготовки ответа послу от царского величества.

Представление подарков было для Алексея Михайловича самой интересной частью посольского приёма, и он принимал подарки всегда сам, с любопытством разглядывая всякие хитрые немецкие вещицы, не исключая и заводных кукол, наряженных рыцарями и дамами, к коим особое пристрастие имела царица Мария Ильинична. Подарки шведского посла не развеселили великого государя, но и не огорчили. Он поднял золочёный бокал, заглянул в него и промолвил:

— Добрая посудина, из неё можно и квас пить, и уху хлебать.

Эберс понял это замечание, как одобрение его подношению и, встав со скамьи, на которую его только что усадил Алексей Михайлович, стал благодарить царя за оказанную ему честь.

Улучив момент, Иван Афанасьевич Прончищев, наскучив стоять молча и без дела, громкогласно объявил, что великий государь и царь жалует на вечер сего дня посла и его людей кушаньями от своего стола, а теперь допускает его к своей руке. Эберс уже раз совершал этот обряд и остался от него не в восторге, но исполнение его было обязательным, и он с постной физиономией приблизился и поцеловал пухлую и влажную руку великого государя, а тот тотчас сполоснул свою длань в серебряном ведре и утёр полотенцем.

Этим действием официальная часть приёма была завершена, стольник Прончищев проводил посла до нижней ступеньки царского крыльца, вернул ему шпагу, Эберс погрузился в карету и отбыл на Посольский двор, где, скинув с себя до исподних порток всю одежду, поспешил опустить своё разгорячённое тело в бочку с чуть тёплой водой, и стал в ней, фыркая, как конь, плескаться и резвиться. Развлечение Эберса привлекло внимание слуг Посольского двора, они поначалу глядели в сторону посла с недоумением, потом стали на него указывать руками и похохатывать, говоря, что немцы русской бани не знают, потому моются в бочках и корытах, а без дыма и пара нет у них в теле настоящей крепости и устойчивости супротив хворей.

На помощь Эберсу явился подьячий Копылов и разогнал зевак, чем воспользовался Мурес и подошёл к бочке с большим распростёртым в руках полотнищем, в которое благополучно завернулся шведский посол и, сунув ноги в сапоги, затопал по лестнице в свою комнату. Едва он успел привести себя в порядок, как во двор во главе большой толпы приставов, стряпчих и других дворянского звания людей явился думный дворянин Прончищев. Толпа, которую он привёл за собой, несла пожалованные великим государем кушанья. Впереди шёл стряпчий со скатертью, рядом с ним другой стряпчий нёс на золотом блюде пару больших ножей с черенками из рыбьего зуба, золочёными и украшенными инкрустациями лезвиями. За ними по двое шли, как насчитал Мурес, более пятидесяти человек, кои несли по случаю Петрова поста исключительно рыбные блюда, а также в семи серебряных и позолоченных кувшинах и пяти больших оловянных кувшинах были доставлены на пир вино, мёд и водка, а пиво привезли в двух бочках на большой телеге, и тотчас вокруг стали собираться постоянные жители Посольского двора и жадно поглядывать на бочки и принюхиваться. Они тотчас бы накинулись на привезённое пиво, но его охраняли два стрельца, уже порядком хмельные, но ещё годные на то, чтобы пустить в ход свои кулаки, а то и сабли.

Стол был накрыт в большой комнате, с удивившей Эберса быстротой на нём были расставлены столько блюд, сколько на них смогло поместиться, остальные были отданы слугам чинов посольства, с некоторым количеством водки. Затем Прончищев велеречиво пригласил шведского посла занять место во главе стола, сам примостился от него сбоку, остальные

чины расселись согласно своим должностям, напротив посла сел пристав Жидовинов, другой пристав поместился поближе к кувшинам с водкой и романеей.

Прончищев сделал знак виночерпию наполнить чарки водкой и затем предложил послу выпить для возбуждения аппетита. Эберс принял из его рук золотую чарку, храбро опрокинул её в рот и чуть не задохнулся от крепости православного русского напитка, и не смог скрыть своего изумления от окружающих. Возникло лёгкое замешательство, этим захотел воспользоваться толмач Юргенс, который ухватил чарку, что поболее и хотел опрокинуть её в рот, но был остановлен на полпути крепкой рукой подьячего Посольского двора, коему дьяк Дохтуров повелел бдить за толмачом и не допустить его до винопийства.

Не успели шведы от крепчайшей водки откашляться и открякаться, как по мановению руки стольника появились золочёные бокалы, наполненные на этот раз романеей, так на грубом московитском наречии именовался благородный немецкий рейнвейн. Но в ожидании произнесения неизбежных здравиц никто не решился к ним прикоснуться и все обратились к закуске. Эберс попробовал заливного со стерлядью, и оно показалось ему необыкновенно вкусным, затем решил попробовать жареной рыбы, но она так воняла постным маслом и чесноком, что взятый из блюда рыбный кусок он, наклонившись, выплюнул под стол.

Тем временем стольник Прончищев велел поставить к нему поближе серебряные кувшины с вином, затем вынул свиток, на котором были записаны все здравицы, которые он должен был сегодня провозгласить: за здоровье великого государя, за его королевское величество, за молодого царевича и будущего королевича Швеции. Все здравицы обильно запивались и заедались, и когда они закончились, Прончищев вздумал возгласить их на второй раз, но Эберс, уже имевший опыт в подобного рода посольских попоищах, объявил, что он больше не в состоянии пить и пригласил стольника в свою комнату, чтобы показать ему гравированные на меди портреты короля и канцлера. Опытный Иван Афанасьевич намёк посла истолковал правильно и, оставив руководить застольем пристава Жидовинова, поспешил за Эберсом. Портреты стольнику понравились, он долго не выпускал их из своих рук, все

рассматривал да нахваливал, но краем глаза следил за слугой посла, который выставил на стол два бокала и кубок чеканной работы. Наконец Эберс привлёк внимание Прончищева к этим предметам и предложил выбрать для себя один в благодарность за сегодняшние хлопоты.

Прончищев отказался и стал уверять посла, что его заслуги ничтожны, и хлопоты были для него не обузой, а удовольствием, и он всего лишь исполнитель воли великого государя и не заслужил никаких подарков. Но отказ стольника был едва ли искренним, скорее всего он не мог решить, что взять: серебряный бокал ему нравился весом, а кубок по более филигранной отделке. Эберс, конечно, понял сомнения Ивана Афанасьевича, который даже вспотел от своего затруднительного положения и, усмехаясь людской жадности, преподнёс Прончищеву и кубок, и бокал — все вместе. Но швед ошибался: стольник, конечно, был рад получению дорогих подарков, но не их цене, а тому, что он за свою службу удостоился от посла столь ценных даров и, выпив на посошок, сел в свою карету, впереди поставил двух служителей с бокалом и кубком в руках, и поехал к великому государю удостоверить полученными дарами успех своей службы перед посольскими шведами.

С отъездом стольника Прончищева пир далеко не закончился, водительство им взял в свои руки пристав Жидовинов, который, хотя, и не пропустил ни одной чарки, оставался с виду трезв и весьма деятелен. Он оглядел застолье и велел допить свои чарки тем, кто отлынивал от пития хмельного, затем пристав осведомился, сколько объёмом вина он располагает и, услышав, что хмельного — пить, не перепить, полез себе за пазуху и извлёк оттуда весьма замусоленный список, который оказался перечнем здравиц. Нацепив на нос оловянные очки, Жидовинов возгласил уже по второму кругу здравицу великому государю и царю, и с превеликой строгостью проследил, чтобы никто не увильнул от чести опорожнить чарку, затем последовали здравицы за королевское величество, за царевича Алексея, будущего шведского королевича, здоровье шведского посла, стольника Прончищева. Уже покачиваясь, Жидовинов хотел ещё раз поздравствовать посла, но Эберс сумел-таки увести пристава в свою комнату, где вручил ему на память оставшийся бокал, чем растрогал престарелого московита до увлажнения глаз. Другому

приставу было подарено небольшое серебряное блюдо, но он уже напился до икоты и не смог, хотя и пытался, выразить шведу свою бесконечную признательность.

Приставы, придерживая за пазухой дары, спустились с крыльца, на последней ступеньке их подхватили слуги и бережно уложили в карету, на которой были отправлены по своим домам для покойного отдыха. Эберс стоял на верхней площадке крыльца и прощально помахивал им рукой, душевно довольный тем, что справился с московитами, не дал себя споить, как это случилось с бранденбургским послом, когда тот, перебрав крепчайшей русской водки, вдруг взгромоздился на пиршественный стол и стал на нём, делая непристойные жесты, приплясывать. О сем позорище срочно донесли великому государю, и это известие его весьма позабавило, Алексей Михайлович любил людей открытых и весёлых и он направил к послу своего стольника, коему было велено сказать, что великий государь жалует бранденбургского посла пятью сороками соболей за весёлость нрава. Однако, несмотря на столь щедрый дар последователей у этого посла пока что не нашлось, не хотел становиться с ним на одну доску и Эберс, поэтому и был доволен, что посольская часть пира закончилась благополучно, и он с завтрашнего дня начнёт настаивать на скорейшем открытии переговоров.

Господский пир завершился, но посольские люди даже при помощи приставов и стольника не смогли уничтожить и десятой части кушаний, пожалованных великим государем. Осталось немало медов и водки, только романея была сразу унесена в комнату посла. Подьячий Копылов подошёл к Эберсу и сказал:

— Как, господин посол, прикажет распорядиться с оставшимися кушаньями и хмельным? Сохранить до утра в сохранности блюда невозможно, в погребе нет льда, а так они прокиснут.

Эберсу вспомнился вкус жарёной рыбы, и он махнул рукой:

— Поступай с остатками, как пожелаешь!

— Обычно всё раздаем людям, — сказал Копылов. — Может, пиво оставить для посольских людей?

— Ни в коем случае! — запротестовал посол. — Не хватало, чтобы они животами стали маяться.

— Тогда я отдам всё людям, — сказал Копылов.

— Сделай так, чтобы они здесь не пили и не шумели, а то я велю драгунам охраны стрелять в них из мушкетов.

Подьячий ушёл, удивляясь последним словам Эберса: ужели посол недостаточно опьянел, чтобы продолжать бодрствовать и колобродить? Обслуга посольского двора меж тем ждала угощения, но всему был свой черед: мысленно всё оставшееся было разделено на число слуг. Подьячий, ключник и виночерпий, конечно, взяли всё, что захотели, в первую очередь, а затем стали раздавать еду и питьё слугам. Те были к этому всегда готовы, шли на делёжку с корзинами, большими кувшинами и вёдрами. Всем достались щедрые дары, особенно пива, его наливали по половине ведра каждому, кто жаждал этого пития. С водкой обошлись более рачительно, большую часть закрыли на замок, а два оловянных кувшина разлили питухам, и вышло по большой чарке каждому. Добрым людям и этого хватило, но нашлись и недовольные тем, что водка, как всегда, осталась у начальства, а им досталось слишком мало, только губы помочить да раздразнить душу, такие смельчаки обступили подьячего и стали просить у него водки, но получили несколько крепких затрещин от сторожей, всегда державших сторону начальных людей и получивших за своё рвение малый кувшин водки на троих.

Утишив подчинённое ему подворье, Копылов велел закрыть ворота, а сам через калитку вышел на улицу, огляделся и, перейдя дорогу, скрылся в обывательском дворе, который принадлежал бывшему подьячему приказа Тайных дел Матвею Свиридову, покоившему свою старость в окружении внуков.

Хозяин встретил гостя хмурым взглядом, но после того, как тот достал из-под полы однорядки глиняный кувшин и поставил его на скамейку, подобрел и промолвил:

— Я слышу, сегодня у тебя шумно на подворье. Всё думал, явишься или нет, но тут Юрий Иванович меня навестил, значит, точно явишься.

— Где он теперь?

— Юрий Иванович? Похлебал холодной ухи, чтобы остыть, а теперь, знамо дело, почивает в белом амбаре, там холодком потягивает от погреба. А тебя как, утомили шведы своими капризами?

— Шведы — люди спокойные, зазря и голоса не возвысят, не то, что клятые ляхи, из-за своего гонора перед собой пути не видят и ступают по людям.

Старик Свиридов покосился на кувшин, затем снял с него тряпицу и, перекрестившись, приложился и так бы, наверно, и опорожнил посудину, не отрываясь от неё ни на мгновенье, но по бревновому настилу послышались шаги грузного человека.

— Опять, Копылов, старика спаиваешь? — раздался голос подьячего Никифорова. — А ты, Матвей Силыч, оставь кувшин, да пойди закуси и поглядывай там, чтобы никто чужой в твой двор не забрёл, а то у тебя теперь здесь распивочная для посольских людишек.

Копылов встретил подьячего Тайного приказа Никифорова с почтением, в котором явно проглядывался страх, ибо Юрий Иванович ведал о всех проделках подьячего Посольского двора, но поглядывал на это сквозь пальцы, поскольку сделал из него своего тайного доверенного человека, доносившего ему всё, что случается на Посольском дворе. Копылов понимал, что Никифоров в любой час может подвести его под батоги, и трудился на ниве доносительства изо всех сил, и со временем так врос в свою двойную жизнь, что запрети ему Никифоров этим заниматься, то упал бы перед ним на колени с мольбой не лишать его возможности быть тайным соглядатаем.

— Как прошло пированьеце? — спросил Никифоров. — Поцапались шведы с нашими или разошлись мирно.

— Толковали друг с другом как родня. Адольф Эберс удовольствовал и стольника, и приставов добрыми подарками.

— И, конечно, тебя, — Никифоров подмигнул Копылову, который сразу потупился. — Да ты не смущайся, кто в наше время посулы не берёт? А что за незадача случилась с толмачом Юргенсом?

— Не к месту впал в запой, — сказал Копылов. — За него Гришка Котошихин первый день толмачил. Дьяк Алмаз на Юргенса крепко осерчал и грозится лишить его хлебных денег.

— Кстати, о деньгах. Шведы явились при деньгах?

— Скажешь тоже, Юрий Иванович, — улыбнулся Копылов. — За другим они явились.

— И за чем они приехали? — навострил уши Никифоров.

— Старик Жидовинов обмолвился, что шведы собрались взять с великого государя пятьсот тысяч рублей за мир в Кардиссе.

— Это пристав зря сделал, — сказал Никифоров. — Об этом никому балаболить не след. И ты, Копылов, всех, кто будет про эти полмиллиона болтать, бери на заметку. А свои у посольства деньги есть?

— Это когда у шведов деньги бывали? — удивился Копылов. — По их облику видно, что живут они в своей Свее голодно. Я ни одного справного в теле шведа не знаю, все тощие и борзые, ни у одного брюха нет.

— Эх, ты и голова, Копылов! — рассмеялся Никифоров. — А ещё в посольских подьячих служишь, а того не знаешь, что шведы себя блюдут, едят в меру и пьют в меру, а не обжираются и не обпиваются, как мы, грешные.

— У каждого народа свой скус, — сказал Копылов. — Вот нынче посла Эберса от жареной рыбы чуть насовсем не перекосило, а Жидовинов опустошил два блюда и не поперхнулся.

— Да ты, я погляжу, мудрец, — удивился Никифоров. — Послушал бы тебя, да часу нет. Ты не просмотрел, в чём шведы свою казну держат?

— Как можно! — всплеснул руками Копылов. — В комнате посла стоит железный ящик, в нём, ясное дело, все посольские бумаги и деньги.

— Замок не разглядел?

— А как же! Сегодня уронил на пол со стола ножницы, стал их поднимать и всё оглядел, даже в замочную скважину заглянул. А сам железный ящик сделан знатно, крышка сработана заподлицо, конского волоса не просунуть.

— Больше к ящику не подходи, — строго сказал Никифоров. — А как посольские люди промеж собой живут, нет ли какой свары?

— Пока тихо, но если среди них такое есть, то утаить нельзя, со временем всё выйдет наружу.

— Вот ты и держи это в уме, приглядывайся, прислушивайся.

— Да как, Юрий Иванович, прислушиваться? — удивился Копылов. — Я же по-свейски не кумекаю.

— Будет врать! Ты на дворе уже десять лет сидишь, у тебя за это время все коты должны понимать и разговаривать по-немецки.

— Я же не отказываюсь от пригляда за иноземцами, — обиженно вымолвил Копылов. — Но если я не горазд в языках, так это не моя вина.

— Ясно, что денег у шведов мало, — задумчиво произнёс Никифоров. — Стало быть, они пойдут проторенным путём: при нужде будут искать их в Немецкой слободе.

— Так немцы у посла в день приезда уже побывали, — сказал Копылов. — Явились вчетвером, три мужика и женка.

— Что ж ты об этом сразу не сказал? — осерчал Никифоров.

— А твоя милость этого и не вопрошал, — не испугался поддеть его Копылов. — Откуда мне знать, чем я должен тебя потчевать?

— Кто такие эти немцы? — сказал Никифоров. — Ты их знаешь?

— Только одного полковника Коля, он уже на Посольском дворе пировал с немцами, и они между собой устроили драку на шпагах.

— А что за женка побывала?

— Кто её знает, — пожал плечами Копылов. — Одно приметил, что полковник Коль не отпускал её ни на шаг, вроде как сторожил, и волком поглядывал на всякого, кто с ней заговорит.

Никифоров не стал дальше расспрашивать Копылова, он не хотел пропустить мимо себя Мишку Прокофьева, который уже давно помогал подьячему приказа Тайных дел приглядывать за всем, что вершилось в Посольском приказе. Для встреч со своим осведомителем у Юрия Ивановича была каморка в подклети царского терема с тайным в неё входом. Туда он и поспешил, наградив Копылова двадцатью копейками, из тех безотчётных пяти рублей, кои он получал от дьяка приказа Тайных дел Дементия Минича Башмакова.

Мишка Прокофьев нескоро вырвался из приказной избы, там, по случаю приёма великим государем шведского посольства, было шумно и суматошно. Переводчик затянул с переводом грамоты шведского короля, от этого дьяк Алмаз был крепко не в духе, к тому же его утомил окольничий Волынский, которому приспичило одному из первых вычитать королевскую грамоту, он уже видел себя главным переговорщиком и торчал в комнате думного дьяка весь вечер безвылазно.

— Зря ты себя утомляешь, Василий Семёнович, — говорил укоризненно Алмаз. — Грамота сделана начерно, после переводчика её перепишет для великого государя на лист Гришка Котошихин, потом сделает отдельную роспись и для тебя, но это дело нескорое. Приходи утром за ней, или лучше я тебе её на дом пришлю.

3

— Что за бумага у тебя в приказе, Алмаз? — сказал Алексей Михайлович, разглядывая на просвет начало столбца, который только что взял со стола. — Она же у тебя из торговых рядов. Я ведь год тому назад велел, чтобы на посольские дела брали бумагу не с торга, а из Казённого приказа, тогда почему так?

— Ты повелел, великий государь, подать тебе черновую запись наказа окольничему Волынскому на его съезд с Эберсом, — объяснил думный дьяк. — Такие записи в приказе делаются на торговой бумаге, кою закупили ещё до твоего повеления брать её в Казённом приказе. А чистовое письмо делается на лучшей бумаге. Позволь мне удалиться и переписать наказ на твоей бумаге.

— Стой здесь, — сказал Алексей Михайлович. — Для черновой записи и эта бумага слишком хороша. За бережливость хвалю… Вот все бы так, Фёдор, пеклись о государственной пользе, тогда бы мы не были нищи, как сейчас.

Окольничий Ртищев, оставшийся в Кремле после участия вместе с царём в литургии в Благовещенском соборе, согласно кивнул:

— Бережливость у нас никогда в чести не бывала, а нам следовало бы этому поучиться, хотя бы у шведов. Там ни одну соломинку без дела по ветру не пустят, у них всё идёт в дело на свою и общую пользу.

— Знал бы, Фёдор, что ты опять начнёшь меня огорчать своей правотой, то оставил бы в храме беседовать с протопопом, — обидчиво промолвил великий государь. — Чего не коснись, и всюду нам Европу выставляют в укор. А так ли она хороша? Что, там не переводят добро на дерьмо? Ужели там нагибаются за каждым упавшим с воза зёрнышком или клочком сена?

— Ты не поверишь, великий государь, но в Швеции так оно и есть, — сказал окольничий. — Шведы придумали себе заповедь Божию: быть во всём бережливыми, ибо в Библии сказано, что нельзя терять дары Божии.

— Это лютеранские бредни! — загорячился Алексей Михайлович. — Лютеране по-приятельски толкуют с Богом, забыв, что между ним и людьми есть Спаситель, явивший заповеди Божьи, а он совет со шведами не держал.

— Всё так, как ты изволил молвить, великий государь, — сказал Ртищев. — И тем не менее кукуйский пастор Соломон Фриче на каждой службе в кирхе возглашает, что тот, кто не съедает салаку с костями, должен считаться согрешившим против Бога.

— Хорош проповедник! — удивлённо вымолвил Алексей Михайлович и обратился к думному дьяку. — А ты, Алмаз, как смотришь на то, что шведы в своей бережливости дошли до поедания рыбы с костями!

— Спокойно смотрю, великий государь, — сказал думный дьяк. — Я ещё, когда ездил в Стокгольм договариваться о долге за корелов — перебежчиков, узнал, что у них обычай всё, что дадено, съедать без остатка. А недоеденное заставляют съедать утром.

— А вот это добрый обычай! — оживлённо молвил Алексей Михайлович. — Тут у шведов есть что перенять. Каждый день метельщики с торга гору объедков наметают, а после пиров, сколько всего остается? Но что делать? Я — великий государь — и не могу повелеть, чтобы на пиру всего наготавливали в меру. Слабость человеческая мешает, боюсь, что меня осудит людское мнение. А ведь если бережливость начать заводить на Руси, то государю надо начинать с себя и своего ближнего окружения. Тогда и дворянство за ним последует и купечество. А так, все мы моты, а я больше всех: шутка ли, по миллиону рублей в год разбрасываю, а, скорее всего, и больше.

— Твоя правда, великий государь, бережливости у нас мало, — огорченно вздохнул Ртищев. — Но любых шведов бережливее твои крестьянишки. Пожил бы, хоть год, самый терпеливый швед такой жизнью, как живёт на Руси мужик, то я не знаю, что от него осталось бы.

— Наш мужик не так уж и плохо живёт, — остановил своего ближнего человека Алексей Михайлович. — Речь о другом: ужели шведы через своё бережливство достигли Великодержавия?

— Как бы не так, — сказал Алмаз. — Ордин-Нащекин прав: шведы стравливают нас с ляхами, и того, кто ослабнет, бьют. А потом деньги с него требуют, так и живут нашей глупостью.

— Нет, этого они не сами достигли, — значительно вымолвил великий государь. — Это им лукавый помог возвыситься за то, что они отвернулись от заповедей Спасителя в сторону скаредности и сверзились в лютеранство. Вот теперь мы оказались им

должны. А почему? Потому что ослабели от многолетней войны. Да и с медными деньгами обмишулились.

Алексей Михайлович, произнеся последние слова, бросил укоризненный взгляд на Ртищева, и тот потупился. Но для дьяка Алмаза на первом месте было не обесценивание денег, а посольское дело, и он не дал вниманию царя отклониться в сторону.

— Переговоры Ордин-Нащекина во Львове с поляками закончились неудачей. Ляхи на мир не пошли, они всё ещё питают надежду вернуть себе и Малороссию, и Смоленск, заигрывают с османами, а те насылают на наши южные уезды крымских татар. Но мы можем использовать встречи Афанасия Лаврентьевича с королем Казимиром в свою пользу.

— Это, каким образом? — печально сказал Алексей Михайлович. — Наша неудача шведов обрадовала, и теперь их запросы к нам возрастут.

— Есть, великий государь, задумка пустить среди наших немцев слух, что Ордин-Нащекин только сделал вид, что не поладил с ляхами, а сам с ними обо всём столковался и на будущий год назначен съезд русских и польских послов, где и будет подписан вечный мир. Когда Эберс об этом проведает, то даст знать в Стокгольм, и там задумаются, стоит ли на нас наседать с требованиями денег.

— Ты думаешь, нам удастся задурить этим шведов? — засомневался Алексей Михайлович. — У них среди поляков много осведомителей, и они сразу раскусят нашу затею.

— Раскусят, да не совсем, — твёрдо сказал думный дьяк. — Канцлера точно начнут одолевать сомнения: а вдруг русские с поляками и впрямь замирятся. А слух надо пустить не только среди наших немцев, но и среди тех, кто на Москве проездом, те быстрее донесут до Стокгольма, что Россия и Польша возмечтали объединиться против шведского Великодержавия. Пусть князь Хованский начнет говорить это прилюдно, ему, думаю, шведы поверят.

— Ещё как поверят, — смутился великий государь, — когда я сам его прилюдно дураком назвал, о чём сейчас раскаиваюсь.

— Не печалься о сем, великий государь, — сказал Ртищев. — Хованскому, кроме тебя, некому было объявить, что он дурак, а от тебя он узнал о себе полную правду.

— Поговори, Алмаз, от моего имени с князем или с кем другим, кого выберешь. Но если кто откажется участвовать во вранье, ты его не неволь. Я в этом греховном деле понуждать никого не буду.

— Тогда позволь перебелить наказ окольничему Волынскому? — сказал Алмаз. — Он рвётся в схватку. И скажи, сколько денег он может обещать Эберсу?

— Ты его, Алмаз, держи на коротком поводке, — решил Алексей Михайлович. — И не спускай на шведа, пока он весь наказ не выучит назубок. А сколько денег можно дать шведам, я ещё и сам не знаю. Правильнее было бы их совсем не давать, но раз обещали, надо платить, только вот беда: кошель-то у меня пуст.

Думный дьяк взял черновик наказа с правками царя со стольца, поклонился и вышел из комнаты, за ним засобирался уходить Ртищев, но царь его задержал:

— Останься, Фёдор, — царь прошёлся взад-вперёд по комнате, остановился и мягко глянул на окольничего. — Тебе последний год не часто икалось?.. До чего бывает порой глупа людская молва, да и существует ли умное народное мнение?.. Что скажешь?

— У народа есть своя правда, по ней он живёт, и по ней обо всем судит. А хороша ли эта правда, умна ли, про то ведает только Бог.

— А тебе известно, Фёдор, что люди тебя винят в своих бедах?

— Меня? — поразился Ртищев.

— Они уверены, что это ты подбил меня на чеканку медных денег вместо серебряных. А ведь в этом народном мнении нет ни на грош правды. Если в чём ты и виноват, так в том, что не остановил меня, когда я повелел закрыть серебряный денежный двор, и оставил одни медные деньги.

— Я на людей не в обиде, — сказал Ртищев. — Они часто не ведают, что творят. Пусть меня винят, лишь бы от этого им было легче. Сейчас надо не о старом думать, а как от шведских запросов отбиться.

И действительно от претензий Швеции к России можно было только отбиваться, потому что денежное дело находилось почти в безысходном положении. Начало упадку было положено в 1655 году, когда после двух лет победоносной войны с Польшей, потребовавшей напряжения всех сил государства, вдруг

выяснилось, что ратным людям платить стало нечем, и тогда в какой-то уверенности, что Речь Посполитая будет скоро разгромлена и возместит все убытки России, было принято решение, в котором впоследствии обвиняли Ртищева, закрыть денежный серебряный двор и начать чеканить деньги с тем же номиналом, но уже медные. Поначалу ничто не предвещало беды, русские уже долгое время пользовались деньгами, которые не имели правильного соотношения веса монеты и отчеканенной на ней стоимости. Эта привычка пользоваться монетами как кредитками, то есть изобретенными только через сто лет бумажными деньгами, долгое время поддерживала устойчивость денежного рынка. Гарантией надёжности денег был авторитет русского самодержца, но вскоре нашлись люди, которые увидели в разнице цены на серебро и медь возможность неслыханно обогатиться.

Денежные мастера, доселе бывшие людьми среднего достатка, вдруг разбогатели, разодели жён по-боярски и брали товары в рядах, не торгуясь. Падкими на бессовестную наживу оказались даже известные московские гости, приставленные надсмотрщиками медного дела. Разница в стоимости медных и серебряных денег быстро росла, и к 1663 году медь стала дешевле серебра в двенадцать раз, что вызвало бешеный рост на товары первой необходимости и привело к возмущению, а затем к бунту московского простонародья.

В июле 1662 года, когда царь жил в подмосковном селе Коломенское, мятежная толпа подступила к Алексею Михайловичу и потребовала от него учинить суд над виновниками народного обнищания. Страсти скоро накалились, и государь крикнул стрельцам, которые кинулись на людей, и началось повальное избиение и виновных, и любопытных, кои пристали к бунтовщикам случайно. Свирепый розыск по этому делу закончился казнью нескольких тысяч человек, но денежную систему страны это не спасло, и в середине июля 1663 года, как раз в то время, когда в Москве появился шведский посол Эберс, царь своим указом повелел денежные медные дворы в Москве, Новгороде и Пскове отставить, а в Москве открыть серебряный денежный двор. Однако привести в порядок русские финансы могло только прекращение войны с Польшей и ликвидация угрозы со стороны Швеции. Умиротворить последнюю могло только соглашение о выплате компенсационных сумм, величину которых надо было определить в ходе переговоров.

— Будем предлагать шведам взять от нас рожь, ячмень, пеньку, можно часть деньгами отдать, но войны допустить нельзя, — сказал Алексей Михайлович, провожая окольничего. — А ты, Фёдор, позови Эберса к себе в гости. Он, говорят, знающий человек и от романеи не отказывается. И по гостям любит бывать.

Великий государь угадал: в нескольких верстах от Кремля за Яузой въезжала в Кукуй карета шведского посла, который, получив разрешение выезжать из Посольского двора невозбранно, воспользовался им, чтобы посетить своих соотечественников и оглядеть их житьё-бытьё в московской глухомани, о коей в Европе бродили самые ужасающие слухи. Немцы о приезде посла были извещены, и, когда он подъехал к полосатой жерди, преграждавшей въезд в слободу, сторож его опознал и, пропустив Эберса, трижды ударил в железное било, что было знаком, предупреждающим кукуйцев о появлении в их поселении важного лица.

Новая Слобода своим видом напомнила одно из стокгольмских предместий, где жили чиновники, офицеры и купцы. Аккуратные островерхие дома с неизменным цветничком и несколькими фруктовыми деревьями перед окнами, замощённые камнем тротуары, плотно укатанная песчаная проезжая часть.

«Здесь, в Кукуе, — подумал Эберс, — наглядно показано наше превосходство перед московитами. Их храмы великолепны, царские дворцы превосходны, но даже бояре живут в избах, которые отличаются от мужицких только размерами и дымовой трубой над крышей».

Извещенные ударами била о появлении важной особы обитатели слободы проявили неосудительное любопытство и стали высовываться из окон домов, а некоторые выходили из ворот и чинно раскланивались с Эберсом, а затем сходились в кучки и обсуждали постигшее их событие и как оно отразится на безмятежном течении их жизни.

В доме Якова Блуме всё было готово к встрече стокгольмского гостя, и когда купца оповестили о его приезде, то он, одетый во всё чёрное, взял чёрную шапку и вышел на улицу. Посол приехал на паре белых венгерских коней, которые ему дали в Конюшенном приказе, в своей карете, и его сопровождали советник и секретарь посольства. Блуме, обнажив голову, их приветствовал, затем сел в карету, с которой, по случаю летней

жары, был снят верх, и они направились к кирхе, где посол возжелал помолиться, выслушать проповедь и показаться кукуйскому народу, всем сразу.

Кирха была выстроена недавно, из неё ещё даже не выветрился запах краски, здесь было довольно много места для молящихся, кои восседали на длинных дубовых скамьях, имея посередине проход к алтарю и кафедре, откуда пастор возглашал еженедельную проповедь, выбирая поучительные примеры чаще из Ветхого Завета, чем из Евангелия, что было понятно: купцам, ремесленникам и наёмным солдатам была ближе суровая вера ветхих иудеев, чем слова любви и спасения, возглашённые Иисусом Христом, даже для тех, на кого лютеране глядели как на стадо, дарованное им провидением для их нескудного пропитания.

Эберс и его спутники были встречены лёгким шёпотом и шелестом платьев немецких женок, которые зашевелились и запривставали с мест, чтобы рассмотреть посла, о мужественной красоте которого уже судачили на Кукуе усталые от безделья супруги немецких офицеров, коим по случаю войны недоставало внимания мужей, отправленных с полками против турок. Купцы и ремесленники были погружены в чтение псалмов из молитвенников, которые они держали перед собой, и на посла взглянули искоса и мельком, чтобы не прерывать своего почтенного занятия: торговые люди кичились друг перед другом своим религиозным рвением с тем же пылом, как и своей мошной.

Для гостей в правой стороне помещения перед кафедрой были приготовлены стулья с мягкими сидениями, на которые они и уселись. Эберс вынул из кармана кафтана молитвенник и погрузился в созерцание развёрнутых страниц. Его примеру последовал Яков Блуме, успевший перемигнуться с Генрихом Крузе и понять, что купец придёт на пированьеце, которому предстояло быть после церковной службы.

Пастор Соломон Фриче выбрал для проповеди знаменитую притчу о низвержении Голиафа Давидом и с большим жаром поведал прихожанам о схватке, в которой победил не сильный, а более увёртливый и догадливый. Голиаф был представлен пастором как необузданное жестокое чудище, которого, как и московита, нужно всегда держать на привязи и в шорах, а Давид, в его изложении, явился умным и дерзким лютеранином, коему

вся земля и всё, что её населяет, отданы богом, изобретённым Лютером и Кальвиным, в полное и бессрочное владение. При этом, даже впав в горячечное состояние от многоглаголения, пастор не забывал с высоты кафедры взглядывать на Эберса, и многие поняли, что Эберс и был тем Давидом, коему надлежало поразить ослиной челюстью страховидного Голиафа во время переговоров в Кремле.

После службы многие почтенные кукуйцы поспешили к Эберсу и были ему представлены вместе с супругами. Посол для каждого находил приветливые слова и произвёл выгодное впечатление даже на датчан, с коими шведы крепко враждовали и бились на море и на суше. Купцы имели жён из своего круга, почтенных хранительниц домашнего очага, а вот у офицеров почти все супруги явились из служанок кукуйских купчих, особ ветреных и сластниц, они затевали между собой свары, но Сельма не принадлежала ни к тем, ни к другим: племянница видного негоцианта Крузе, она в своё время возбуждала много слухов, но выйдя замуж за геройского полковника Коля, встала на такую высокую ступеньку общественного положения, что к ней уже было не дотянуться худой молве.

Полковник Коль был озабочен привычной грустью ратного человека, которому надо по делам службы покинуть молодую и хорошенькую жену, чтобы ехать к своему полку в Тулу, по велению великого государя, переданного ему начальником Разрядного приказа боярином Юрием Ромодановским. Расставаться с Сельмой нужно было немедля, все находившиеся в кирхе офицеры были одеты по-походному, денщики неподалёку держали осёдланными их лошадей, а они прощались с родными и близкими. Полковник, сдержав обуревавшие его ревнивые чувства, мужественно простился с Сельмой кивком головы, со щегольством бывшего императорского гусара сел на коня и, отсалютовав супруге шпагой, не оглядываясь, порысил к мосту через Яузу.

— Как хорошо, что царь избавил нас от необходимости терпеть присутствие этого напыщенного болвана в своём обществе, — тихо сказал Блуме послу и улыбнулся Сельме. — Приглашаю вас сударыня стать хозяйкой пированьеца, которое я даю в честь своего друга, королевского советника Адольфа Эберса.

Хорошенькое личико Сельмы озарила лукавая улыбка, она слегка поклонилась и прощебетала с чувством, от коего Эберсу вдруг захотелось приплясывать:

— Почту за честь, ваша милость, доставить вам это удовольствие.

Блуме усовершенствовал к приёму Эберса место в саду, где обычно устраивал застолье, и воздвиг дивно изукрашенный деревянный терем в духе русских сказок. Увидев сие чудо, посол не смог сдержать своего изумления:

— В столь волшебном месте мне еще не приходилось бывать!

— Среди русских мужиков, — объяснил Блуме, — есть такие искусники, что одним топором могут сотворить из дерева шемаханшатер. Я рад, что тебе понравился мой приёмный домик. Сельма! Отлепись от своего дяди Генриха и будь хозяйкой, оцени закуски и вина. А вы, господа, — обратился он к помощникам посла, — если желаете, можете насладиться табаком: у меня есть разные табаки — для курения, для щекотания ноздрей и прочищения рассудка, а вот — турецкие кальяны, коими можно табак пить через воду.

Советник и секретарь посла оказались заядлыми курильщиками, они ухватились за кальяны и стали гонять пузыри табачного дыма через воду, поглядывая сахарными взглядами на Сельму, которая взялась, с помощью слуги, переставлять на столе блюда и бутылки, как ей хотелось, освобождая место для вазы с красными и белыми гладиолусами, выращенными на кукуйской земле из луковиц, привезённых Блуме из Голландии, в коей они ходили наравне с золотыми и серебряными гульденами.

— Какая прекрасная неожиданность! — воскликнул Эберс. — Дорогой Яков! Я желаю, чтобы на столе переговоров перед сизым носом любителя ставленых медов окольничего Волынского стояли эти цветы.

— Ужели, Адольф, ты думаешь, что на него произведет впечатление твоя уловка? — рассмеялся Блуме. — Цветы хороши, чтобы растрогать дам, но даже они, и Сельма тому пример, предпочитают розам вполне прозаические риксдалеры.

— Ты, Яков, купец и не понимаешь, что Волынский от вида гладиолусов возле своей прокисшей бороды придёт в смятение и станет гадать, зачем это сотворено, и начнёт метаться, а мне и надо вывести его из равновесия, пусть задумается, а думать московиту всё равно, что выпить ковш водки, голова сразу пойдёт кругом.

— Теперь я вижу, что твоя задумка не так уж и глупа, — сказал Блуме, увлекая за собой посла. — Пойдём, я покажу тебе всё свои гладиолусы. А может, подсунуть под нос московиту розы?

— Розы он знает, а вот гладиолусы явно не видел и сочтёт их за шведское колдовство.

Цветник занимал в саду немца немного места и был открыт солнечному свету, земля в нём была удобрена, разрыхлена и в меру полита водой. Блуме взял садовые ножницы и срезал три розы — белую, красную и чёрную, и подал их Эберсу. Тот их поднёс к лицу и восторженно задышал.

— Розы даны человеку, — вымолвил он, — как намек о том, что существует рай.

— Я вижу, — улыбнулся Блуме, — что ты не оставил поэзию. Ужели дипломатия не охладила насквозь твою душу?

— Среди нас поэты совсем не редкость. Даже канцлер Де ла Гарди не гнушается виршеплётства на латыни. Университетские профессора его сочинения хвалят.

— Он, наверно, тебе наказ, как переговариваться с русскими, составил в рифму? Жаль, дьяк Алмаз не читал Петрарку, а то сочинил бы Волынскому, вместо наказа, мадригал, — сказал, усмешливо поглядывая на посла, Блуме.

— Спасибо, Яков, что ты спустился с поэтических небес на землю. — Эберс оглянулся и стал говорить потише. — Я приехал за тем, чтобы выжать из московитов как можно больше денег. Они, конечно, станут юлить, чтобы снизить сумму выплаты, но у меня есть чёткий приказ канцлера — без денег из Москвы не выезжать.

— Что ж, эта поэзия денег мне знакома, — усмехнулся Блуме. — Но сейчас денег у русских нет, и скоро их не предвидится. Страна разорена войной и финансовым крахом от замены серебра медью.

— Ты думаешь, Стокгольм так же богат, как Лондон? — помрачнел Эберс. — Великодержавие дорого стоит, чёрт бы его побрал! Даже я, королевский советник, иногда задумываюсь, а по себе ли мы воз тянем? Зачем нам гнилое невское устье с ижорой? Может надо отдать его царю, пусть он там построит амбары для хлеба, сала, пеньки, заведёт пушной торг, а мы давали бы ему свои корабли, стали посредником в торговле, и от этого богатели?

— Ты доводил своё мнение до канцлера? — поинтересовался Блуме. — Как купец я этим мыслям рад, но воспримет ли

их дворянство, если ты им запретишь размахивать саблей и заставишь торговать?

— Вот и мне это самое изволил сказать господин канцлер. Оставь свой прожект дома, велел он, и поезжай к московитам за деньгами. Ты, дескать, жил на Москве, знаешь все их хитрости, а свой прожект сдай в архив коллегии иностранных дел для обозрения его потомками. Но сейчас мне надо знать, что делается в Посольском приказе, какой наказ даден Волынскому и до какой суммы ему позволено держаться со мной на переговорах.

— И ты, Адольф, желаешь, чтобы я выведал главный переговорный секрет русских? — вопросил Блуме, окидывая посла острым взором. — Знаешь, я как-то не пылаю желанием оглядеть Красную площадь с Лобного места.

— Но ты же мне писал, что Котошихина можно использовать в наших интересах. Вот и поговори с ним без свидетелей. Пусть доставит мне наказ самый настоящий, какой будет подписан дьяком Алмазом, а не список с него, хоть и на александрийской бумаге.

Блуме задумчиво прошёлся по дорожке вокруг цветника; Эберс заговорил о самом главном, от чего купец отказаться не мог: шведское правительство, зная об его симпатиях к Стокгольму, устраивало ему продажу мушкетов по заниженной цене, что благоприятствовало торговым оборотам немца.

— Ты, Яков, полагаешь, что Котошихину будет не по силам это сделать? — сказал посол. — Излишний риск не нужен.

— Гришка, как всякий московит, непредсказуем. Он бесспорно умен, даже талантлив, но в его характере нет ни одной черты, которую можно было бы назвать главной, всё в нём переплетено в пестроту, поэтому он часто идёт на поводу внезапно возникшего чувства с пустым рассудком. Поэтому с Гришкой риска не избежать.

— В своего православного Бога он верит? — поинтересовался Эберс.

— Я, сколько ни приглядывался к вере московитов, плохо её узнал, но думаю, что они своего Бога боятся. От Гришки я никогда о Боге ничего не слышал. Видимо, он из-за пестроты своей жизни о нём забыл, и, стало быть, не боится.

— Котошихин не совсем надёжен, но другого человека у нас нет,— сказал Эберс. — Надо так обставить его со всех сторон, чтобы он не покачнулся. Обещай ему деньги… что-нибудь ещё…

— У нас есть, дорогой Адольф, для Гришки такое, против чего он не устоит, — решился открыть свой секрет Блуме. — Не только не устоит, но и забудет своих детей!

— Что это за приманка такая? — обрадовался Эберс. — Не тяни, Яков, открой.

— А вот она, — сказал Блуме. — Помахивает ручкой, зовёт нас к столу.

— Значит, это Сельма…

— Он уже два раза подрывался на ней, как на пороховой бочке, — самодовольно сказал Блуме.

— А как же полковник Коль? — спохватился Эберс.

— Не всю же Сельму заберёт себе Гришка, что-то, да и полковнику останется, — рассмеялся купец. — У нас на Кукуе чуть война не случилась из-за Сельмы между ратными иноземцами. Многие хотели её получить, кто в жены, кто на ночь. Хороша штучка, но всегда разорительна: и любовнику, и мужу.

— Ты меня, Яков, раззадорил, — хихикнул Эберс. — Пойдём, преподнесём Сельме три розы. А ты тем временем шепни мне, как она? Ты ведь это знаешь, по ухмылке вижу, сластник!

4

Пламя свечи в железном светце запомаргивало, и Гришка, торопливо дописав строку, бросил перо в лыковый короб для мусора, который всегда оставался после писчей работы. В окне было беспроглядно темно, и он заторопился, уже почти все служилые люди разбежались по домам, и уходить последним считалось в приказе почему-то плохой приметой. Гришка взял в руку однорядку, надел шапку и загасил свечной огарок. В длинном коридоре все двери комнат были притворены, и лишь из одной пробивался блеклый свет. Гришка заглянул в комнату: боком к двери на узкой и короткой скамье сидел и поскрипывал пером по бумаге Савка, писчик, так и не выбившийся, из-за неумеренного пития хмельного, в подьячие, и служивший в приказе лишь по милости дьяка Алмаза, которому он приходился по жене дальним-предальним родственником.

— Что, опять привязали к скамейке? — сказал Котошихин, сочувствуя его беде. — Может чего надо?

— Гришенька, милок, тебя сам Господь послал! — возрадовался Савка. — А я уже впал в уныние, думал, что все наши разошлись и оставили меня погибать в сухости.

— За вином не побегу, — сказал Котошихин. — А воды дам. Может, тебя освободить от верёвки?

— А как я утром себя завяжу? Нет, ты мне по-другому подсоби.

— Это ж как?

— В углу за мусорным коробом винцо припрятано, — затараторил Савка. — Ты мне его подай, а из сумы возьми хлеб, чеснок и сало и положи на стол, я сам к ним дотянусь.

— Стало быть, без меня ты бы погиб, — усмехнулся Гришка, доставая из-за мусорного короба кувшинец, в котором что-то плескалась. — Что ж ты сам на скамейке не доскакал до угла и не взял вино?

— Я скоро тридцать годов, как её объезжаю, да всё не могу, — хихикнул Савка. — Уж больно норовистая кобыла. Или ты этого не знаешь? Неловко покачнёшься и сверзишься на пол, и будешь лежать до утра, пока сторож приказ не откроют. А ты не торопись, отхлебни от кувшина.

— И ты мне веришь, — сказал Гришка, — что я тебе оставлю?

— Я людей вижу, — вздохнул Савка. — Ты — добрый человек, только счастья тебе, как и мне, не видать.

— Спасибо на добром слове, — сказал Гришка и направился к двери. — Ты сейчас истинную правду молвил — оба мы бедолаги.

На просторном крыльце приказной избы его окатило сильным порывом ветра, в котором было много дождевых капель. Гришка похвалил себя за то, что прихватил однорядку, одел её, спустился по ступенькам и припустил скорым шагом в сторону дома. Однако далеко ему уйти не удалось, на выходе из Фроловских ворот под дощатом навесом его поджидал Мишка Прокофьев. Он был весел, хмелен и прилипчив.

— Куда торопишься, Гришка? — искательно заговорил Прокофьев. — В такую непогодь надо службу кабаку совершать, а не месить московскую грязь.

— А тебе что домой не идётся? — отстранился от него Котошихин.

— Всё та же, что и всегда, причина: два рубля за пазухой душу жгут, торопят её в кабак. Вот я и вспомнил, как мы с тобой оба два кабаку служили.

Однако Гришка за последнее время стал вести себя осторожнее, и не из-за того, что взялся за ум да за бабий подол, но почувствовал вокруг себя нехорошую возню и постановил избегать застолий, хотя бы на время.

— Тебе, Мишка, веселье, а у меня беда дома.

— Какая беда? — живо сказал Прокофьев.

— Конь на обе передние ноги захромал.

— Вон как! — воскликнул Мишка и тут же нахмурился. — Откуда у тебя конь, у тебя же его не было?

— Не было, да стало! — лихо соврал Котошихин. — Родитель привёл в подарок, а теперь я с ним маюсь.

Прокофьев глядел Гришке вслед с чувством человека, которого обманули и обокрали. Он получил от дьяка Никифорова двадцать алтын, чтобы угостить Котошихина в кабаке и понудить его в пьяном виде на какое-нибудь неосторожное признание, но дело сорвалось. Прокофьев потоптался ещё некоторое время под навесом, поостыл от злости и резво побежал в кабак спустить дармовые деньги, не думая о том, что Никифоров может потребовать с него за них отчитаться.

Пользуясь малолюдьем и тем, что улица свободна от возов и всадников, Котошихин скорым шагом спешил к сторожевой заставе, чтобы через неё пройти к своему дому, но, видимо, сегодня ему было не суждено спать на своей лавке. Дорогу перегородил человек в длинном, до пят, балахоне, и схватил Гришку за рукав однорядки. Котошихин встал, как вкопанный, и обезножел от страха.

— Не трясись! — услышал он голос с немецким выговором и, приглядевшись, узнал приказчика Якова Блуме. — Тебе кланяется хозяин и просит в гости.

— Когда прийти? — сказал Гришка осевшим от пережитого испуга голосом.

— Когда как не сейчас, — ухмыльнулся приказчик. — У хозяина и стол накрыт, и гости созваны, вот тебя только нет.

— Может, я завтра к нему явлюсь? — сказал Котошихин, чувствуя, как ноги сами понесли его вслед за немцем.

«Ведь я как-нибудь в этом проклятом Кукуе пропаду совсем» — ощущая в душе нарастающий порыв отчаяния, подумал он, влезая в закрытую со всех сторон карету.

Колёса некоторое время постукивали на бревновом настиле улицы, вскоре карету стало потряхивать на ухабах, затем она пошла, покачиваясь, по наплавному мосту, и Гришка перестал озираться по сторонам и оглядываться. С лёгкостью, присущей почти каждому русскому человеку, он подумал, что страхи, вспыхнувшие в нём, пусты, и всё обойдётся самым лучшим образом. «А что, если немец, — возмечтал Гришка о безвозвратно утраченном, — подманит для меня Сельму…»

Возле дома Блуме приказчик первым вышел из кареты, проглядел и прослушал улицу, затем подхватил за рукав Гришку и быстро повлёк его за собой во двор. Громадный чёрный пес молча к ним кинулся и сразу отскочил в сторону, Гришка не успел его напугаться и страх почувствовал уже на крыльце.

Приказчик подтолкнул Котошихина в прихожую, он перешагнул порог, и тотчас столкнулся с Блуме, который распахнул свои объятья и кинулся обниматься.

— Не могу и сказать, Григорий, как я рад тому, что ты откликнулся на мой зов! — сказал Блуме, провожая гостя в ярко освещённый зал, где стоял богатый стол, вокруг которого находились три стула.

— С чего мне отказываться? — сказал Гришка, гадая, для кого предназначен третий стул. — Мы не в обиде друг на друга.

— А я, признаться, если на кого и в обиде, так на думного дьяка Алмаза, — сказал Блуме, заботливо усаживая гостя за стол.

— За то, что Алмаз не внял предложению извести борзописца и печатника? — с лёгкой усмешкой осведомился Котошихин.

— Нет, за другое я обижен на дьяка: не видит он, что за человек у него под началом, держит в подьячих, когда ему давно пора побывать дьяком в посольстве или стать дьяком в самом приказе.

— О ком это ты, Яков, печёшься? — нервно хихикнул Гришка, который был на ласку падок, но без привычки к лести, отвечал на неё грубоватым смущением.

— А кто из подьячих Соборное Уложение выучил? Кто к немецким языкам имеет пристрастие? Не ведаешь такого человека? Тогда испей, Григорий Карпович, доброго вина и подумай.

Немец на вино и закуску не поскупился, но одно блюдо сразу привлекло к себе Котошихина вкуснейшим запахом и, опрокинув в рот чарку, он потянулся к нему двузубой вилкой.

— Бери, Григорий, и не ошибёшься: это колбаски по-берлински.

Котошихин, причмокивая от вкусности блюда, съел одну колбаску и, распробовав, отправил в рот ещё три штуки. Блуме за это время успел подлить и пригласить выпить своего гостя ещё две чарки водки и затем вернулся к прерванному разговору:

— Конечно, ты догадался, что хвалю я тебя, и ты, точно, лучший подьячий в приказе, только дьяком тебе никогда не быть.

— Это почему же? — вскинулся Гришка, но под острым и насмешливым взглядом немца сник и потупился.

— Я никогда не понимал одну сторону русских порядков, — сказал Блуме и достал ящичек из полированного дерева с крышкой. — В Московии непостижимым образом сберегают дураков и лентяев, а первыми наказывают людей умных и знающих. Вот и того подьячего били палками, я думаю, не за то, что он допустил дурацкую описку, а за то, что он на две головы выше всех других в посольском приказе.

Блуме взял ключ и стал им что-то в ящике накручивать. Раздался негромкий щёлчок, крышка приподнялась и открыла взору игрушечный зал, где находились близ друг друга дамы и кавалеры. Затем послышалась приятная слуху танцевальная музыка и куколки стали танцевать. Гришка, оглушённый словами немца, глядел на красивый кусочек чужой и недоступной ему жизни.

— Может, Яков, ты и прав, — сказал, отч–тливо выговаривая каждое слово, Котошихин. — Моя беда в том, что я родился в России…

— Не надо, Григорий, о грустном! — воскликнул Блуме. — Как это говорят на Москве: за одного битого двух небитых дают? Так, да? Тебе надо узнать Европу, там другая жизнь, чем здесь, и ты только там сможешь обрести положение, равное своему уму и способностям.

— Кукуй чем не Европа? — усмехнулся Гришка. — А я здесь тайком бываю. А как я попаду, хотя бы в Ревель, даже в Нарву?

— У тебя, Григорий, есть счастье завести себе надёжного и влиятельного покровителя, — сказал Блуме. — И сейчас он в Москве.

— Это господин Эберс, — догадался Котошихин. — Разве он что-то сможет для меня сделать?

— Очень даже многое, — сказал, приблизившись к гостю и бережно взяв его за руку, обрадованный близостью удачной развязки разговора, хитрый немец. — Господин Эберс обещает тебе свою поддержку, если тебя поманит в Европу, но и ты сделай ему добро, за которое он расплатится немецким серебром.

Гришка сглотнул сухой комок в горле и задышливым шёпотом вымолвил:

— Что ему надо?

— Наказ великого государя окольничему Волынскому на переговоры со шведами.

Гришка мотнул, как конь в жару, головой и потянулся к водке. Налив полную чарку, он опростал её одним резким движением и, шумно выдохнув, пробормотал:

— Это мне верная дорога на плаху.

— Что ты такое говоришь? Какая плаха? Ты на Москве полжизни прожил, так умей извернуться, не мне тебя учить.

Гришка, не отвечая, подошёл к игрушечному театру и наклонился, разглядывая фигурки.

— Конечно, дело тебе предстоит непростое, — сказал Блуме. — Но разве сейчас ты живёшь без страха, что во всякий миг за какую-нибудь безделицу тебя оголят и начнут бить до полусмерти, не жалея палок?

Котошихин оторвал взгляд от театральных фигурок и устремил его на немца. Тот смутился, приметив, что глаза гостя вспыхнули огоньками, а рот скривился в усмешку:

— Ты меня, Яков, попусту жалеешь, и я всё жду, когда ты заговоришь со мной по-купечески, — на Котошихина накатил дурашливый стих. — Эберс обещает поддержать меня, если я окажусь в Европе, пусть так. Дальше, он обещает деньги — это самое коренное условие, но ты ведь знаешь, что не могу без сладости, которую когда-то распробовал с твоей помощью. Но она теперь за спиной полковника Коля.

У Блуме отлегло от сердца, и он упрекнул себя за то, что ходил вокруг да около Котошихина, а московиту, как быку нужна корова, так за этим дело не станет.

— Этот болван Коль тебе не помеха, — сказал Блуме. — Его царь отослал к солдатскому полку в Тулу, и Сельма готова к тому, чтобы ты её развеселил.

— Где она? — сказал Гришка и обвёл помутневшими глазами зал. Затем он приподнялся со стула и вострепетавшими ноздрями шумно вобрал полную грудь воздуха.

На следующий день Блуме смог оторвать Гришку от Сельмы только близко к полудню. Любитель немецкой сладости за ночь спал с лица, потускнел, но глаза у него сыто поблескивали.

— Говори, как и что надо сделать? — сказал он, подбирая с пола разбросанные сапоги и натягивая их на ноги.

— Эберсу надо наказ Волынскому, но не список с него, а заученный дьяком Алмазом. Это тебе, надеюсь, по силам? — Блуме требовательно глянул на Котошихина.

— Что ещё надо? — хрипло сказал Гришка, берясь за ручку двери, чтобы её открыть.

— Наказ принесёшь ко мне, сразу как он попадёт тебе в руки.

— Добро, — сказал Гришка. — Жди, я с этим делом не задержусь.

Добрый лютеранин Блуме, проводив Гришку, пошёл в свои покои и, взяв молитвенник, вознёс хвалу Господу за помощь, кою тот оказал ему в опасном и хлопотном деле. Затем он велел приказчику оседлать коня и, взбодрившись кофе, отправился на Посольский двор к шведскому послу.

Дьяк Алмаз еще не вернулся в приказ с заседания Боярской думы, и опоздание Котошихина углядел благоволивший к подьячему Дохтуров.

— Ты случаем вчера не служил бесову обедню кабаку? — вопросил он, цепко вглядываясь в помятое лицо Котошихина.

— Хвораю ещё с вечера, Герасим Семёнович, — преданно глянул в глаза дьяка Гришка. — Знобит и голова кругом идёт.

Дохтуров приблизился к подьячему, повёл носом и проворчал:

— Нажрался чесноку.

— Мне бы отлежаться пару дней, и я бы выздоровел, — жалобно вымолвил Гришка.

— После смерти все належимся, и ты тоже, — дьяк был явно чем-то взбудоражен. — Я дьяку Алмазу про твою задержку с приходом в приказ не скажу, но ты ступай в казёнку и разыщи шведские отписки, в коих они подтверждают верное получение от России хлебной помощи.

— Когда же это было? — навострил уши Гришка, у которого после разговора с Блуме, появился обострённый интерес к любым делам, касающимся Швеции.

— Кажется, началось это в тридцатом году и длилось лет десять, — сказал Дохтуров. — Прогляди всё как надо.

— Это ведь Волынский затребовал? — догадался Гришка.

— Ступай в подвал! — повысил голос Дохтуров. — Не твоего ума дело, кто затребовал. И помалкивай!

Коридор приказа был пуст, Котошихин остановился возле двери дьяка Алмаза и легонько потянул на себя. От её скрипа Гришка весь покрылся пупырышками озноба и, переведя дух, заглянул в комнату, отыскал глазами деревянную полку, на которой думный дьяк хранил бумаги посольств, действовавших в настоящее время. Увидел и наказ, исполненный им собственноручно для государевых нужд и заверенный подписью Алмаза Иванова.

Услышав скрип закрываемой двери, Котошихин уже не испугался, а злорадно подумал, что этот скрип слышат и бывавшие в приказе иноземные посольские люди, и, возможно задаются вопросом, а каковы на самом деле порядки в русском царстве, если никому не придёт в голову сделать так, чтобы дверь в комнате начальника Посольского приказа не кряхтела и не повизгивала.

Это злорадство по поводу негожих русских порядков вспыхнуло в Котошихине не впервой. Его пытливый ум уже давно стал делать сравнения между тем, что было в Европе и тем, что творилось в России. Поначалу он искал и находил оправдания русскому безурядью, затем, видя отсталость во всём и чванство перед иноземцами, Гришка начал подумывать, что судьба его крепко обидела, наградив столь негодным Отечеством. Вначале это были редкие и столь страшные мысли, что он от них прятался в храме, произнося слёзные слова покаяния. Затем, поскольку Бог ни разу не взглянул в Гришкину сторону, всё чаще стал ударяться в пьянство, и винопитие помогло ему со временем заиметь стойкое равнодушие к Отечеству, и он перестал горевать над русскими бедами, ибо не считал их своими.

Посему Яков Блуме крепко ошибался, считая, что одни только прелести Сельмы полностью затмили Гришке разум, и ради мягкой и податливой девки он согласился исполнить просьбу Эберса. Котошихин был готов к этому уже давно, а с той поры, как попал под батоги и пришёл в ужас от бездны страха, которая разверзлась в этот миг перед ним, его душа стала повреждена на всю оставшуюся земную жизнь. И время от времени она

начинала трепыхаться и обмирать, как будто находилась на краю бездонного обрыва, внизу под ней на непостижимой глубине клубится мрак, и неведомая сила тянула и подталкивала Гришку ринуться в пропасть, чтобы исчезнуть в ней насовсем. Спустя какое-то время этот ужас с неохотой покидал его душу, оставляя в ней память, как она постанывала и поскуливала, предчувствуя свою близкую и неизбежную гибель.

В казёнке пахло затхлостью. Котошихин оставил дверь распахнутой и огляделся вокруг. С тех пор, как он здесь бывал, заметно прибавилось пыли и паутины. Гришка зажёг свечной огарок и стал ворошить посольские книги. Скоро он нашёл короб, где хранились шведские дела. В отписке за 1620 год, подшитой к другим, вплоть до 1630 года, обнаружилась причина, по которой едва только вставшая с колен после смуты Россия ублажала Швецию хлебом, хотя сама почти каждый год жила впроголодь, Шведы не скрывали от русских, что они в любой миг готовы пойти войной на Псков и Новгород, объединившись с Речью Посполитой, и эта угроза заставляла царя Михаила ублажать ненасытных шведов русским хлебом, чтобы они дали неокрепшему русскому государству передышку во времени.

Гришка подобрал с пола тряпку, очистил книгу от пыли, повытряхивал застрявший между листов мусор и понёс её Дохтурову. Дьяк мельком просмотрел бумаги и велел Котошихину выписать на отдельном листе сведения о том, в какое время и по сколько тысяч бочек получили шведы от великого государя Михаила Фёдоровича дармовой хлеб.

— Волынский сам посчитает, сколько сейчас стоит весь этот хлеб, — сказал Дохтуров. — И при нужде объявит об этом шведскому послу.

В этот миг Гришка думал о другом и возникшая у него догадка нуждалась в подтверждении:

— Дьяк Алмаз так и не вернулся?

— А тебе что за дело? — вскинулся Дохтуров. — Чем я хуже него? Повадились, чуть что, лезть к думному дьяку со всякой мелочью. Не будет его три дни, отправился с царём к преподобному Сергию. А ты что, навострился бежать? Смотри, Гришка, сегодня же сделай всю выборку и перепиши набело.

Однако как дьяк Дохтуров ни раздувал щеки, как ни грозился, подьячие, выдумывая самые неотложные причины, стали расходиться из приказа, лишь только начало смеркаться. Гришка

уже заканчивал переписывать набело отписку, когда в комнату, где он в полном одиночестве поскрипывал пером по бумаге, заглянул дьяк Дохтуров.

— Ты один? — удивился он. — А где остальные?

— Не ведаю, Герасим Семенович, — сказал Котошихин. — Я весь день, головы не поднимая, работал и никого за подол не удерживал.

— Ладно, уж, — скрипнул зубами Дохтуров. — Я им это припомню. А ты, Гришка, побудь в приказе до моего прихода. Я зачем-то боярину Милославскому понадобился.

Проследив за тем, как Дохтуров покинул приказ, Котошихин, мягко ступая по коридору, прошёл в комнату дьяка Алмаза, взял с полки наказ, чуть развернул свиток, дабы удостовериться, что не ошибся, и вернулся к себе. Здесь он снял с гвоздя однорядку и спрятал в неё свиток. Закончив это дело, Гришка почувствовал, что ему крепко полегчало, и вцепившийся в его душу страх отпустил её, но не до конца, а лишь ослабил хватку. Гришка, как это он научился делать сызмала, попытался перекреститься и тем облегчить душу совсем, но рука бессильно упала на стол и опрокинула чернильницу. Это отвлекло подьячего от внутренних переживаний, он кинулся спасать уже почти полностью сделанную им отписку и успел убрать столбец со стола, пока чернила его не перемазали.

Гришка взял другую чернильницу, закончил работу, затем присыпал листы мелким песком и стал дожидаться, пока он высохнет. Листы с черновыми выписками он сложил один на другой, но не отнёс в короб, где накапливалась исписанная бумага, а положил на свою полку, рядом со свитками и листовой бумагой. «Эберс купит наказ, а потом я ему представлю эти бумаги, — подумал Котошихин. — Сельма хочет перстень, и пусть за него заплатит швед».

— Я вижу, Гришка, что тебе мало полегчало, — сказал Дохтуров, принимая у Котошихина отписку. — Разрешаю завтра задержаться дома, но не до вечера.

— Герасим Семёнович, вели приставу, чтобы дал мне коня, — жалобно вымолвил Гришка. — Я так ослаб, что не дойду до дому, а завтра я коня верну.

— Добро, скажу. А ты иди и собирайся к выходу.

Сборы были недолгими, Гришка надел однорядку, проверил, надёжно ли в ней спрятана грамота с наказом, задул пламя свечи и прикрыл за собой дверь. Возле крыльца его ждал пристав.

— Бери буланую кобылу, — сказал он. — Она своей тени не боится.

До Покровских ворот Гришка ехал с оглядкой и с надвинутой на глаза шапкой, а на мосту через Яузу его вдруг осенило, что он избежал великой беды: в любой момент его могли схватить ярыжки приказа Тайных дел, обшарить и с найденным свитком доставить к дьяку Башмакову и его подьячему Никифорову, на тёмной улице на него могла напасть воровская ватажка, стащить с коня, раздеть догола, а грамотку швырнуть на улицу, где её мог найти всякий прохожий. Гришка хотел благословить себя крестным знамением, что уберёгся от несчастий, но не решился поднять руку.

Блуме ждал Гришку, он велел слуге увести лошадь, завёл гостя в свой кабинет, налил ему чарку романеи и внимательно оглядел предъявленный ему на обозрение посольский наказ.

— Зря ты его обнюхиваешь, Яков, — лениво произнёс Гришка, вальяжно раскинувшийся в кресле хозяина. — Зри на обороте листа поручную запись дьяка Алмаза. Или что не так?

— Ты, Григорий, всё сделал, как надо, но наказ должен увидеть Эберс.

— Так зови его, пусть смотрит, — сказал Котошихин. — До утра, я думаю, он сможет на него наглядеться, а потом я должен вернуть его в комнату думного дьяка.

— Нельзя ли наказ подержать подоле утра? — спросил Блуме. — Посол сейчас не может выехать в город без того, чтобы не доложиться приставам. Теперь их нет, да и ночь — не самое подходящее время для посольских прогулок.

— Вот, начинается волокита, — проворчал Котошихин. — У вас, немцев, всё должно делаться чётко, или вы все тут, на Москве, набрались русского безурядья?

Блуме не слышал подьяческого укора, он прохаживался по комнате, озабоченный опасным делом, Гришка на него попоглядывал, взял кувшинец с романеей и наполнил серебряную чарку.

— Сделаем так, — решительно сказал Блуме. — Я извещу Эберса, чтобы он с утра явился на Кукуй, а ты будешь его ждать здесь.

— Я от тебя, Яков, не ожидал такой неблагодарности, — обиженного засопел Гришка.

— Ну что ж ты накуксился, — захлопотал вокруг Котошихина немец. — Никто тебя твоего сахара не лишил. Вот, возьми это колечко и ступай к Сельме, она тебя поджидает.

Старший пристав Жидовинов, которому, оказывая уважение к его летам, великий государь позволял сидеть в своём присутствии, с приездом шведского посла заимел приятную для себя обязанность каждое утро являться на Посольский двор и справляться у посла о его здоровье и нуждах, а Эберс каждый раз подносил приставу чарку романеи, к коей тот имел вполне извинительную слабость. Делал это он по дороге в приказ, и в это утро Эберс встретил его как обычно, но собранным для выхода в город. Испив чарку хмельной немецкой сладости, Жидовинов с причмоком облизал губы и промолвил:

— Гляжу, твоё превосходительство готов покинуть подворье?

— Вчера купил ногайского коня, — сказал Эберс. — Сегодня хочу его испробовать.

— Нагайцы неказисты, но крепки в пути, — пристав внимательно глянул на посла. — И где тебя искать, коли появится в этом нужда?

— Я буду в Немецкой Слободе, — сказал, уже сидя на коне, шведский посол. — А потом, возможно, прогуляюсь в Марьиной роще.

Московский суетный день уже начался, и Эберс, памятуя, что ему предстоит сегодня сделать, заспешил и, сопровождаемый драгуном из охраны посольства, выехал из ворот Посольского двора и помчался в Немецкую слободу, где его ждало известие, которое, возможно, определит успех всего посольства.

Купец Блуме провёл всю ночь в возбуждённом состоянии: он был весьма заинтересован в том, чтобы Эберс получил нужные ему сведения и донёс в Стокгольм, что к этому успеху причастен Блуме и его надо поощрить продажей большой партии мушкетов московитам, где бы тайный агент выступил торговым посредником и возместил понесённые им в интересах королевского величества расходы.

Приказчик, стороживший приезд посла возле ворот, стукнул трижды в окно, и Блуме подхватился с кушетки, на которой одетым продремал всю беспокойную ночь.

— Беги к Крузе, — велел он приказчику. — Пусть оторвёт московита от Сельмы и притащит сюда.

— Опасное дело мы с тобой, Яков, затеяли, — сказал Эберс, сойдя с коня. — Будем надеяться, что наш бог нас не выдаст. У меня нет никакого желания знакомиться с московскими следователями и палачами. А где наш герой?

— Скоро будет, — искательно произнёс Блуме. — Надеюсь, господин посол доведёт до канцлера о том, что и я поспособствовал успеху его посольства?

— Ты, Яков, опоздал, — улыбнулся Эберс. — В Стокгольме уже читают моё сообщение о приезде в Москву. Там есть и о твоих заслугах, разумеется, шифром, только для короля и канцлера.

Гришка по варварской московитской привычке не мог расстаться с Сельмой на коровьем реву без жарких объятий и сладких поцелуев. Крузе пришлось колотить в дверь весьма крепко и долго, пока Котошихин не выставил из неё всклокоченную бороду.

— Ты меня, Генрих, утомил! Дай хоть штаны надеть!

Наконец, Гришка выпутался из любовной сети, коей был уловлен сладчайшей Сельмой, и, ополоснув лицо водой из бочки под яблоней, предстал перед шведским послом.

— Я рад, господин Котошихин, заиметь тебя в друзьях шведского короля, — важно заявил Эберс. — Твоя помощь нам послужит дружбе и сближению между нашими странами. Хочу тебя известить, что мои личные симпатии к тебе беспредельны.

— Благодарствую за уважение, господин Эберс, — смущённо произнёс Гришка и, запустив руку за пазуху, извлёк оттуда государев наказ на переговоры Волынского.

Хотя Эберс прижмурился, но было видно, как его глаза при виде грамоты радостно вспыхнули. Он стал медленно разворачивать свиток и вычитывать строку за строкой.

— Я старался, но если где непонятно, это объясню, — подсуетился Котошихин, пребывавший в великом счастье оттого, что угодил шведу.

— Русская грамота весьма трудна, — не поднимая от наказа головы, сказал Эберс. — Но за три года я таки её одолел.

— А я по-свейски совсем худо стал говорить, — сказал Котошихин.

Эберс это признание подьячего оставил без внимания: он дочитался до интересующего его места, взялся за перо и выписал из наказа несколько кусков текста. Затем ещё на один раз пробежал грамоту глазами и отдал Котошихину. Гришка её

свернул, положил за пазуху и преданно глянул на шведа, который оценивающе на него поглядывал и, наконец, решил не давать ста рублей, кои намеревался вручить ему вчера, когда Блуме ожег его известием, что царский наказ у него в руках. «Хватит ему и сорока рублей, — решил Эберс. — Сто рублей его могут свести с ума и погубить, а московита нужно поберечь, он мне ещё пригодится».

Посол рассчитался немецким серебром, почти пятьдесят ефимков отяготили запазуху Гришки, но этой платы рассластившемуся подьячему было мало.

— Ты что-то хочешь сказать? — спросил посол.

— Мне бы хотелось, чтобы меня на Кукуе привечали, — смущённо промолвил Гришка.

Эберс вопросительно глянул на Блуме.

— Теперь ты, Гришка, богат, — развязно сказал немец. — Пока у тебя есть деньги, Сельма будет к тебе гостеприимна. Но не забывай про полковника Коля.

5

Подьячий приказа Тайных дел Никифоров имел серьёзную причину полагать, что судьба к нему в последнее время стала неблагосклонна: его уже дважды обнесли дьячеством, хотя он был у великого государя всегда на виду, и Алексей Михайлович выделял его среди других своих слуг тем, что давал ему самые щекотливые и сложные поручения, которые Никифоров выполнял в срок, добиваясь тех результатов, какие были нужны великому государю. Однако не далее как месяц назад дьяком Разрядного приказа стал прослуживший менее его на государевой службе Степка Недогонов, и сгоряча Никифоров решил, было с ним местничаться, но, к счастью, одумался и нашёл силы поглядеть на себя со стороны. Юрий Иванович был достаточно умён и трезвомыслящ, чтобы понять причину своего столь обидного для самолюбия невезения: он служил так рьяно и добросовестно, что заменить его было некем, и это прекрасно понимал великий государь, всегда указывающий дьяку приказа Тайных дел Башмакову, что прежде чем поставить Юшку дьяком, надо подобрать на его место смышленого и борзого подьячего, и тут же

прибавлял Никифорову на пять-десять рублей жалованья и сорок-пятьдесят четвертей поместного оклада.

Эти дачи утишали самолюбивого подьячего, но успокоить его не могли, и он решил непременно так выделиться среди московского приказного поголовья, что царь будет вынужден поставить его дьяком, чтобы не уронить о себе мнение, как о самом справедливом государе, в глазах своих подданных. Никифоров хотел себя видеть дьяком Посольского приказа, потому всегда и кружил вокруг него, приглядываясь и принюхиваясь ко всему, что там происходит. В мечтах у подьячего не было желания свергнуть Алмаза Иванова, это было невозможно и даже смертельно опасно, ввиду того положения, которое занимал думный дьяк при царе. Но Посольский приказ был тем местом, вокруг которого часто возникали дела, привлекавшие внимание великого государя, и Никифоров после бегства Войки Ордин-Нащекина к немцам стал к посольским людям приглядываться, полагая, что среди них всегда найдётся выродок, готовый изменить своему отечеству.

На Котошихина свой розыскной глаз Никифоров положил потому, что Гришка был смышленее других подьячих, имел беспокойный и пёстрый нрав, и, когда он попал под батоги, внимание к посольскому подьячему со стороны Юрия Ивановича заметно усилилось. Он стал с терпением опытного зверолова, расставившего силки, ждать, когда Гришка споткнётся и попадёт в уготованную ловушку, и затем останется только взять его за шиворот и швырнуть к ногам Алмаза со словами, что нужен особый дьяк, который присматривал бы за всеми людишками Посольского приказа, и он готов взять на себя эту заботу.

Котошихин постоянно жил на виду, но человек опасен не поступками, не словами, а тем, что он таит на уме, и Никифоров дал Прокофьеву деньги, чтобы тот подпоил Гришку и разведал, нет ли у него какого-нибудь преступного умысла. Однако прошло время, когда Мишка должен был явиться с донесением, но он канул как в воду, и Юрий Иванович решил его разыскать.

В приказе Мишки не оказалось, и пристав подсказал Никифорову, что в Немецкой слободе случилась между немцами драка, и подьячий отправился туда, чтобы разобраться в случившемся и донести об этом начальнику Посольского приказа. Срочных дел у Никифорова не было, и он, сев на коня, поспешил за Яузу, поскольку людям из приказа Тайных дел всё,

что случается на Москве, было интересно и доступно. Пьяные кровопролития между ратными иноземцами на Кукуе редкостью не были, но о каждом таком случае начальник Иноземного приказа боярин князь Юрий Ромодановский докладывал великому государю, а чтобы он не утаивал и не искажал правду, дьяк Башмаков со своей стороны доносил, как оно всё было на самом деле. Поэтому можно сказать, что Никифоров приехал на Кукуй по делу, как и Прокофьев, поскольку к Посольскому приказу были приписаны торговые немцы, и в драке пострадал купец Крузе.

Никифоров встретил Прокофьева за Покровскими воротами и, спрыгнув с коня, схватил его за грудки и припечатал к забору. У Мишки враз ослабели коленки, и он повис пустым кулем на руках тайного подьячего.

— Ты знаешь, куда я отсюда смогу тебя забросить? — свистящим шёпотом вопросил Никифоров.

— Юрий Иванович, пощади и помилуй! — взмолился Прокофьев.

— Я прямо отсюда тебя могу закинуть на Енисей как растратчика тайных государственных денег.

— Деньги целы, милостивец! — радостно вскричал Мишка. — Все двадцать алтын, как одна копейка. Отпусти меня, и я тебе их верну.

— А почему ты их не пропил с Котошихиным, как я тебе велел?

— Гришка, милостивец, меня сторонится, но я его из виду не выпускаю. Вот и сегодня на Кукуе всех расспрашивал о нём.

— Ну и как? — Никифоров отпустил подьячего. — И много чего расспросил?

Иноземные ратные люди, свободные от службы, почти всё своё время проводили в местном питейном заведении. И дня не проходило, чтобы там не случалось между немцами мордобоя. И на этот раз после ромуса и пива сцепились майор Бем и подполковник Шенвиц, отъявленные драчуны и поединщики. Сначала они, сидя за разными столами, обменивались грозными взглядами, топорщили усы и побрякивали ножнами шпаг, но ромус, помноженный на пиво, явил перед соперниками приметы сладчайшей Сельмы, и соперники, забыв, что она уже законная супруга полковника Коля, стали переругиваться, сначала вроде бы нехотя, как вдруг опрокинули столы и кинулись

друг на друга, но не по-немецки, со шпагами, а вполне по-русски, с кулаками.

Крузе, коему пивная принадлежала на паях с Блуме, принялся их урезонивать, но получил от каждого из соперников по затрещине. За сим Бем и Шенвиц согласились на поединок и разошлись.

— Что же здесь любопытного? — скривился Никифоров. — Милые бранятся — только тешатся.

— А вот нет! — торжественно возгласил Мишка. — Оная Сельма — великая сахарница на весь Кукуй. Но к ней сейчас не подойти: она жена полковника Коля. Однако я расспросил русских слуг и один из них обмолвился, что вокруг немки токует наш человек, по обличию подьячий.

— Он его знает? — навис над осведомителем Никифоров.

— Ни разу не видел в других местах. А здесь он пошныривает.

— Немецкая девка в золотой цене, — задумчиво промолвил Никифоров. — Раз из-за нее собачатся подполковник и майор, а она — полковница, то за свою сладость дорого запрашивает, такое подьячему не потянуть.

— Может, он переодетый боярин или московский гость? — сказал Мишка.

— Не знаю, не знаю, — всё также задумчиво покачал головой Никифоров. — Всё может быть, но сдаётся мне, что тут людьми такого полёта и не попахивает. Дорого станет за девку платить скорее не гость, а тот, кому деньги явились от воровства. С другой стороны, к ней так запросто не попадёшь, стало быть, к Сельме привёл этого русачка знакомый ей и ему немец. Вот такой раскладец мы имеем на сей час.

В это время мимо них, поднимая шум и пыль, проехала карета немецкой работы, в которой сидел и покачивался на подушке князь Ромодановский. За ним, отчихиваясь и отмахиваясь от пыли, поспешали немецкие офицеры на конях.

— Князь торопится взять буянов под стражу, пока они не проткнули друг друга шпагами, — сказал Прокофьев. — Может спросить у дьяка Алмаза позволения взять немку и запереть её в подвал Посольского приказа? А потом со всей строгостью допросить, кто к ней шастает.

— А тебя, дурака, её сторожить поставить, — усмехнулся Никифоров. — Да ты её на закорках унесёшь из подвала в Немецкую слободу за то, что она даст себя погладить.

— У нас в подвале есть кому её сторожить и без меня, — обиделся Мишка.

— Девку брать под замок не за что, — объявил Никифоров. — Полковник Коль известен великому государю как добрый воин, он его в обиду не даст, если даже его Сельма приветит всех подьячих твоего приказа разом. А того, кто к ней ходит надо найти, во что бы то ни стало. Он может стать тем ключиком, коим можно будет открыть великое воровство.

Котошихин обо всём, что стряслось в Немецкой слободе не ведал, как и о том, что подьячий Никифоров уже начал на него охоту, и попасть в его силки было делом времени или случая. Он яростно прогуливал с Сельмой полученные от Эберса деньги, был счастлив и даже не предполагал, что рубли скоро кончатся и, сведав об этом, его сладчайшая подруга поскучнеет и начнёт позёвывать в то время, когда от неё требовалось совсем другое. Гришка не понимал поначалу, отчего у неё появилась такая сухость там, где всегда было сыро и сладко, пока она не шепнула ему на ухо, что не может жить без бархатной повязки на голову, усеянной алмазной пылью и вышитой бурмитским зерном-жемчугом. Он клятвенно пообещал Сельме, что даст ей денег на исполнение ее мечты, и она окатила в ответ на его обещание такой опьяняющей волной сладости, что Гришка уже с утра стал думать, где ему раздобыть денег.

Дверь в комнату, где маялся от безделья Котошихин, была открыта, и мимо прошёл окольничий Волынский. С некоторых пор Гришка стал интересоваться, зачем он приходит в приказ, потому последовал за ним и, стоя у приоткрытой в комнату думного дьяка двери, услышал, как окольничий пожаловался на неуступчивость Эберса.

— Поначалу он ждал, что я ему объявлю, а сейчас пропускает мои слова мимо ушей, будто всё заранее знает.

— Шведы большие охотники напустить на себя важность, — успокаивал посла Алмаз. — У тебя, Василий Семёнович, есть наказ великого государя, вот и следуй ему, никуда не сворачивая.

— Пора бы чем-нибудь шведа осадить, — сказал Волынский. — Уж очень он стал настырен в своих запросах.

— Ты думаешь, что надо напомнить Эберсу о хлебной помощи, которую получали от нас шведы?

— Самое время указать ему на это, — сказал Волынский. — Пусть подумает, как на это ответить.

— Добро, Василий Семёнович, — сказал Алмаз. — Великий государь позволил нам сказать об этом Эберсу, сообразуясь с ходом переговоров. Кажется, такой случай явился.

После подслушанного разговора Котошихин вспомнил, что он сохранил черновые записки, сделанные им для подготовки листа с перечислением случаев хлебной помощи для Волынского. За суетой вокруг Эберса и Сельмы он забыл, что верные деньги лежат в коробе для бумаг на пристенной полке и только ждут, чтобы он их взял и ублажил подарком свою слабость. Для этого нужно было спешно встретиться с Яковом Блуме, чей торговый амбар находился недалеко от Кремля, но Гришка туда никогда не заглядывал, чтобы не обнаружить своего знакомства с немцем. Однако для такого случая он решил рискнуть и, дождавшись обеденного перерыва, пошёл не в харчевню, а сказал, что решил прогуляться по торговым рядам и какое-то время шёл мимо лавок, ларей, возов и верёвок со всякими на них товарами, затем сиганул за телегу с горшками, юркнул в проход между бочками и скрылся за углом дома.

Амбар Блуме был невелик, но крепок своими толстыми стенами из обожжённого красного кирпича, и поместителен глубоким подвалом, откуда вышел уже знакомый Котошихину приказчик и сказал, что купец отлучился по делам и будет на месте ближе к вечеру.

— Объяви Якову, что я у него буду к ночи в слободе, — сказал Гришка. — Пусть позовёт к себе Эберса, я сообщу важную новость.

Котошихин, крадучись, покинул амбар, успев заметить, что он битком набит всякими немецкими товарами, съел на торге горячий пирог с требухой, запил его медовым квасом и явился в приказ вместе с теми, кто был в харчевне. Стараясь не попадаться на глаза Дохтурову и Алмазу, он прошёл в свою комнату и застал там Прокофьева, который шарился на котошихинской полке. Увидев Гришку, он побледнел и пробормотал:

— Дьяку Юрьеву нужна опись дел, которые хранятся в казёнке, и он меня послал к тебе.

— Будет врать! — сначала испугался, затем обозлился Гришка. — Опись там, где и должна быть — у думного дьяка. Гляди, Мишка, как бы тебе не споткнуться на ровном месте.

Однако обыск не насторожил Котошихина, все дни после того, как он самым предательским путем передал государеву

тайну шведскому послу, он пребывал в возбужденно-радостном состоянии, будто наелся мухомора. Вместо страха, что его разоблачат, будут пытать и подвергнут позорной казни, в нём обитало счастье, которое чувствует предатель, совершивший измену, поскольку своим злодеянием он освободил свою душу от тяготившего её замысла, и она обрела желанную ей пустоту, где нет даже намека на присутствие Бога.

Осчастливленный душевной пустотой Котошихин сам перед собой возгордился и стал поглядывать на тех же подьячих как на никчемных людишек, которым не по силам совершить то, что удалось ему. Гришка в душе похохатывал над Алмазом и Волынским, которые даже не догадывались, что подьячий, мелкая посольская мошка, смог так крепко уесть их исподтишка и до сих пор витает перед их очами, выискивая место для нового укуса, а они его в упор не видят.

Единственным, что отравляло Котошихину его торжество, была мысль о деньгах. Он только сейчас понял, что с наказом крепко продешевил, надо было взять с шведского посла сто рублей, судя по той радости, коя охватила Эберса при виде тайной грамоты, он был готов дать за неё половину своего посольства, а уж полтораста рублей точно бы отсчитал и не дрогнул, но случай обогатиться по-настоящему был упущен, и Гришка дал себе слово, что на этот раз он не продешевит и порастрясет шведскую казну, не смущаясь своими запросами.

До вечера Котошихин занимался тем, что успешно увиливал от службы, а в сумерках устремился в Немецкую слободу. Там его ждал с распростёртыми объятиями Эберс, который с жадностью стал вычитывать записки о хлебной помощи, пока Блуме угощал подьячего польской выборовой водкой и балтийской селедкой любекского посола.

— Сегодня с утра в слободе случилась схватка между майором Бемом и подполковником Шенвицем, — сказал Блуме. — И удивительно, что на розыск прибежал подьячий Посольского приказа Прокофьев. А вот другое удивление стоило мне рубля, подаренного мной моему доброжелателю. Теперь угадай, Григорий, какую новость я купил за рубль?

— Я не знаток в ваших немецких делах, — небрежно промолвил Гришка, не отводивший взгляда от кармана шведского посла, из которого он уже получал наградные деньги.

— Моя новость, Григорий, не рубль стоит, а гораздо больше, — сказал Блуме.

— И что там у тебя, Яков, за новость? — поднял взгляд от бумаг Эберс. — Вот у меня новость, так новость: оказывается, тридцать лет назад наше королевство на четверть жило русским хлебом, который получало от Москвы задаром. А у тебя, что за весть?

— Прокофьев пронюхал, что у Сельмы бывает в гостях кто-то из русских.

— Всего-то и узнал! — нервно хихикнул Гришка. — Мишка давно за мной тропку топчет, да всё попусту.

Известие, что вокруг Котошихина начал кружить соглядатай, не на шутку встревожило Эберса.

— Тебе слободу надо забыть, — сказал он, доставая из кармана кошелёк. — Вот тебе пять рублей за бумаги и на время забудь обо всём, что знаешь. Живи как жил раньше, будет нужда, я тебя отыщу.

— Жить, значит? — кисло скривился Котошихин. — На эти деньги? Тебе, господин Эберс, ведомо, сколько стоят бумаги на самом деле?

— В тайных делах не торгуются, — занервничал Эберс.

— Какая ж тут тайна, раз Мишка к ней стал принюхиваться.

— Хорошо! — сказал Эберс. — Какая сумма тебя устроит?

— Пятнадцать рублей.

— Хорошо, вот тебе десять рублей и во имя своего спасенья отойди от Сельмы, она тебя погубит: или под розыск подведёт, или сумасшедший полковник Коль проткнёт тебя своей шпагой.

— Мои дела с моей зазнобой никого не касаются, — хмуро сказал Гришка, сгребая со стола деньги. — И никто мне не запретит наиграться с ней досыта в прощальную ночь.

— Ты, Григорий, хочешь во всём походить на немца, — пожал плечами Эберс. — Но куда девать твои московитские повадки?

Котошихин глянул пустым взглядом мимо шведского посла и, не прощаясь, покинул дом Якова Блуме.

Пострадавший в утренней схватке между немецкими офицерами Генрих Крузе встретил Котошихина крайне недружелюбно и попытался ему преградить путь в комнату Сельмы. Гришке это явно не понравилось, он оттолкнул немца в сторону и переступил порог, бросая на возлежавшую в небрежной позе Сельму один за другим серебряные ефимки.

— Надеюсь, ты довольна? — с жаром вопросил Гришка и ответом ему был самый сладкий и страстный поцелуй,

который ожёг его до самых пяток и заставил вострепетать всё тело в горячечной лихорадке.

«Это добром не кончится,— размышлял Крузе, стоя возле ворот своего дома.— Русские правду говорят, что как день начался, так он пройдёт. Это верная мысль, и мне нужно поберечься».

И немец, повздыхав, отправился к амбару, где лёг на лавку и через открытую дверь начал считать на небе звёзды. Сегодняшний досадный случай в пивной был им уже почти забыт, ведь Генриху Крузе жилось на Москве совсем неплохо, и немало золотой и серебряной казны было им припрятано в разных местах в своём домовладении, вот и племянницу пристроил за надёжным немцем полковником Колем, но та всё ещё не перебесилась, и это весьма беспокоило добропорядочного дядюшку Генриха.

Немецкая слобода погрузилась в сон и тишину, которую близко к рассвету нарушили лязг железа, тяжёлый конский топот и возгласы людей. Во всякой русской деревне этот шум вызвал бы заполошенный собачий лай, но у немцев на Кукуе даже собаки были по-немецки умны, они взлаивали только тогда, когда во двор лезли чужие. А таких среди приезжих не было, домой на побывку вернулись офицеры тульского солдатского полка, которые посчитали своим долгом проводить полковника Коля к дому Крузе, где он временно стоял на постое у своей венчанной жены.

Всадники остановили своих коней возле дома, и адъютант указал на слабо освещённое окно, за которым проглядывался женский силуэт:

— Вы, господин полковник, счастливый человек! Ваша прекрасная жена не спит и торопится вас встретить.

Коль отпустил своих офицеров и вплотную подъехал к воротам. Постоял, поднявшись на стременах, позаглядывал во двор, но он был пуст, и никто не торопился встретить полковника. Тогда он стал слазить с коня, чтобы пройти во двор через калитку, и вдруг что-то грохнуло, послышался женский возглас и топот убегающего человека. Полковник задумчиво нахмурился, крякнул и решительно распахнул калитку с тем, чтобы понять, что происходит в доме. На крыльце, освещённая серебристым светом луны, стояла укутанная в шёлковую шаль Сельма и простирала к своему суженому обнажённые руки.

— Кто здесь только что был? — грозно вопросил полковник.

— Откуда мне знать, милый Густав? — дрожащим голосом вымолвила Сельма.— Я пошла тебе навстречу, открыла дверь, а на крыльце стоял огромный мужик. Но ты меня спас, милый!

Сторожевой пёс, наконец, покинул свою конуру и подошёл к крыльцу. Полковник на него посмотрел и с укором сказал:

— А ты, приятель, почему не облаял разбойника?

Пёс виновато вильнул хвостом и стал вылизывать полковничьи сапоги.

— Я этого так не оставлю! — грозно сказал Коль.— Вор далеко не ушёл, у него на пути Яуза.

Сельма жалобно вскрикнула, пытаясь остановить мужа, но он устремился через сад на берег реки, где в это время метался из стороны в сторону Гришка, стараясь сообразить, как спастись от приближающегося к нему с угрозами полковника Коля. Когда его громоздкая фигура стала проявляться в тумане уже совсем рядом, Котошихин снял сапоги, завязал их в полы однорядки и с узлом на плече кинулся в воду. Полковник, почувствовав близость врага, завопил и выстрелил из седельного пистолета. Кусок свинца с воем пролетел над Гришкиной головой и шлёпнулся в воду, подьячий заглотил пахнущей тиной воды и закашлялся, шумно взбивая воду руками и ногами. Узёл с сапогами отнесло на сажень от Котошихина, и он стал медленно тонуть. Гришка кинулся спасать свою обувку и одёвку. Коль выстрелил на шум из второго седельного пистолета, на этот раз пуля провизжала почти над самой головой Котошихина, но он уже уцепил узёл рукою и скоро достал дрожащими ногами илистое и склизкое дно. Спотыкаясь и задышливо всхрипывая, он достиг берега и, едва ступив на твёрдую землю, упал на живот и изверг из себя пенистую струю речной воды.

— Это что ещё за утопленник? — раздался над ним укоризненный голос.

Гришка перевернулся на спину и увидел над собой четверых конных стрельцов ночной стражи, которые объезжали окраину Москвы и поспешили на звуки пистолетной пальбы, учинённой полковником Колем. Котошихин повернул голову в сторону Кукуя, ему послышался оттуда шум и плеск воды и, привстав на колени, взмолился:

— Не дайте, ребята, сгинуть! За мной гонится страшный убивец!

— Да кто ты такой сам-то, леший тебя побери? — сказал стрелецкий десятник.

— Я средний подьячий Посольского приказа Котошихин, — признался Гришка. — Подзадержался в слободе по служебной надобности. Вы, ребята, меня проводите, хотя бы до Покровских ворот, а там я сам добегу до дома.

— Нашёл себе провожальников! — вскипел сотник. — Поднимайте его в тычки, ребята! А ты, чернильница, скоро узнаешь, каковы в Земском приказе подвальные клопы.

Стрельцы, поколачивая Гришку черенами своих бердышей, погнали его вприпрыжку к Земскому приказу. Там Котошихина ожидали скорая палочная расправа за ночной шум и передача в Посольский приказ для учинения над ним розыска.

Возле громадной избы Земского приказа горел костёр, освещавший две пушки, стрельцов и всякого вида людишек, которых со всего города во время своих обходов и облав насобирала и поймала ночная стража, и теперь они поджидали прихода приставов и судей, кои решат, как с ними поступить, согласно их вины и способности убедить судей весомым посулом. Гришку втолкнули в толпу московских оборванцев, и он пал духом, представляя, как его встретит Алмаз Иванов после того, как ему доложат про похождения посольского подьячего. Оборванцы-гилевщики безропотно ждали всяк своей участи и вдруг взволновались и стали таращиться на крыльцо. Гришка приподнялся на цыпочки и узрел своего приятеля Есина, который, к счастью Котошихина, был сегодня ночным начальником по Земскому приказу.

Есин не сразу, но узрел Котошихина, и не поленился к нему подойти, чтобы взять с собой в приказную избу.

— Рассказывай, Гришка, каково на немецкой перине лежится-спится? — сказал Есин, с ухмылкой разглядывая потрёпанного приятеля.

— Будет на испуг брать, — буркнул Котошихин, примериваясь, как поскорее отсюда улизнуть.

— Тебя же на Яузе взяли? — с деланным простодушием вопросил Есин.

— Ну, там, а что?

— Дураку ясно, что ты полез вплавь через реку одемшись не с пьяна, а тебя гнали, как зайца, — улыбнулся Есин. — А про остальное мне и догадаться нетрудно.

— Давай о другом думать, как мне от тебя уйти и следов в твоём приказе не оставить, — искательно вымолвил Гришка. — За твою помощь я у тебя никогда в долгу не был. Помоги и на этот раз.

— Ты мне, Гришка, всегда по душе был тем, что не унываешь, — сказал Есин. — Мог бы солгать, но скажу правду? Утаить, что тебя взяли мокрым на Яузе, невозможно.

— Что, у вас в приказе полно завелось правдолюбцев? — изумился Гришка.

— Заводятся лишь клопы да тараканы, вот они начнут шуршать да постукивать, что ты здесь был, и дьяк Алмаз скоро про то услышит от тех клопов да тараканов, кои обитают в Посольском приказе.

— Что же мне делать? — огорчённо вздохнул Гришка. — Поманил меня лукавый на Кукуй, сам теперь в сторону, а мне своей спиной за его хитрости отвечать.

— Об этом ты, Гришка, с попами толкуй, они про чертей всё ведают, — сказал Есин. — Я тебя отпущу, но ты сразу явись к думному дьяку и без утайки обо всём поведай — повинную голову и меч не сечёт.

— Добро, так я и сделаю, — сказал Котошихин и поспешил в посольский приказ, где привёл в мало-мальский порядок свою одежду и, в ожидании прихода думного дьяка, лёг на скамью в своей комнате и попытался задремать. Но сон обходил непутёвую голову подьячего стороной, ему мерещились то сладко-пылкая Сельма, то полковник Коль, выглядывающий на Гришку из тёмного угла и угрожающе наставивший на него свои огромные седельные пистолеты.

Кто-то заглянул в комнату и тотчас захлопнул дверь. Это был Прокофьев, сегодня явившийся раньше всех в приказ, чтобы принимать грамоты от гонцов, которые с рассвета начнут прибегать в город со станов, где они были задержаны от ночного въезда в Москву, дабы они не попались в руки скорой на расправу ночной страже.

Мишка только что проходил возле Земского приказа и знакомый пристав сообщил ему о задержании Котошихина в мокром виде на Яузе. Прокофьев чуть не подпрыгнул

от радости, получив столь важное для него известие, прибежал в приказ и удостоверился, что Гришка лежит на лавке, а до этого он наоставил мокрых следов от сапог по всему коридору и в своей комнате. Новость жгла продажную душу подьячего, и он, оставив за себя ночного пристава, кинулся к государевым палатам, впритык к которым помещался ближний к великому государю приказ Тайных дел.

Никифоров был на месте и старательно вычитывал отписку из походной воинской канцелярии князя Якова Черкасского, которую сразу после утрени намеревался донести до великого государя. Он встретил Прокофьева угрюмым взглядом воспалённых от постоянного недосыпа глаз.

— Поторопись, Мишка! И не говори ничего пустого.

Выслушав донос, он довольно усмехнулся и потрепал подьячего по щеке.

— Ведь можешь служить, если постараешься! С Котошихина не спускай глаз, может, он, на наше счастье, с перепугу начнет дёргаться и тем обнажит своё предательское нутро.

6

С некоторых пор в государевых палатах Кремля воцарилось тревожное, приводившее царедворцев в трепет, ожидание чего-то плохого, что почти неизбежно свершится, и отвратить это несчастье сможет только чудо. Обычно уравновешенный и сдержанный Алексей Михайлович стал вспыльчив, криклив и непредсказуем своими повадками. Наученный царём дранием бороды и пинками, его тесть Илья Милославский срочно захворал, чтобы ненароком не стать тем человеком, на котором царственный зять мог сорвать своё недовольство. За всех отдувался дьяк приказа Тайных дел Дементий Башмаков, который уже вторую неделю спал урывками, всё рыскал по Москве и по ближайшим селениям, отыскивая умелого лекаря, который взялся бы спасти двух любимых государевых кречетов от голодной смерти.

Эту пару самых красивых и добычливых птиц Алексею Михайловичу доставили из тундряных обских мест. И сам кречет, и чеглик — самка кречета, имели соколиные стати и чудесные чёрные глаза, которые казались ещё чернее и порой вспыхивали от белого цвета перьев, как драгоценные камни.

Ещё две недели назад они были здоровы, весело брали добычу, но вдруг отказались от пищи, и голуби, коих им доставляли с царских голубятен, где их гнездилось до ста тысяч, оставались нетронутыми, и, виданное ли дело, кречет и чеглик сидели на своих насестах, отвернувшись от самых раскормленных голубей и, беспокойно помигивая, глядели в бездонно-синее небо.

Когда сокольничий сообщил царю о постигшем его несчастье, то Алексей Михайлович отменил встречу с посланцем знаменитого польского магната Юрия Любомирского, который во главе силезской шляхты выступил против короля Яна-Казимира и своими действиями заставил задуматься королевское величество о мире с Россией. Посланцу было сказано явиться на другой день, а сам великий государь, даже не сняв с себя дворцовое облачение, упал на своего выездного жеребца и сопровождаемый толпой стряпчих, не разбирая пути, кинулся в Покровское.

Алексею Михайловичу принесли живого голубя, и он, произнося ласковые прозвища, подал его кречету, но тот даже не глянул на подношение царского величества и, исторгнув из себя короткий хриплый клекот, опять обратился к созерцанию московского неба. С той поры дьяк Башмаков не знал покоя, пока о царском горе не проведали немцы, и среди них нашелся конский лекарь, который пообещал излечить птиц, и был срочно под охраной отправлен в Покровское, где за ним приглядывал сам царский сокольничий.

И нынче, лишь только великий государь совершил утреннюю молитву, к нему явился Дементий Башмаков и своим ликующим видом вернул Алексею Михайловичу желание улыбаться.

— Что, ожили? — ещё не веря своему счастью, сказал царь.

— Немец очистил голубя от костей, мелко порубил его, и кречеты мясо взяли, каждый по голубю. За ночь они уже трижды принимали рубленую птицу. И на восход солнца откликнулись топорщаньем и помахиванием крыльев.

— Объяви немцу мою милость, — радостно сказал царь. — Коли лечение будет успешно, то он получит двадцать пять рублей, трёх соболей и службу по соколиной части со знатным содержанием в деньгах и поместным окладом.

— Сей немец находится в услужении полковника Коля, — доложил Башмаков. — Он доглядывает за конями его полка.

— Скажи полковнику, что я ему отдам за этого немца лучшего коновала в моём царстве, — сказал, нахмурясь, великий государь. — Это непозволительная роскошь заставлять лечить коней такого умельца. Он будет смотреть за моими соколами, и моя охота стоит того полка, что был разбит татарами и теперь отсиживается в Туле.

Алексей Михайлович лёгким мановением руки приблизил к себе дьяка и, достав из серебряной коробочки кусок сахара, протянул его Башмакову.

— Угостись, Дементий! Ты ведь у нас хмельного не пьёшь, так поешь сладенького. Ты в иные дни единственным трезвым человеком остаёшься на всю Москву. Счастливой вестью ты меня порадовал, нет ли у тебя такой же ещё?

В дверь царской комнаты кто-то постучал особым стуком.

— Что уши развесил, отопри! — турнул царь придремавшего комнатного стольника. — Это Алмаз каждое утро является со всякими обузами. Отправить его от себя к ляхам, что ли, чтобы отдохнуть самому?

Думный дьяк, согласно чину, земно поклонился великому государю и встал в стороне от Башмакова, коего вполне резонно считал своим вредителем и доводчиком великому государю всего, что можно было бы утаить, дабы не погружать его в душевное расстройство.

— Я сегодня, Алмаз, не стану дожидаться, когда ты меня озаботишь своими известиями, — сказал Алексей Михайлович. — Вот у меня отписка от князя Черкасского, он просит прислать ему двух толковых подьячих из твоего приказа, чтобы было, кому отписывать полякам его намерения о предстоящем съезде послов в Дуровичах. Авось, нам удастся вырвать у ляхов, хотя бы года три перемирия.

— Тебе ведомы, великий государь, их неуёмные запросы, — сказал Алмаз. — Они требуют вернуть всю Малороссию, Смоленск и Северскую землю, и ещё дать им десять миллионов злотых за тот ущерб, который понесли в этой войне.

— Их жадность мне не в новость, — промолвил царь. — Они то же самое говорили и во Львове Ордин-Нащекину. Но сейчас нам надо усадить их за переговоры, а там, глядишь, на Польшу турки с татарами пойдут, и королю надо будет с нами мириться.

— Уступать им придется, — вздохнул думный дьяк. — Но переговоры лучше войны.

— Вот и пошли подьячих, — указал великий государь. — Да пошли с ними дьяка Богданова, и он пусть возьмёт с собой, чтобы не метаться потом, для посольского обряда добрую карету, ковёр золотный, чтобы постилать его на стол во время переговоров, шатёр суконный красный, шандал серебряный, несколько шандалов медных, лохань с рукомойником серебряные, десять стоп бумаги и свечи восковые витые и сальные. И чернила не забудь, дай им кувшин или два, пусть пишут. На чернила у меня деньги пока найдутся, а для войны казна пуста.

— Сегодня, великий государь, ты обещал принять посланца Юрия Любомирского, — напомнил Алмаз. — Посылать к нему приставов или погодить?

— Пусть подождёт до вечера, — сказал Алексей Михайлович. — Я спешу в Покровское, надо поглядеть, как немец кормит моих кречетов. Да, ты ведь и не знаешь, что они, кажется, ожили. Порадуйся вместе со мной, Алмазко! И будь готов к полю, я тебя позову на соколиную охоту.

— Благодарю за честь, великий государь! — с чувством искренней радости сказал думный дьяк и с вызовом глянул на Дементия Башмакова, который не удостоился приглашения, но не был забыт Алексеем Михайловичем.

— Что за стрельба сегодня была на Кукуе? — сказал Алексей Михайлович. — Мне доложили, что стрельцы взяли на Яузе какого-то мокрого подьячего и отвели в Земский приказ.

Дементий даже и не гадал, что ему так скоро представится возможность уязвить дьяка Алмаза, но он не стал говорить всей правды, которую ему довёл Никифоров:

— Розыск ещё не доведён до конца. Пока есть подозрение, что это подьячий Посольского приказа.

— Что такое, Алмазко? — удивился Алексей Михайлович. — Откуда у твоих людишек такая прыть? Разыщи этого подьячего и если окажется, что он не виновен, всё равно убери его куда-нибудь подальше. Мне немцы своими поединками и мордобоями наскучили, а теперь и подьячие стали прыгать в воду.

— Непременно разыщу, великий государь, и ему не поздоровится, — сказал Алмаз, уже начиная догадываться, кто из его людей переполошил Немецкую слободу.

— А теперь, дьяки, ступайте, — разрешил Алексей Михайлович. — Мне надо переобуться в сапоги, а то, кажется, скоро задождит.

Думный дьяк с царского крыльца глянул на небо и убедился, что оно набухло тёмными тучами, из которых вот-вот готов обрушиться ливень. Он, не дожидаясь ненастья, быстро достиг своего приказа, заставив своим появлением всех притихнуть и подтянуться. В комнате дьяк застал своего ближнего подьячего, который стирал пыль со стола начальника и собирался приступить к очинке гусиных перьев. Алмаз продиктовал ему всё, что царь разрешил отправить для посольства князю Черкасскому, и велел составить в Казенный приказ запрос на получение этих вещей.

Отпустив подьячего, думный дьяк открыл тетрадь, в которую заносилась для памяти поступающая в приказ почта, но в дверь послышалось робкое постукивание.

— Ты, Мишка, ко мне в комнату протискиваешься с такой опаской, будто ждёшь, что я в тебя запущу чернильницей,— недовольно пробурчал Алмаз.— Говори, с каким делом явился?

Прокофьев скорым шагом приблизился к столу и зашептал:

— Я, милостивец, по твоему слову за Котошихиным всё это время приглядывал и только-только от своего приятеля проведал, что мокрого Гришку стража взяла на Яузе.

— Ты ни с кем, кроме меня, ещё не поспешил поделиться этой новостью? — спросил, окидывая доносчика презрительным взглядом, думный дьяк.— Или уже успел сбегать к Юшке Никифорову?

— Я чист перед тобой, милостивец! — упав на колени, зачастил Мишка.— У меня и в уме нет, чем-то тебе навредить.

— Утри сопли! — озлился Алмаз.— И будь готов на днях убраться из Москвы!

— Не погуби, милостивец! — начал подвывать Прокофьев.— На Енисее я не проживу и года. Не погуби, ради детей малых и хворой женки!..

Котошихин тем временем обсох, кое-как привёл к смирению обуревавшие его страхи и решился идти к Алмазу, чтобы во всём ему покаяться. По привычке он поднял глаза к образу Спасителя в красном углу, но сразу от него отвернулся, Гришка стал избегать встречаться с Христом взглядом из-за того невыносимого укора, который он сразу прочитывал в его всевидящем людские грехи взоре.

В комнату начальника приказа Гришка вошёл развязанной походкой человека, которому любой гнев и любая кара были

не в новинку. Думный дьяк окинул его тусклым взглядом усталого от людской глупости и подлости всевидца.

— Чему радуешься, Гришка? Может, полтину нашёл этой ночью на Яузе и теперь замыслил её пропить в государевом кружале?

«Он всё знает! — мелькнуло в голове подьячего.— Всё! И про то, как я своровал наказ и про вчерашнее моё воровство».

— Хочешь, казни, а хочешь, милуй,— пролепетал он, падая на колени, и уткнулся лбом в грязную половую плаху.

— Поднимись, Гришка,— думный дьяк откинулся в кресле и вздохнул,— стало быть, тебя не только миловать, но и казнить есть за что?

— У каждого на Руси есть своя вина перед Господом и царём,— сказал Гришка.— И я не лучше других.

— И чем же ты не лучше? Поведай, за каким грехом тебя носило в Немецкую слободу? — усмехнулся Алмаз.— Или ты не с Кукуя, а с небес упал в Яузу?

— Грешен я, милостивец,— огорченно вымолвил Гришка.— Не мог совладать с похотью, и был уловлен ею так, что потерял разум и совесть.

— Я тебе не поп, чтобы мне врать,— стал злиться задетый явным перед ним притворством думный дьяк.— Говори всё по правде, а то сейчас же велю приставам бить тебя батогами за твоё враньё и ерничанье.

— Я правду говорю,— испугался Котошихин.— Сошёлся я по случаю с немкой. Вечор отправился её навестить, но к утру заявился её муж и чуть было не накрыл меня в своём доме.

— Кто этот немец? — строго сказал Алмаз.— Он же за тобой гнался до Яузы и стрелял из пистолетов.

— Полковник Коль,— поколебавшись, тихо вымолвил Гришка.— И теперь я его страшусь, милостивец, пуще, чем твоего наказания. В гневе он лют, и меня не пощадит. Он на Кукуе проколол шпагой на поединках трёх женихов.

— А ты не худо задумал,— усмехнулся Алмаз.— Решил спрятаться от полковника за моей спиной. И эта немка тоже хороша! Променяла своего геройского немца на Гришку Котошихина. И что она в тебе нашла?

— Не ведаю, милостивец,— подьячий почувствовал, что Алмаз и не думает вскипать на него гневом, и стал обретать надежду на спасение.

— Может, ты ей своей мочальной бородёнкой приглянулся? Или тем, что обычно скрывается от чужих глаз?

— Не ведаю, милостивец! — угодливо хихикнул Котошихин. — Одно помню, что она часто вскрикивала: «Гут, Гришка! Гут!..»

— Нашёл чему радоваться, дурак! — скривился Алмаз. — Мне тебя и наказывать не надо: скоро тебя разыщет полковник Коль и возденет твои причиндалы на свою шпагу.

— Куда же мне деваться? — испугался Котошихин. — Он меня точно изуродует.

— А ты, Гришка, возмечтал лазить в чужой дом и быть не пойманным? Ты немцу нанёс смертельную обиду. Был бы дворянин, так мог бы спастись поединком, а ты смерд, с тобой полковник судиться не станет, просто прихлопнет, как муху, а сверху плюнет и разотрёт грязь сапогом.

Стращая Гришку, думный дьяк мысленно над ним потешался и был готов протянуть подьячему руку помощи, ему понравилась бесшабашность, с какой тот уязвил полковника Коля, которого в приказах недолюбливали из-за его вздорного нрава. Но и такая слава подьячего была Алмазу не нужна: от Котошихина надо было немедленно избавляться, чтобы у немцев поскорее выветрилась память от его похождений на Кукуе.

— Выпиши Котошихину подорожную грамоту к князю Черкасскому! — велел он своему помощнику. — Выдай ему жалование за полгода и хлебные деньги. А ты, Гришка, сделай так, чтобы даже твоего духу к вечеру не было на Москве!

Дьяк Дохтуров, когда Гришка явился к нему сдавать имевшиеся под его росписью документы, скорому отъезду Котошихина не удивился: в приказе бывало такое не раз, когда подьячий приходил на службу и пропадал для своих родственников, и только потом они узнавали, что он послан на Дон, на Кавказ, а то и в Даурию, на границу с Китаем.

Вскоре была готова и подорожная грамота. Подписывая её, дьяк Алмаз дал Гришке напутствие:

— Скоро за тобой следом явится дьяк Богданов. Советую тебе его остерегаться и не волновать понапрасну: он не будет беречь, как я, твою драную спину.

— И долго мне быть в отъезде?

— Пока полковник Коль не съедет от Москвы в свою Неметчину или, не дай Бог, на тот свет.

Дьяк Алмаз уткнулся в лежавшую перед ним грамоту, а Гришка потоптался, повздыхал и, не дождавшись от начальника отклика, пошёл в свою комнату, где простился с подьячими и вышел из приказной избы, через десяток шагов обернулся на неё поглядеть и направился к выходу из Кремля. Слоняясь между торговых рядов на площади, Гришка раздумывал, стоит ли ему прощаться с Блуме, наконец, решился и, путая следы, добежал до торгового амбара, коим владел немец.

Блуме был на месте, он стоял за конторками и в толстой тетради делал записи. Увидев Гришку, он переполошился, схватил его за руку и повлёк за собой в глубокий подвал, где царила кромешная тьма, пахло могильной сыростью, а сверху сочились ледяные капли. Гришка несколько раз ударился ногой и боком о какие-то жёсткие выступы, пока Блуме не дотащил его до тайной каморки, где сидел громадный мужик, и в ногах у него валялся мясницкий топор. У Гришки ватно обмякли ноги, он вякнул и покачнулся, почувствовав, что сейчас лишится памяти. Блуме не дал ему свалиться и сказал:

— Ступай, Наумка, наверх, пригляди за амбаром.

Мужик молча поднялся и вышел вон, а Блуме зажёг вторую свечу и зло вымолвил:

— Ты что решился яму под собой и подо мной вырыть?

— Я же не просто так пришёл, — пролепетал Гришка. — Меня выгоняют из Москвы в Смоленск. Вот решил попрощаться.

— Для нас всех счастье, что тебя в Москве не будет, — обрадовался Блуме и сразу же обеспокоился. — А может, ты всё врёшь?

— Как же вру! — заторопился Гришка. — Вот моя подорожная грамота. Выписана князю Черкасскому.

Немец проглядел грамоту и сказал:

— Раз ты едешь в Смоленск, то не затевается ли там какое-нибудь важное дело?

Гришка обрадовался: немец хочет получить у него новость, но забесплатно он ему её не отдаст.

— Скоро близ Смоленска произойдут важные события, небезынтересные для шведского королевства.

Небрежно вымолвленные Котошихиным слова враз улучшили отношение немца к подьячему. Блуме извлёк из шкафчика кувшин романеи, засахаренные персики.

— Жаль расставаться с тобой, Григорий, но что поделать. Выпьем в таком разе за твой добрый путь и пожелаем друг другу приятной встречи.

После выпитой романеи Котошихин ничуть не размяк и на уговоры Блуме открыть ему, что затевается близ Смоленска, ответил с прямодушной наготой:

— Ни с того конца, Яков, ты ко мне мостишься. Ты не плутай вокруг да около, объяви, что берёшь у меня секрет за десять рублей. Мы бы ударили по рукам и разбежались.

— Десять рублей незнамо за что,— удивился Блуме.— Не много ли?

— Я могу взять и десять-двадцать риксдалеров, раз у тебя нет русских денег.

— Но ты скажи хоть немного, что у тебя за секрет?

— Сначала давай деньги,— сказал Гришка и, пользуясь заминкой, налил чарку романеи и выпил.

Блуме сдался и, вынув из кармана кошель, отсчитал десять рублей. Гришка сгрёб их в свой карман и, приблизившись к немцу, рассказал ему, сгущая краски заведомую ложь о скором заключении перемирия между Россией и Польшей. Блуме всё это в себя впитал и с благодарностями проводил Гришку из подвала каким-то подземным ходом в грязную амбарушку, откуда тот вышел на Лубянку и поспешил к себе домой.

Скорое расставание с Москвой заставило Гришку вспомнить о семье, мысли о которой редко посещали его занятую самоистребительными безумствами голову. Дома Котошихин бывал только ночью, всё остальное время у него занимала приказная работа и суета вокруг немцев, в которую он ввязался по любопытству и живости нрава, но вскоре увяз в ней, да так, что выбраться из беды можно было, лишь потеряв свою голову. Жену Устинью и сыновей он видел чаще всего спящими, когда приходил в избу, вечерял тем, что находил на сковороде или в котле, снимал сапоги и ложился на лав-ку отдельно от Устиньи, от которой он давно отстал, сначала по её частым хворям, а затем из-за Сельмы, явившей Гришке в своих любовных хитростях нечто такое, что ему даже не снилось. Сладость и чистота немецкой девки заставили Гришку отвернуться от супруги, не знавшей шёлковых штанцов и пахнувшей не розовой водой из Кельна, а распаренным берёзовым веником и сажей черной бани.

Не заходя в избу, Гришка прошел к своей захоронке, выкопал её и пересчитал деньги, коих нашлось на три рубля больше, чем он надеялся. Это показалось ему добрым знаком, и в избу он пришёл в светлом настроении и даже улыбнулся Устинье, чего с ним уже давно не случалось.

— Где ребята? — сказал Гришка.— Опять где-нибудь озоруют?

— По-всякому бывает. Почему бы им не озоровать, ведь твои. А ты до сих пор озоруешь…

— Где ребята? — перебил женку Гришка.

— На пруду в деревянных корытах плавают, лягушек пугают. На что они тебе?

— Я, Устинья, сегодня еду в Смоленск.

— И надолго? — всплеснула руками женка, и у неё на глазах показались слёзы.— Как мы тут без тебя справимся, ума не приложу.

— Ребят отведи к моему родителю в монастырь. Пора им грамотой заниматься, а не бегать без дела между дворов.

— У меня денег почти не осталось из тех, что ты на Пасху давал.

Гришка выложил на стол двадцать рублей, и при виде денег у женки мигом высохли слёзы.

— Отдашь монастырским за обучение и содержание ребят пять рублей. Остальных тебе на год должно хватить, если без меня не загуляешь.

— Скажешь тоже,— улыбнулась женка, стеснительно прикрывая ладонью рот, в котором не было и половины зубов.— Пора уже о своём успении озаботиться. У меня лишь одна думка — дожить бы до внуков.

Котошихин в избе не засиделся, собрал мешок с нужными вещами, приласкал прибежавших с пруда сыновей и отправился в Земляной город, где находился складской двор Разрядного приказа, довольствовавший русские войска на войне с Польшей людским пополнением, конями, оружием, порохом, свинцом, а также всякими пищевыми и вещевыми припасами, и всё это исчезало в дыму и пламени сражений, как в бездонной пропасти. Война была прожорлива и ненасытна, и ежедневно из Москвы на Смоленск отправлялись сотни телег, на это и рассчитывал Котошихин, и не ошибся. Он открыл свою подорожную грамоту начальнику обоза, и тот указал ему на телегу, на которой были сложены и увязаны кули с сухарями.

— Можешь их грызть, лёжа на боку, всю дорогу, — сказал стрелецкий сотник. — А в Смоленске покажешь мне дорогу к кабаку.

На счастье долго не было дождей, и обоз не увяз в грязи, не утонул в болотинах и трясинах, а уверенно шёл своим путём, в стороне от проезжей дороги, где выбитые колёсами телег колдобины и ухабы закаменели и стали совсем непроезжими. Обоз шёл то полем, то лугом, то редколесьем, на телеге было тряско, тогда Гришка с неё сходил, шёл, похрустывая сухарём, рядом, временами припадал губами к роднику или ручью, чтоб размочить сухарную жёсткость во рту.

Москва была уже далеко за спиной, но страх разоблачения ещё не выветрился из подьячего, совершившего за какие-то три дня три предательства. Вредоноснее остальных была передача шведскому послу наказа великого государя окольничему Волынскому на переговорах о денежных требованиях Швеции к России. Другие два предательства были не так губительны, но разве можно назвать убийство малым или большим? Убийство всегда убийство, так и предательство, совершив его, изменник враз разрывает нравственные скрепы, которыми был соединён с соотечественниками, он выходит из круга родства с другими людьми по Отечеству и не пристает к тем, для кого совершил предательство: заплатив ему деньги, они гнушаются изменником и никогда не признают его за ровню себе.

Всё это было ещё не ведомо Котошихину, он пока что испытывал не нравственные муки, а страх разоблачения и последующей казни. Душевное спокойствие Гришка искал в самооправдании и легко находил причину, побудившую его совершить немыслимые греховные проступки, в той жизни, что ему пришлось вести не по своему выбору, по рождению в стране, которая никогда не была ему мила, а в какой-то миг до того обрыдла, что его стошнило предательством.

Но Гришка был еще далек от понимания того, что он натворил, и ему было весело, что он оказался годным взять да и совершить такое, что не под силу другим. Многие тысячи приказных на Москве гнули спины и колотились лбом о пол перед сильными людьми, и только у него достало силы отомстить за свои обиды единственным доступным способом, какой ему предоставил случай, и раскаиваться в содеянном Гришка даже не думал.

7

Ставка русской армии, которой командовал боярин князь Яков Куденетович Черкасский, находилась за Смоленском в чистом поле и представляла собой громадное скопление палаток, шалашей и ям, накрытых ветками, в которых, ожидая, когда князь поведёт их в схватку с неприятелем, бедовали русские войска, изрядно тая в числе от худой кормёжки и простудных хворей. Великий государь понукал князя поскорее сразиться с ляхами, и если уж не разгромить их наголову, то хотя бы крепко потеснить, чтобы понудить к скорейшему заключению мира, но Яков Куденетович после Конотопского разгрома русских войск стал зело осторожен и предпочитал видеть свои полки ополовиненными скорее от болезней, чем от саблей татар и запорожцев.

Алексей Михайлович осторожность Черкасского не одобрял и мягко выговаривал ему в письмах своё неудовольствие, на что командующий привычно не обращал внимания и продолжал бездельное стояние, и это вполне устраивало поляков, которые, не имея сил для разгрома русских войск, крепко надеялись повернуть против них крымских татар и турок и плели для этого всякие хитрые ловушки, в которые, в конце концов, угодили сами. Османы и татары разоряли польские владения с гораздо большим удовольствием, чем юг Малороссии и России, где всё уже было давно в прежние их набеги разорено и побито. Бедой для коренной Польши стал бунт против короля Яна-Казимира, который поднял силезский магнат Любомирский. И тогда, почувствовав опасность для существования самого королевства, окружение польского монарха понудило его начать переговоры с русскими в Дуровичах.

Котошихин стал одним из первых обитателей русского посольского стана, который Черкасский велел разбить в Зверовичах. Место для работы и жительства посольских людей было определено в версте от селения на краю дубравы близ полноводного и чистого ручья. Назначенный князем для охраны послов полковник Трегубов и Котошихин, вознесённый до советника по обустройству посольского стана, определили, где стоять шатрам и палаткам, нашли место для стрельцов, которые сразу же принялись строить себе шалаши, плести плетни для

огораживания отхожих мест, чистить дубраву от валежника, чтобы топить им полевые кухни. Для Котошихина и нескольких писцов поставили большую палатку, где они, пользуясь погожими днями, зажили в своё удовольствие до приезда посольских людей, которые уже были в пути.

Гришка был рад тому, что ловко ушёл из Москвы, когда там явно запахло для него жареным. И дьяк Алмаз, и подьячий Никифоров стали опасны, но ещё большую опасность для себя Котошихин представлял сам, когда на него без всякой на то причины накатывала бесшабашная дурашливость, и он мог ляпнуть такое, за что недолго поплатиться своей головой. Пока его спасало то, что в Зверовичах его слушать было некому, а полковник Трегубов, которому Гришка в подпитии принимался судачить о порядках в Кремле, близ царя, только бестолково хлопал очами и хватался за полную чарку, чтобы опрокинуть её в обросшее ржавью бороды по-щучьи широкое хайло.

Однако беззаботная жизнь закончилась, когда к стану подъехал большой обоз, и дьяк Богданов сразу нашёл Котошихину дело: велел поставить для нового главнокомандующего русскими войсками князя Юрия Долгорукого отдельный шатёр, где он будет пребывать во время съездов послов. Сам князь своим свинцовым взглядом привёл Гришку в трепет и оторопь, это был один из самых свирепых царских воевод, который через несколько лет казнит в Арзамасе десятки тысяч мужиков, поднявших, по зову Стеньки Разина, дубины на своих господ.

Князь Долгорукий из-за застарелых местнических счётов питал к боярину Черкасскому сильную нелюбовь, которую не скрывал ни от великого государя, ни от своего окружения, и Котошихин был поражён, когда увидел в свите Долгорукого своего давнего приятеля, к которому уже весьма охладел, Прокофьева.

— Я теперь, Гришка, у князя по письменной посольской части правая рука,— красуясь рядом со статным конём, с которого он только слез, сказал Мишка.— Князь не гнушается со мной и совет держать.

— Я так высоко не летаю,— нахмурился Котошихин.— Как бы с такой высоты вдребезги не разбиться.

— Да ты, я гляжу, загрустил, что князя Черкасского власти лишили? — заинтересовался Мишка.— Говорят, что у него мимо рук ничего не проходило?

— Откуда мне знать об этом? — сказал Котошихин.— Я боярина всего раз, как приехал, видел издали. И в руках у него, кроме поводьев, ничего не было.

— А ты повспоминай,— настаивал Мишка.— Может, от других что-нибудь недоброе о боярине слышал?

— Я гляжу, что ты и сюда явился с тем же, с чем надоел мне в Москве,— презрительно вымолвил Котошихин.— Сделай так, чтобы не попадаться мне на пути, не то упадёшь ненароком в яму и не вылезешь!

Прокофьев смолчал на грубость и, сев в седло, поднял коня на дыбы и ускакал прочь, унося в сердце неутолённую ненависть к Котошихину. Мишка уже знал, как ему отомстить, и орудием мщения скоро стал князь Долгорукий, который, заменив Черкасского, принялся искать свидетелей его преступлений, и велел своей свите найти таких, хотя бы из-под земли. Тут-то Прокофьев и высунулся со своей кривдой о Котошихине, что, дескать, этот подьячий ведает, как промышлял боярин Черкасский в государевой казне, хвалился своим многознанием в пьяном виде прилюдно, однако, проспавшись, не признает за собой сказанных слов, и его надо как следует приструнить, чтобы он открыл всю правду, коя ему ведома, как и то, о чем лишь догадывается.

Князь Юрий Долгорукий ухватился за ложный донос и велел доставить подьячего к своему шатру. Конные стрельцы быстро доскакали до посольского стана, схватили Гришку и, ополоумевшего от страха, приволокли его в ставку князя. Юрий Алексеевич пожелал сразу увидеть многознающего подьячего, и того втолкнули в шатёр и кинули к сапогам князя.

— Поднимись,— милостиво промолвил Долгорукий.— Кто ты есть таков?

— Котошихин Гришка, подьячий средней руки Посольского приказа.

— Страшные слова про тебя донесли, Гришка,— жёстко сказал князь.— Ведомо мне стало, что ты утаиваешь и покрываешь воровство против великого государя!

Едва приподнявшийся с колен, Котошихин вновь упал на ковер, покрывавший земляной низ шатра, испустив при этом всхлип отчаянья от пронзившего его насквозь страха: от обвинений в воровстве против государя редко кто оправдывался, и наказанием была кнутобойная торговая казнь.

— Говори, что тебе ведомо об измене князя Черкасского, приказная вошь? — ощерился Долгорукий. — Доносят, что ты был свидетелем встреч боярина с королевскими гонцами. Говори безотказно, что видел и что слышал!

— Обнесли меня клеветой, милостивец! — затараторил, глотая слёзы, Котошихин. — Я князя Черкасского видел всего два раза и то издали, а рядом с ним не стоял, и ничего от него не слышал, и ляхов не видел.

— Не лги, пёс смердящий! — затопал ногами князь. — Кто как не ты, писал королю, чтобы он был спокоен за Могилёв и Быхов: боярин Черкасский отступается от них за сто тысяч злотых!

Застращав Гришку до полусмерти, Долгорукий велел посадить его в яму под крепкий караул. До ямы его тащили волоком, бросили вниз и накрыли толстыми досками, на которые возлёг сторож и вскоре стал сонно посапывать. Гришка лежал внизу на гнилой соломе, дрожал и поскуливал, смерть казалась ему неизбежной, и отсрочить её могло только чудо.

Обвинения, которые воздвиг на него Долгорукий, были убедительны своей нелепостью, подкреплённые многовесным могуществом княжеского слова, они неминуемо вели Котошихина к пытке на дыбе, а на ней он себя оболгал бы после первого удара кнутом и наговорил бы на Черкасского такого, что обрекло князя на лютую князь.

Долгорукий не забыл о Гришке и, когда наступили сумерки, велел привести его в свой шатёр. За день Котошихин успел пропитаться в яме грязью и вонью, и воевода сморщился, глядя на елозившего возле его ног подьячего.

— У тебя один путь к спасению, — спокойно сказал Долгорукий. — Даю тебе день, чтобы ты написал собственноручно о том, какой вред нанёс боярин Черкасский своим нерадением и прямой изменой великому государю, пока был войсковым воеводой.

— Я напишу, — всхлипнул Гришка. — И меня же вздёрнут на веске.

— Какой же ты, право, дурак, — снисходительно вымолвил Долгорукий. — С моей помощью ты не только жив будешь, но и станешь дьяком, а твои сыновья, со временем, выйдут в дворяне. В твоем доносе великому государю нет лжи, царь сам обижен и зол на Черкасского за его бездельное стояние на Днепре, и ему нужен повод, чтобы проявить боярину свою немилость.

— Но меня за неправду казнят, — продолжал упираться Котошихин.

— Нет, ты в самом деле дурак, — стал наливаться гневом Долгорукий. — Даже я знаю, что к Черкасскому приезжали поляки.

— Это были послы, — сказал Гришка.

— Правильно, послы. Но ведь они говорили о всяких делах, и в том числе сманивали Черкасского на измену. Быть такого не может, чтобы послы не прельщали боярина каким-нибудь посулом. Такое водится среди всех народов. И не будет никакой лжи, если ты напишешь об этом.

— Может, кто другой напишет донос, — робко сказал Котошихин. — Есть Мишка Прокофьев, он у Алмаза Иванова и в приказе Тайных дел в большом доверии. Его слово будет весомее моего.

— Я лучше ведаю, кому писать, а кому помалкивать! — озлился князь. — Ступай к себе и чтобы завтра к вечеру грамотка лежала передо мной. И не вздумай захворать, а то пришлю к тебе лекаря с батогами.

Гришка, не веря своему счастью, что его отпускают, сделал один шажок назад к выходу, другой, и замер: Долгорукий погрозил ему пальцем и свистящим шёпотом пригрозил:

— Если что, кожу с живого сдеру!

Успокоиться и уснуть тревожным сном, в котором за ним гонялся Долгорукий, Гришка смог лишь к утру, благо, что в Зверовичах беспокоить солдат было некому: и петухи, и псы давно были изведены под корень, первые за то, что вкусны, а вторые за то, что без дела гавкали и бросались на ратных людей, когда те очищали дворы обывателей от мычащей, блеющей и кудахтающей живности.

Гришка проспал почти до полудня и проснулся от голода, но тотчас про него забыл, когда вспомнил про Долгорукого и то, что тот наказал ему сделать к вечеру. На этот раз Гришка не впал в растерянность и, пролив недолгие слёзы о своей непутёвой судьбе, пришёл к решению круто изменить жизнь.

«Куда не кинь — везде клин, — размышлял Котошихин. — Два князя, воеводы и бояры, сцепились между собой, и я сгину промеж них, как мураш. Задавят и не чихнут. Я Долгорукому угожу, тогда мне от Черкасского житья не будет. Кто-то из них велит меня зарезать или удавить. Сейчас человеку потеряться —

плевое дело. Убьют, скроют в отхожем месте и скажут, что убежал к полякам. — Это внезапная мысль блеснула для Котошихина, как лучик спасения в кромешных потёмках. — А ведь это выход! Вспомнить, так судьба уже четыре года толкает меня на этот путь. Разве это не её был знак, когда меня били батожьём? Следом дом отняли, пустили по миру. Недаром я и в Стокгольме был послан гонцом, и там сошёлся с Эберсом. Скоро он сам в Москву явился, и у меня другого выхода не было, как показать ему государев наказ. А после этого как было жить на Москве? Никифоров за мной слежку устроил, а тут Алмаз послал меня в посольство. Вот уже это знак так знак! Но и этого оказалось мало, сейчас насел на меня Долгорукий, а от него одно спасенье — уходить к ляхам!»

Собрав мешок, Гришка высунулся из палатки и огляделся вокруг, русский посольский стан был пуст, все люди находились в Дубровичах, где шла работа по обустройству мест для проведения съездов польских и русских послов. Он прошёлся по стану и обомлел от удачи: на опушке дубовой рощи пасся стреноженный конь. Гришка заглянул в палатку, где хранилась упряжь и, схватив уздечку, подбежал к коню, развязал на передних ногах путы и потянул за собой. За палатками послышался шум, беглец присел рядом с конем, но никто его не увидел и не остановил. Не мешкая, Гришка оседлал коня, привязал к седлу мешок с вещами и понудил его идти за собой в лес. Отойдя от стана саженей на двести, он сел в седло и поехал на польскую сторону, сторожко озираясь и желая себе удачи не встретить русских ратных людей.

Солнце уже перекатилось на польскую сторону и стало слепить Гришке очи, когда он услышал тяжёлый конский топот. Сощурившись и заслонившись ладонью от солнца, он присмотрелся и похолодел от страха: прямо на него ехали полтора десятка рейтар, посверкивая железом шапок и плечевых доспехов. Они возвращались из поиска и в поводу вели коня, на котором сидел связанной куклой лях, и покачивал из стороны в сторону головой, обмотанной окровавленной тряпкой. Это были лазутчики, бегавшие на польскую сторону, чтобы добыть языка.

— А ну, стой! — велел Котошихину рейтар, ехавший впереди, явно начальник, судя по наградному золотому полтиннику, который вспыхивал на его железной шапке.

— Кто такой? Куда спешишь?

Гришка испугался до немоты, но сумел нащупать за пазухой и вынуть подорожную грамоту, выписанную ему в Посольском приказе. Рейтар был неграмотен и позвал грамотея.

— Вычти, Филька, что это за человек?

Рейтар, шевеля губами, долго елозил по буквам затуманенным взглядом, но с чтением справился и облегченно сказал:

— Это, господин поручик, подьячий Посольского приказа Гришка Котошихин.

— Вон как! — значительно произнес офицер и, тронув своего коня, наехал на Гришку. — И куда же ты, господин подьячий, на ночь глядя, поспешаешь?

— Как куда? — Котошихин опамятовался и нашёлся, что солгать. — Еду в Дубровичи, где назначен съезд русских и польских послов.

— В Дубровичи? — удивлённо сказал поручик. — Так ты их давно проехал.

— Как, давно проехал?

— Они вёрст десять, как остались позади тебя, — сказал поручик. — Поезжай с нами, нам почти в ту сторону.

— Я и один доеду, — пробурчал Гришка, нехотя поворачивая коня.

— Давай не балуй! — жёстко велел офицер. — Ты едешь по польской земле, а как ты сюда попал, скоро расскажешь командиру полка Чубарову.

Котошихин не торопился исполнять приказание поручика, и тот приказал одному из рейтар приглядывать за подьячим с той же строгостью, как и за поляком. Ни сил, ни желания сопротивляться у Гришки не было, он, как оторопел от встречи с русскими рейтарами, так и остался пребывать в сковывающей его разум оторопи, даже не делая попыток как-нибудь извернуться и отсрочить написанную ему на роду смерть. Однако та и не думала приходить за Гришкой: из леса на рейтар выскочила подстерегавшая их засада. Это были поляки, на которых русские совершили утром нападение, некоторых побили, а их начальника уланского ротмистра Масальского увели с собой. Уланы недолго оправлялись после нападения рейтар и скоро кинулись за ними в погоню, по следам, которые, как не остерегались, но русские оставляли везде, особенно в памяти людей.

Хорунжий, возглавивший уланскую погоню, был опытным

воином и знал, что идти за рейтарами в угон означает почти верную потерю капитана Масальского, которого москали, в случае опасности могли зарезать или, повернувшись против улан, связать их сабельной рубкой, а пленника умчать к своим на самых резвых конях. И, поразмыслив, хорунжий велел уланам идти правее русских следов, обогнать их и устроить засаду в каком-нибудь укромном месте.

Задумка хорунжего оправдалась, уланы, подпустив рейтар, выстрелили в них из пистолетов и взялись за сабли, сойдясь с русскими в кровавой сечи. Рейтарский поручик выхватил из седельной кобуры пистолет и выстрелил в Масальского, чтобы его поразить насмерть, но в миг, когда пуля уже вырвалась из дула, хорунжий так ударил плетью коня, на котором сидел пленник, что тот взвился на дыбы и помчался туда, куда и было надо, на польскую сторону. Поручик, отбиваясь от насевшего на него улана, громко крикнул, чтобы рейтары сбились в кучу и отходили к своим. Поляки не помешали им выполнить эту задумку и стали тоже отходить от рейтар, которые наконец-то успели взять в руки тяжёлые пистолеты и грозно целились ими в спешивших от них на рысях ляхов.

Гришке, когда вспыхнула схватка, повезло в толчее не попасть под саблю и пулю, не свалиться на землю и не быть затоптанным насмерть подковами боевых коней. Он бросил поводья, уцепился, как чёрт за грешную душу, за конскую гриву и отдал себя на волю случая, и тот заставил его коня мчаться за конём капитана Масальского, который замедлил свой бег лишь тогда, когда скрылась из вида опушка, где остались сражаться люди.

Масальский сидел на коне, опустив голову, и слабо постанывал, и по его виду можно было судить, что он потерял много крови и совсем ослаб. Гришка осторожно к нему приблизился и развязал ему руки.

— Опусти меня на землю, — слабым голосом произнёс капитан. — Мы одни? Где уланы?

— Дерутся, — сказал Котошихин, опуская Масальского на землю. — На счастье нам удалось вырваться.

— Где ты увидел счастье? — капитан схватил подьячего за полу однорядки. — Ты кто таков?.. Молчи! Вижу, что смерд и раб.

— Я был подьячим Посольского приказа, — вякнул Гришка.

— А сейчас кто ты есть? — взгляд Масальского приобрёл осмысленность. — Что ты здесь ищешь?

— Бегу от многих неправд и своей верной погибели на польскую сторону, — пустил слезу Котошихин. — Хочу предложить своё знание русских порядков на службу королевскому величеству.

— Стало быть, ты предатель, — удивленно произнёс Масальский. — редкая птица, я такой ни разу не видел.

— Я готов служить и твоей милости, — искательно вымолвил Котошихин.

— На уланской службе изменники мне не нужны, — отмахнулся от Гришки капитан. — А ведь ты не первый, кто с царской привязи сорвался и сбежал к королю. Ты знал Войку Ордин-Нащекина?

— Знал, ваша милость, не близко, но знал.

— Вот и встретишься с ним завтра, — попытался улыбнуться капитан. — Он в местечке, где наш полк, ждёт отъезда в Московию.

— Как же он на такое решился! — поразился Котошихин. — Его ждёт веска или земляная тюрьма, где-нибудь на Коле. Нет, он с ума сошёл — бежать из вольной Польши в Москву!

Телесная усталость заставила Масальского замолчать, Гришка укрыл его снятой со своих плеч однорядкой, а сам стал собирать сухой хворост для костра. Вокруг быстро сгущались сумерки, и надо было показать уланам, где находится их раненый капитан. Скоро огонь охватил ком сухой травы, перекинулся на тонкие сухие ветки и заплясал на крупных сучьях. Эти яркие всплески света увидел с бугра хорунжий, и уланы с криками кинулись к костру.

— Отпусти его! — велел Масальский улану, который схватил и крепко держал Гришку за шиворот. — Это, панове, русский предатель, сейчас он ищет польской службы.

Улан оттолкнул от себя Котошихина, старательно вытер руки о свои бархатные штаны и плюнул под ноги Котошихина. То же самое сделали и остальные уланы. Затем они с великим бережением усадили своего капитана на коня и направились в сторону последних отсветов уже скатившегося за край земли солнца. Гришку с собой они не позвали, но он, не мешкая, взгромоздился на коня и отправился по единственному пути, какой у него остался, — за польскими ратными людьми.

Белорусское местечко к возвращению в него улан было уже погружено в сон, на въезде в него горел большой костёр, стояла стража, с шутками проводившая однополчан и схватившая

Котошихина, которому пришлось объяснить, кто он такой и причины своего появления на польской стороне. Дежурный офицер из объяснений беглого подьячего понял лишь то, что перед ним перебежчик, и отправил его до утра в избу, где ждал своего отъезда в Москву Войка Ордин-Нащекин. Гришка в тёмной избе наощупь отыскал лавку, бросил в изголовье мешок со своими вещами и скоро заснул.

Новый день пришёл к Котошихину скороговоркой молящегося человека, который, поставив на скамью складень, стоял перед ним на коленях и усердно поколачивал лбом в деревянную половицу. Это был поразительно похожий на своего родителя Войка, такой же, как отец, щупловатый, невидный всем, кроме ясных светло-серых очей, кои при взгляде на собеседника начинали подрагивать и посверкивать, как осколки хрусталя в прозрачном и быстром ручье.

Войка закончил утреннее моление, поцеловал и сложил складень, затем замотал его в вышитое полотенце и скорбно вымолвил:

— Я ведь тоже, когда бежал к королю, бросил молиться. И тебе, Котошихин, предстоит через это пройти.

— Может, я по-другому заживу, — сказал Гришка, поднимаясь на лавке. — Откуда меня знаешь?

— Сказали ляхи. Я думал, что я один такой дурак на всю Россию сыскался, что пал на немецкую сладость, оказывается, нет. Мой пример никого не научил.

— Ты, Войка, мне не в пример, — раздражённо сказал Гришка. — Тебя сам великий государь ласкал, ты с Фёдором Ртищевым за одним столом сиживал, твой родитель — думный дворянин и окольничий, скоро ближним боярином станет, разве я тебе ровня?

— Конечно, ровня, — смиренно промолвил Войка. — Мы оба предатели, на мне и на тебе один грех — измена Отечеству.

— Грех, возможно и один, — усмехнулся Котошихин. — Но ты за него заплатишь раскаяньем, а я — своей жизнью.

— Но и тебе не поздно покаяться. Скажи слово, и я тебя возьму с собой. Великий государь милостив, он мне даровал прощение, не пожалеет его и для тебя.

— Ты, говорят, Войка, неглуп, но тебя слушать смешно. Ты хоть догадываешься, за что тебя простил великий государь?

— По своей доброте, — тихо промолвил Войка. — Или не так?

— Ты будешь жить потому, что царь тебя излишне приголубил и теперь себя за это винит. Не будь этого, тебя ждала бы на Москве не монашеская келья в Кирилло-Белозёрском монастыре, а палач с пеньковой петлёй в одной руке и с кнутом в другой.

— Зла в тебе много накопилось, — смиренно сказал Войка. — Ты облегчи душу, помолись, яви Господу своё смирение. Я ведь тоже был невиданно горд своей нелюбовью к Москве, а сейчас молю Спасителя, чтобы дал мне счастье увидеть своё Отечество.

— Проживу и без твоих советов, — буркнул Котошихин. — Ты лучше бы мне открыл, кому челом ударить, чтобы получить здесь службу.

— Не ведаю. Я здесь счастья искал в другом, да не обрёл, как видно.

Глава четвёртая

1

В один из сентябрьских дней 1665 года возле ворот, отделявших гавань от жилых и торговых кварталов вольного города Любека, появился неизвестный человек, едва прикрытый рваньем, в которое превратилась его одежда. Он шёл, едва переставляя распухшие ноги, обутые в деревянные башмаки и опирался на суковатую палку, из-под полей рваной шляпы выглядывали грязные лохмы, взгляд был опущен вниз, чтобы не оступиться на скользких булыжниках, которыми была вымощена улица, и все удивлялись, как это бродяге удалось пройти через весь город до самой гавани и не угодить в лапы сторожей, охранявших покой бюргеров от нашествия гулящих людишек, коих после Тридцатилетней войны ещё немало шаталось по дорогам измученной неслыханными насилиями Германии.

Сторож у ворот гавани уже издали заметил опасное для добропорядочного общества существо и, выйдя из своей будки, встал посредине мостовой с намерением преградить ему путь. Оружия он не имел, но был широкоплеч и обладал басовитым начальственным голосом.

— Стой! — возгласил сторож, заступив непрошенному гостю путь. — Вход таким, как ты, в гавань возпрещён. Убирайся отсюда поживу-поздорову!

Бродяга остановился, окинул сторожа пустым взглядом смертельно усталого человека, запустил руку в свои лохмотья и вынул свёрнутую в свиток грамоту. Сторож отмахнулся от неё и вновь потребовал, чтобы бродяга убирался прочь. Возле них стали останавливаться люди, для которых стычка у ворот стала бесплатным развлечением. Сторож увидел в этом возможность отличиться перед толпой матросов и грузчиков, и стал гнать бродягу всё настойчивее.

— Задай ему, Гельмут, перцу! — покрикивали из толпы.

— Он болен и его надо отправить в госпиталь Святого Духа, — говорили те, кто не был ещё лишен сердца.

Заручившись одобрением толпы, сторож взял в руку дубинку, чтобы прогнать бродягу, но раздался голос человека, к которому в Любеке прислушивались все, это был голос потомственного купца Людвига Винтера, имевшего больше двух десятков торговых кораблей и чей капитал, как поговаривали, превышал миллион риксдалеров.

— Ты, Гельмут, забыл свои обязанности! — строго сказал корабельщик. — У этого человека в руке грамота. Почему ты её не прочел. Может там и написано, кем он является на самом деле.

В толпе сразу отыскались желающие прочитать грамоту вслух, но сторож к ней никого не допустил, взял её у бродяги, развернул и, помолчав, объявил:

— Здесь на двух языках писано: по-немецки и, кажется, по-польски, есть орлёная печать.

— Подай бумагу! — повелительно произнёс Винтер, и грамота, миновав несколько рук, достигла корабельщика. Он прочитал её, нахмурился и спросил бродягу:

— Здесь прописаны два имени: Григорий Котошихин и Яган Селицкий, какое из них настоящее?

— Григорий Котошихин, — ответил бродяга. — Яганом Селицким я назвал себя в Польше, куда бежал из Московии.

— Стало быть, ты русский? — перекрывая шум толпы, сказал Винтер.

— Был русским, — тряхнул головой Гришка. — А сейчас я — бурьян, перекати-поле.

— Кем ты был в Москве?

— Подьячим средней руки в Посольском приказе.

— Даже так! — удивлённо воскликнул корабельщик. — Тогда ты должен знать купцов Немецкой слободы.

— Я вёл шведский стол в приказе, к русским немцам отношения не имел, однако знавал Якова Блуме, Генриха Крузе…

— Ты знаешь Генриха? — переспросил Винтер.

— Как не знать, — ответил Гришка. — Пил-ел у него за столом не раз и ночевал в его доме. Племянницу его видел. Сельму, бойкая девица.

— Это дочь сестры моей жены, — сказал Винтер. — Кажется, она обрела в Москве своё счастье?

— Видел я её счастье — полковник Коль, — скривился Гришка, вспомнив, как немец загнал его в Яузу.

— Об этом мы еще поговорим, — сказал Винтер, задумчиво поглядев на Котошихина. — Однако сначала я должен тебе помочь.

И корабельщик, удивив людей, объявил, что забирает бродягу с собой. Сторож укоризненно покачал головой, но перечить богатому купчине не стал, и тот, поманив за собой Котошихина, прошёл в гавань, на прибрежную полосу земли, застроенную складскими амбарами и причалами, возле которых стояли корабли разных стран. С одних кораблей товары сгружали, на другие корабли товары нагружали. От этого в гавани было суетно и шумно, но это не помешало людям кланяться, приветствуя знаменитого корабельщика, и с любопытством поглядывать, как на заморскую диковинку, на оборванца, который за ним следовал и озадаченно оглядывался по сторонам.

— В Московии таких гаваней нет и вряд ли будут, — самодовольно сказал Винтер. — За это я хвалю шведов, что не дают на море места таким народам, как московиты. И это я говорю не с чужих слов, мне приходилось бывать в Новгороде, Пскове, даже Москве, и всё, что я там видел, меня удручает до сих пор: обман, воровство, грязь. С такими повадками московитам на море делать нечего.

Хотя Котошихин и барахтался на самом дне жизни, слова немца покоробили остатки его души, и он посмел ему напомнить:

— Шведы не только Россию лишили моря, но и Ганзейский союз, и Любек, который всегда был в нём первым, они доконали своими запретами.

Винтер удивлённо воззрился на знающего московита и возразил:

— Любек захирел вовсе не от шведов, а от того, что вся торговля сместилась, благодаря Англии, в Атлантику. А то, что шведы отталкивают меня от торговли с Московией, есть чистая правда. Но об этом потом. А сейчас, Григорий, тебя надо устроить.

Винтер перепоручил Котошихина старшему приказчику амбара, который подобрал ему ношенную, но вполне достойно выглядевшую одежду, какую носили любекские обыватели, однако вещи Гришке в руки не дал, а позвал слугу, что-то ему сказал, и тот повёл Котошихина в большую избу, из дверей и окон которой несло паром и мыльным теплом. В избе десятка два женок мыли порты и рубахи матросов и грузчиков. Слуга провёл Гришку за перегородку рядом с большой печью, где стояли железные бочки, в которых нагревалась вода, дал ему в руки большой ковш на палке и знаками велел наливать в широкую и глубокую лохань воду, из той бочки, где вода уже закипала. Затем Гришка разбавил кипяток холодной водой, разделся догола и погрузился в лохань, а слуга подцепил его лохмотья палкой и сжёг их, до последнего лоскута, в печном пламени.

После мытья в Котошихине проснулось столь острое чувство голода, что к харчевне он чуть ли не побежал, и скоро перед Гришкой стояло большое блюдо с жареными селёдками и луком, плавающим в рыбьем жире. Он всё ему поданное на стол умял в один присест, оглянулся, ожидая добавки, но слуга потянул его за рукав, они вернулись в амбар, где Гришке была указана в заставленном бочками углу лавка, на которую беглый подьячий опрокинулся и тотчас уснул, проспав до вечера, пока в амбар не пришёл хозяин.

Слуга растолкал Котошихина, дал ему сполоснуть лицо и проводил в отгороженное гладкими досками помещение в углу амбара, которое оказалось по-господски устроенной комнатой с камином, креслами вокруг стола с мраморной крышкой, где посередине на золотой подставке покоился игрушечный, сделанный из янтаря корабль, с парусами и капитаном на мостике.

Корабельщик покуривал трубку, перед ним стоял штоф, и в серебряной чарке мерцало рейнское вино. Он доброжелательно встретил Котошихина, указал на пустую чарку и предложил её

наполнить, что Гришка сделал сразу, не дожидаясь напоминания. От табака он отказался, и предпочел ему медовую грушу.

— Мой человек, а это в портовом городе сделать легко, навёл о тебе справки, — сказал Винтер. — Нашлись люди, которые о тебе слышали, и они подтверждают, что ты именно тот человек, за какого себя выдаешь.

— Вот и вы, господин Винтер, убедились, что и среди московитов встречаются те, кто не врёт, — нашёл в себе смелость ответить лёгким укором Котошихин. — Я не самозванец, да и вряд ли такой найдётся охотник заменить меня на дыбе и плахе, коей мне угрожает русский закон.

— Оставим то, в чём ты виноват перед царём, — деловито сказал Винтер. — Но для того, чтобы я мог чем-то тебе помочь, мне нужно знать, что ты намерен делать, если у тебя вдруг появятся некоторые средства.

— Мне нужно попасть в Нарву, — живо заговорил Котошихин. — Вы скажите, почему не в Стокгольм, где, я знаю, меня приветят и дадут возможность жить? Не знаю до конца, зачем я рвусь в этот город, но меня туда что-то зовёт.

— Нарва — русский город, хотя сейчас он под шведами, — сказал Винтер. — И, скорее всего, ты хочешь вернуться в Москву, но пока боишься признаться в этом самому себе.

— Я столько всего дурного изведал за последний год, что Москва мне уже не кажется страшной.

— На Москву тебе ехать только за своей смертью, — усмехнулся бывалый корабельщик. — Что ж, до Нарвы я тебе помогу добраться, дам немного денег, но, может, в городе тебя кто-то знает?

— Надеюсь на купца Овчинникова, — сказал Гришка. — Когда-то мы с ним делили хлеб-соль. Я бывал у него в Нарве, вместе в Стокгольм ездили.

— Овчинников — мой торговый агент, — оживился Винтер. — А в Нарву из Любека почти каждую неделю бывает корабль. И сейчас стоит под погрузкой шведская шхуна. Её владелец — мой приятель. Если до завтрашнего полдня не отдумаешь ехать, то иди к капитану, он о тебе будет знать уже сегодня.

— Благодарю за милость, господин Винтер, — отучившийся падать ниц, Котошихин церемонно, по-польски, поклонился корабельщику. — Вы добрый человек, что в наши дни большая редкость.

Сдержанность, с которой Котошихин поблагодарил корабельщика, произвела на того должное впечатление, и он, достав замшевый кошель, нескупо сыпанул на стол серебро. Гришка за свои польские и немецкие скитания отвык от денег и смотрел на них с восхищением и опаской.

— Ужели это всё моё? — сказал он, простерев над серебром ладони.

— За проезд с тебя плату не возьмут, — сказал Винтер. — Но я напишу Овчинникову письмо с предложением и перечнем товаров, какие он сможет у меня купить. Это и будет твоей ответной для меня услугой.

После ухода своего случайного спасителя и благодетеля, Котошихин спрятал деньги и задумался над тем, правильный ли он делает шаг, отправляясь в Нарву, или нужно прямиком поспешить к шведскому королю и напомнить ему о тех услугах, которые он оказал Эберсу на переговорах с окольничим Волынским. Но сделать этот шаг сдерживало то несладкое воспоминание о грубости и презрительном чванстве, которые он претерпел при дворе короля Яна-Казимира, когда, надеясь на распростёртые объятья, обратился к нему с предложением услуг, и в ответ услышал отповедь, что честный лях с предателем не якшается, и королю нет дела до сплетен о царском дворе, тем более от человека подлого звания.

Котошихин кинулся от короля в Литву и упал на колени перед канцлером Христофором Пацем. Вельможа переговорил с беглым подьячим и был весьма удивлён его познаниями в государственном устройстве России и способностью правильно оценивать текущие политические события. Литовский канцлер взял его на службу советником, ему был положен сторублёвый годовой оклад, литовцы оказались не так щепетильны и на предательство Котошихина не обращали внимания, но среди важных людей Литовской короны было много русских и православных. Будучи связанными с королем Польши присягой на верность, они воевали против русского царя в силу дворянского долга, и на людей, подобных Котошихину, взглядывали как на выродков, которые неизбежно случаются во всяком народе.

Скоро ему не стало проходу в русском Вильно, куда бы он ни пошёл, где бы ни появился, следом за ним не утихал змеиный шелест многажды повторённого мерзкого имени: «Иуда! Иуда!..»

Гришка стал жить взаперти, но и за забором его не оставили в покое, и однажды на стене дома, где он скрывался, кто-то дёгтем написал богомерзкое имя. Этот случай подтолкнул Котошихина к бегству, он уехал в Силезию, но там его услуги были встречены магнатом Любомирским, искавшим союзника в московском царе, отказом. И скоро Гришка окончательно сорвался, запил горькую, спознался с картёжными игрецами, они-то и раздели Котошихина донага игрой в поддельные карты, и он обратился в бродягу, нищенствующего Христа ради, последним приютом которого должна была стать общая для безымянных мертвецов могильная яма.

Однажды он проснулся после сильнейшего запоя и глянул на небо, где не было ни облачка, а лишь одна бездонная голубизна. И созерцая бесконечную чистоту, Гришка почувствовал, как что-то в нём содрогнулось, он увидел себя совсем мальцом на крыше отцовской избы, девственно чистое небо и в нём играющую стаю голубей. Воспоминание перехватило ему горло, он сглотнул слёзный комок, горько пожалел себя и оглянулся по сторонам в поисках выхода из западни, в которую загнал себя сам.

Наступали осенние дни, со стороны Швеции в южную сторону потянулись перелётные птицы, но Гришке чудилось, что они летят из России, и он пошёл им навстречу к морю, и шёл до тех пор, пока не забрёл в вольный город Любек, и здесь судьба свела его с добрым немцем Винтером, который проникся сочувствием к его беде, не отвернулся от падшего человека, и, по завету своего лютеранского Бога, дал ему возможность выбора дальнейшего жизненного пути.

Задумавшись над всем, что с ним произошло в последний день, он вдруг понял, что его мысли о будущем перетерпели разительную перемену: ещё утром он мечтал добраться до Нарвы и оттуда послать великому государю челобитную о прощении, а к вечеру, помывшись, став сытым и выспавшимся, заимев полную пригоршню серебра, Гришка вдруг засомневался, стоит ли ему спешить в Москву и не ждёт ли его там плаха и разбросанные затем по всему городу отрубленные от туловища руки и ноги? Однако долго думать об этом Котошихин не стал, решив, что сначала ему нужно добраться до Нарвы и там уже задуматься, как жить дальше.

Шхуна была довольно старым судном, она отчаянно скрипела и визжала всеми своими сочленениями, когда вышла в открытое

море, и стала добычей расходившихся волн, для которых на Балтике осенью начиналось полное раздолье, продолжавшееся всю зиму, до майских дней. Шкипер поместил Котошихина в трюм, где были свалены рваные парусные снасти, на них Гришка пробедовал почти две недели, промёрз и промок до того, что его перестали слушаться распухшие от холода ноги, и в неходячем состоянии наконец-то оказался на нарвском причале, куда его вынесли со шхуны матросы и, накрыв двумя рогожами от дождя и ветра, оставили дожидаться, когда кто-нибудь его подберёт и обогреет.

Однако везение, благосклонно взглянувшее на Гришку в облике корабельщика Винтера в вольном городе Любеке, не покинуло его и в Нарве, на сей раз о нём озаботились грузчики, взявшиеся разгружать шхуну, Котошихин мешал им скатывать с палубы на причал бочки, и они на рогоже отнесли его в будку, где хранили свою одежду. Немного обогревшись, Котошихин почувствовал, что язык у него во рту начал шевелиться, а рука может дотянуться до кармана, где он хранил для случая серебряную мелочь. Став самодостаточным, Гришка приоткрыл дверь сторожки и, приглядевшись, подозвал к себе мужика, который, сидя в бочке, выскабливал её от жирной рыбной грязи.

— Посочувствуй, друже, хворому, — сказал Гришка и позвенел мелочью в кулаке.

— Что надо? — оживился мужик. — Куда сбегать?

— Купца Овчинникова знаешь?

— Кто же не знает Кузьму Афанасьевича? — весело сказал мужик, сладко поглядывая в сторону денег.

— Будь милостивцем, сбегай к нему и объяви, что явился Григорий Котошихин, но сам дойти до его двора не в силах, и пусть кто-нибудь ему подсобит.

— Я мигом! — заторопился мужик. — Но ты деньги не прячь, пусть они у тебя, как были в кулаке, так и побудут.

На подворье шведского купца Кузьмы Овчинникова, удивляя соседей, с утра задымила баня, в ней хозяин взялся лечить своего гостя от простудной хвори, коей он пропитался во время своих скитаний по суше и по морю. Раздетый донага Котошихин возлежал на полке, а хозяин парил и растирал его вениками — берёзовым, дубовым и полынным. Время от времени он брался за ковш, окроплял водой и квасом раскалённые камни в очаге

и поил Гришку питьём собственной выдумки, которое не раз спасало от всяких хворей и его самого.

— Отощал ты, Григорий, остались на тебе одни кости да кожа, — говорил Овчинников, постукивая гостя дубовым веником. — Но ты не горюй, не успеешь помереть, как станешь мясистым и белотелым, как наш нарвский пастор.

— А ты, Кузьма, откуда знаешь, как лютеранский поп голяком выглядит?

— Велика важность! — хохотнул Овчинников. — На твоём месте недавно сам губернатор Якоб Таубе полеживал, и от моего веника и постанывал, и покряхтывал.

— Что, и он здоровья искал в твоей бане? — поднял голову Котошихин.

— А кому оно не нужно? — удивился Кузьма Афансьевич. — Даже кошка травой лечится, а человеку сам Бог повелел печься о своём здоровье. Вот пропаришься, выпьешь семь трав, настоянных на двойном вине, уснёшь под овчиной, чтобы потом вся хворь из тебя вышла, и оздоровеешь.

На утро Котошихин, вопреки словам хозяина, не встал с постели, но почувствовал себя значительно лучше, а через три дня ожил полностью, в чём убедился сам, когда ощутил, что неравнодушно глядит на поломойную девку, которая, согнувшись, елозила мокрой тряпкой по половицам его комнаты. Мыслью он сразу метнулся к Сельме, чью сладость с Гришкиных губ не смогли стереть ни горький хлеб чужбины, ни едва отпустившая его из смертельных объятий простудная хворь.

В эти дни Овчинникова в Нарве не было, он ездил в Псков, вернулся довольный выгодно заключёнными сделками, и ещё больше стал весел, когда увидел Котошихина на ногах.

— Вот и тебе помогла моя банька, — сказал он. — А я в Псков сбегал, со своим братом купцом перетолковал, и, знаешь, встретил твоего знакомого. Угадай кого?

— Меня многие знают, — усмехнулся Котошихин. — И кто обо мне беспокоится?

— Капитан Репин.

— Вот о ком никогда добром не вспоминал, — сказал Гришка. — Ты ему не сказал, что я в Нарве?

— Он и не спрашивал. Просто среди прочего обмолвился, что о тебе пришёл указ из Москвы — проведать, не прячешься ли ты от царского гнева среди шведов.

— Вот беда! — затосковал Гришка. — Я думал, что обо мне не вспоминают, хотел подать челобитную на прощение своих прежних вин.

— Ты что, дурак! — округлил глаза Овчинников. — У Москвы долгая память, она добра не помнит, а за тобой, наверно, много чего накопилось.

— Есть, не без этого, — вздохнул Гришка. — Но и на Неметчине за последний год я много чего понял.

— А ты, Григорий, не скупись, — сказал Овчинников. — Поделись со мной, что такого в Неметчине хитрого?

— Люди здесь живут, как и русские, по-разному. Много таких, что ругательски ругают свою страну, но я ни одного немца не видел, чтобы он желал своему Отечеству худа. Он может думать о нём всякое, но зла не пожелает.

— А ты, Григорий, и в этом повинен? — промолвил Овчинников.

— Случался со мной такой грех в той же Польше. В Литве, в Прусии…

— Тогда, брат, о Москве навсегда забудь, — сказал Овчинников. — Тебя в Швеции знают. Такие люди, как ты, поперёк дороги не валяются. Я скоро скажу губернатору, что ты живёшь у меня, думаю, он тебя к себе позовёт.

В Нарве было много русских, местных и приезжих, но Котошихин от них сторонился и стал вести жизнь затворника, сидел в комнате, глядел, позёвывая, в окно, за которым простиралась, уходя за край земли, свинцово-серая балтийская вода, и ждал, когда ему явится случай сменить сонную жизнь на что-нибудь более определённое и более приличествующее знаниям и способностям, которые он хотел проявить на шведской службе. Путь к королевскому двору в Стокгольм был для беглого русского не заказан, но Котошихин понимал, наученный недавним польским и литовским опытом, что он не может просто так с бухты-барахты заявиться в королевский дворец и предложить свои услуги знатока русских дел канцлеру Магнусу де ла Гарди. Поначалу ему, размышлял Котошихин, надо произвести благоприятное впечатление на губернатора Таубе, чтобы тот известил Стокгольм о беглом посольском подьячем, уже сумевшем оказать тайные услуги шведской короне. Не худо, чтобы о нём сказал своё слово Адольф Эберс, который сейчас был в Стокгольме, где советовался с канцлером,

какие угрозы ему взять с собой на продолжение переговоров о русском денежном долге. В такой острый момент иметь под рукой знатока русских посольских дел и обычаев было бы кстати, и Котошихину оставалось теперь терпеливо ждать, что его не забудут и не оставят загибаться в Нарве, где его легко могла настигнуть кара русского царя.

Овчинников, который был тесно связан с тайными шведскими делами, мыслил в этом же направлении, что и его гость, поэтому, немедля, отправил в рикскансцелярию сообщение о Котошихине, готовом перейти на шведскую службу, и теперь ожидал, когда будет можно явиться на приём к губернатору, всё ещё жившему в летней резиденции, но уже готовому к переезду на зиму в крепость.

Чтобы Котошихин не скучал, Овчинников принёс ему несколько шведских газет и тетрадь памфлетов на русском языке, изданную в Стокгольме известным печатником и борзописцем Юнгемансом, коего предлагал извести кукуйский негоциант Генрих Крузе, чтобы тот не хулил великого государя перед просвещённой Европой. Гришка в первую очередь взялся читать памфлеты и не мог надивиться, сколько грязи и глупости на Россию собрано на полусотне страниц текста. Раньше Гришка видел памфлеты в Посольском приказе всего один раз и то издали, их читал только думный дьяк Алмаз, а в Нарве они лежали в пивной для матросов вполне свободно, на одном столе с рыбной закуской, и слуга мог подать их любому желающему.

Читать по-шведски за год скитаний Гришка не разучился, и на газеты накинулся с жадностью, чтобы усовершенствоваться в языке для безотказного получения королевской службы. В газетах писали обо всём, что делается на белом свете и о шведских новостях. Одно сообщение его заинтересовало тем, что в нём рассказывалось о беглеце из Франции, спрятавшимся от католических гонений в Стокгольме. Звали этого учёного француза Ренэ Декарт. За пятнадцать лет, прошедших после смерти, его имя приобрело всеевропейскую славу и французский король устыдился и велел своим министрам начать переговоры с шведским правительством о возвращении праха Декарта на родину.

«Вот он живой пример, — печально подумал Котошихин, — что не токмо в России свершаются великие неправды, но и во Франции, где не одни женихи и девки, но и король

наряжаются в нитяные кружева и пляшут со всякими прыжками и ужимками». Последнее Гришка не выдумал: в газете были нарисованы последние моды из Парижа — пляшущие фигурки, в которых из-за их кружевной одежды невозможно было отличить мужиков от женок. «Ясно, что Европа нас обогнала навсегда, — вздохнул Котошихин. — Странно только, почему она, будучи России умней, сильней, привлекательнее, всё время на неё злобится и норовит пнуть, как только появится возможность до неё дотянуться?»

Котошихин за неделю, как появился в Нарве, заметно поправил свои больные ноги, с них спала опухоль, да и сам он на купеческих харчах округлел лицом, а в глазах появился маслянистый отсвет, что всегда было признаком сытого человека. Тем временем из своего загородного дома приехал в Нарву губернатор, и к нему кинулись со всех сторон всякого пошиба просители, накопившие за лето большое число жалоб, доносов и требований, со всеми этими обращениями пунктуальный выпускник Упсальского университета Таубе стал, не щадя своего времени, разбираться. И в числе первых выделил сообщение купца Овчинникова, преданного королевскому престолу русского шведа, о прибытии в Нарву из Любека подьячего Посольского приказа Григория Котошихина.

Это известие Якоба Таубе весьма заинтересовало, и он велел чиновнику своей канцелярии известить Котошихина о дне и часе, когда он должен явиться к нарвскому губернатору.

— К несчастью, я одет совсем не так, как когда-то в бытность царским гонцом, — с сожалением промолвил Котошихин. — Стыдно показаться Таубе нищим оборванцем.

— Забудь про гордость, — ободрил его Овчинников. — Ты явишься к нему просителем, жертвой московских неправд. Какое тут может быть щегольство? А вот сапоги тебе надо обновить, пойдём в кладовку, подберём что-нибудь из незаношенных моих.

Они прошли по коридору в сторону кладовых комнат.

Овчинников зажёг свечу и осветил висевшие на верёвке, связанные парами хорошо смазанные сапоги.

— Запомни, Григорий, что в Швеции о достатке человека судят в первую очередь по тому, какая на нём обувка.

2

Появление на подворье купца Овчинникова странного постояльца, конечно, не осталось не замеченным соседями, хотя купец не разглашал его имени, оно скоро стало известно многим нарвским обывателям, и наиболее памятливые из них припомнили, что этот человек уже бывал несколько лет назад в их городе как царский гонец. Это возбудило любопытство к Котошихину, и если обычные люди поговорили о беглом подьячем, да и оставили его в покое, но в Нарве как в пограничном городе был не один царский соглядатай, и скоро место пребывания изменника стало известно новгородскому воеводе Василию Григорьевичу Ромодановскому, и он, удостоверившись в верности полученных сведений, сообщил об этом в приказ Тайных дел, и дьяк Башмаков донёс о воре Котошихине великому государю.

Алексей Михайлович был памятлив на имена и скоро вспомнил того, кто стал на гиблый путь измены Отечеству.

— Что за напасть объявилась на Россию, — тяжело вздохнув, промолвил Алексей Михайлович. — Конечно, подобное у нас уже случилось в Смуту: предательство тогда даже ставилось в заслугу, люди так извратились, что некоторые гордились друг перед другом числом совершённых измен. Присягали Годунову, двум Лжедмитриям, Ворёнку, Шуйскому, польской короне одни и те же люди, изумляя Европу глумлением над своим Отечеством. А предательства Войки и Гришки не знак ли того, что России грозит новое бесчестие?

— Беда, подобная Смуте, в наши дни невозможна, — сказал Башмаков. — Однако в любом народе есть свои выродки. Достаточно вспомнить князя Ивашку Хворостинина, впавшего в немецкую сладость ещё полвека назад.

— А я о нём ничего не знаю, — оживился Алексей Михайлович. — Он тоже к немцам сбежал?

— Такой беды, великий государь, с ним не случилось. Ивашка заразился католической прелестью, выучился читать латинские книги, иконы, привезённые из Кракова, чтил наравне с православными. При Василии Шуйском его сослали в монастырь, но пользы ему это не принесло: он озлобился, стал хулить православную веру, возгордился и в разуме рядом с собой

не ставил даже патриарха, заявлял, что на Москве весь люд глупый, даже помолчать толком не с кем, землю сеют рожью, а живут ложью.

— Такому лучше жить с немцами,— печально вымолвил великий государь.

— Собирался, да не успел. Обыском у него были вынуты книжки с его виршами и обычным письмом, в коих он признавался в тоске по чужбине, хулил иконы отечественного писания и выше их ставил парсуны римских пап и голых Венерок латинских изуграфов Рафаелиуса и Давинчуса.

— Вот они где, корешки теперешней измены,— задумчиво сказал великий государь.— Эта западная сладость и прелесть как хворь для иных русских людишек. Войке Ордин-Нащекину не пожилось близ царя, презрел веру родителей и сбежал в Польшу. Уж там-то помалкивал бы, так нет, вякал на всю Европу, что обрёл свое счастье в латинстве. А немцы своему латинству и папежской вере настоящую цену знают давно, вот была им умора глядеть, как русский дурак хвалит то, отчего уже пол — Европы отвернулись в лютеранство. Как теперь Войка поживает в Кирилло-Белозерском монастыре?

— Затворился в келье и льёт слёзы раскаянья,— сказал дьяк Башмаков,— временами читает святых отцов.

— Как мыслишь, Дементий, может вернуть его отцу? Ты не спрашивал окольничего, какие у него виды на судьбу сына?

— Афанасий Лаврентьевич места возле себя для Войки не видит. Он полагает, что присутствие сына станет большой помешкой делу, коим он сейчас занят. Люди по военному времени обозлены и в присутствии близ польских съездов перебежчика и изменника увидят новое предательство.

— Добро, пусть очищается от латинской прелести в святой обители,— сказал великий государь.— У нас с тобой, Дементий, явился другой клятвопреступник, Гришка Котошихин. Он не увёз часом с собой посольскую печать дьяка Алмаза? При нашем ротозействе и такое может случиться.

— В приказе всё цело,— доложил Башмаков.— Гришке близ короля Яна-Казимира не приглянулось, потёрся вокруг него и сбежал в Нарву. Подьячий Никифоров приметил его любовь к шведам, но взять подьячего за жабры не успел, того услали в полки Черкасского, а оттуда он сквозанул к полякам.

— Шведы ему дело найдут,— сказал великий государь.— А мне надо каяться: я пожалел Котошихина, когда он своровал в написании царского титула, который принадлежит не столько мне лично, как всему русскому царству. Гришку по закону надо было казнить смертью, а его пощекотали батогами и оставили в подьячих. Тут уж Алмаз виноват, услал бы вора на Енисей и не пригревал его в приказе.

— Может великий государь поволит к вору послать надёжного человека,— осторожно кашлянул дьяк Башмаков.— В Нарве его легко можно извести, не дожидаясь, когда он убежит в Стокгольм.

— Не вижу в сем никакого резона,— после некоторого молчания сказал Алексей Михайлович.— Все наши тайны он уже и полякам и шведам доложил. Отпиши в Новгород воеводе Василию, чтобы он потребовал выдачи русского перебежчика согласно Кардисского договора. Я желаю, чтобы Котошихин был вытребован у шведов, привезён в Москву и ему в назидание всем охотникам до немецкой сладости отрубили на Болоте голову.

— Давно пора нашим московским брадобритцам и табакоядцам, и другим сластникам до всего немецкого сделать внушение,— одобрительно сказал Башмаков.— Я, великий государь, составил список таких людей на Москве.

— И сколько их у тебя и кто такие?— приподнял брови Алексей Михайлович.

— Около сорока падших душ, содомитов и сластников,— сказал Башмаков и подал царю список.

— Беда-то какая, Дементий,— горько вымолвил Алексей Михайлович, когда прошёлся взглядом по именам.— Есть из лучших родов… Беда-то, какая родителям!..

В этот же день, ещё до полудня, Москву покинул гонец, который помчался в Новгород с отпиской от великого государя воеводе Ромодановскому, чтобы тот занялся делом Котошихина.

Сам Гришка в этот день был с раннего утра занят подготовкой к встрече с нарвским губернатором Таубе. В руках у него была иголка с ниткой, на голых коленях лежали штаны, у которых он зашивал расползшуюся по шву штанину. Гришка сидел на лавке возле окна, иногда в него взглядывая, чтобы знать, когда перестанет осенний дождик мочить нарвскую землю и выглянет солнце. Шитьё по старым дыркам было нетрудным и Гришка,

ни разу не уколов себя иглой, одолел шов, завязал надёжный узелок и откусил нитку. В этот миг ему на руку упал солнечный луч, и он обрадовался, что погода переменилась в лучшую сторону, надел на костлявые ноги штаны, зачембарил в них рубаху, обул смазанные рыбьим жиром сапоги и, облачившись в подаренный Овчинниковым кафтан, покинул своё жилище. Во дворе, сидя на скамейке, его поджидал Кузьма Афанасьевич.

— С Богом, Григорий! — перекрестил он Котошихина. — Ты с Таубе встречался, веди себя смирно, но достойно. От него зависит почти всё.

— Ужели шведы могут отказать мне в приюте? — забеспокоился Гришка. — Или у меня перед королевством нет даже малых заслуг?

— Надейся на лучшее, — сказал Овчинников. — Это Москва разбрасывается людьми и не дорожит ими, а шведы малолюдны, у них всякий человек учтен, а ты совсем на особом счету как знаток русских дел, который даром свалился им в руки.

Якобу Таубе роль Котошихина в русско-шведских делах была известна по его догадкам, что русский сочувствует шведскому правительству и пользуется его покровительством, поэтому он отнёсся к Гришке вполне благожелательно.

— По вашему виду я заключаю, что вы, господин Котошихин, изведали немало лишений, — сказал губернатор, встречая просителя в том самом зале с камином, где около пяти лет тому Гришка обедал как гонец царского величества. — Как вы попали в Любек? И почему выбрали такой кружной путь, чтобы достичь Нарвы?

Гришка ждал этого вопроса, в котором заключался подвох, могущий уличить Котошихина в связи с ляхами, что вряд ли пришлось шведам по вкусу: они предпочли бы знать, что Котошихин только их доброжелатель и ничей другой.

— Я был послан в полки князя Черкасского, — сказал Котошихин чистую правду и тут же солгал. — Любопытство и желание отличиться вовлекли меня в схватку с ляхами, где мне очень не повезло: меня оглушили и увезли в полон, из которого я смог вырваться всего месяц назад.

Якоб Таубе с большим сочувствием выслушал Котошихина и даже не подал вида, что ему ведомо о нём другое, однако умный губернатор решил не обращать на ложь внимания: польза, какую мог принести русский его стране, явно перевешивала сказанную им неправду.

— Купец Овчинников известил меня, что вы, господин Котошихин, намерены предложить свои знания русских дел моему правительству?

— Это желание, господин губернатор, я имею с тех пор, как я побывал в Стокгольме, — проникновенно глядя на Таубе, сказал Котошихин. — Не скрою, что, занимаясь в Посольском приказе шведским столом уже около десяти лет, чем больше постигал шведские порядки, тем крепче прикипал к ним всем сердцем и желал бы видеть такие же законы на Москве, но сие, увы, невозможно. Поэтому я решился покинуть Россию и жить там, где мне станет вольно дышать.

— Надеюсь, господин Котошихин, вы взвесили все последствия своего шага, — сказал Таубе и сделал знак дворецкому, чтобы он наполнил вином стоявшие на столе чарки. — Вы должны полностью представлять, что ваше положение в Швеции будет зависеть только от того, какую пользу вы ей принесёте своими знаниями.

— Господин губернатор, — сказал Котошихин. — Я уже сейчас готов доложить в рикскансцелярию короля о переговорах, которые ведут поляки и русские, чтобы заключить перемирие. Если этому не помешать, то Швеция утратит возможность пользоваться выгодами, которые ей даёт русско-польская война. И я знаю, что нужно сделать, чтобы сорвать эти переговоры.

— Любопытно! — воскликнул Таубе, с интересом разглядывая отощавшего в бегах Гришку. — И в чём задуманная вами хитрость?

— Об этом я объявлю сразу, как обрету в Швеции устойчивое положение, — сказал Котошихин и взялся рукой за чарку. — Ясно, что русских и ляхов надо стравить, и вся хитрость в том, как их на это подтолкнуть.

— Что ж, вы поступаете умно, — тонко усмехнулся Таубе. — Я надеюсь, в Стокгольме не помедлят с определением вас на королевскую службу. Для этого мне нужно получить от вас прошение и перечень основных событий вашей жизни, начиная с рождения до сего дня. Я не замедлю отправить эти бумаги в Стокгольм, и почти не сомневаюсь, что решение будет благоприятным.

— Господин Таубе! — обрадовался Гришка. — Я счастлив, что обрёл в вас своего благодетеля и милостивца!

Гришка хотел пасть перед губернатором на колени, но сухопарый и резвый швед его опередил и сумел удержать на ногах.

— Отвыкайте, господин Котошихин, от рабьих привычек. В Швеции не принято падать ниц даже перед королём, — сказал Таубе. — Итак, жду ваши бумаги для Стокгольма, а сейчас ступайте с Карлом и не отказывайтесь от того, что он вам предложит.

Дворецкий вежливо проводил Котошихина в комнату, где стояли бельевые и одежные шкафы, и вручил ему две простыни, одеяло, четыре полотенца, две пары нижнего белья, две рубахи, домашний халат, а от следующей вещи сердце Гришки сначала от радости замерло, а затем стало трепыхаться — это был истинно немецкий кафтан, узкий в спине и широкий понизу в полах, перехваченный в талии вшитой в ткань упругой верёвкой, со стоячим кружевным воротником и рукавами, тесными до локтей и широкими к плечам. О такой одевке Гришка давно грезил, но вместе с ней он получил то, что было верхом самых смелых его мечтаний — бархатные, до колен, штаны, атласные чулки и кожаные башмаки с медными пряжками.

— Господин губернатор полагает, что тебе надо отвыкать от московской одежды, — сказал Карл и протянул Котошихину небольшой бумажный кулёк. — Здесь десять риксдалеров на самые неотложные нужды.

Овчинников дождался Гришку и встретил его вопросом:

— Ну, как?

—– Видишь сам! — весело хмыкнул Гришка. — Шведы не прочь меня заполучить, и губернатор пожаловал меня одеждой.

— Всё, как я тебе говорил, — довольно улыбнулся Овчинников. — Кажется, от тебя даже винцом попахивает?

— Почему бы и нет? Губернатор счёл нужным угостить меня рейнским.

— Это, брат, добрый знак, — уверенно сказал Овчинников. — Шведы так бережливы, что зазря ничего не дадут. Ты им точно нужен, и в беде они тебя не оставят.

Жена Овчинникова встретила мужа ворчанием, что обед давно готов, а он опаздывает. Кузьма Афанасьевич от неё отмахнулся и пошёл за Котошихиным, которому не терпелось примерить немецкую одежду и лишь затем отведать купеческих

разносолов. Зайдя в комнату, он сбросил с себя всё, что на нём было и оболокся в то, что получил от губернатора.

— Погоди, Григорий, я сейчас принесу зеркало! — сказал Овчинников.

В большом отражательном стекле Гришка смотрелся совсем другим человеком, чем тот, кого на днях любекские матросы бесцеремонно выгрузили на грязный от рыбьей требухи нарвский причал. Это был одетый по-немецки господин хорошего роста, стройный, весьма смахивающий на служителя одной из пяти шведских рикcканцелярий, для русского взгляда, обыкновенный, довольный своей жизнью немец, и только тревожно поблёскивающий пережитыми страхами и невзгодами взгляд обличал в Гришке ряженого, но он этого не понимал и не видел, поскольку крепко захмелел от своего немецкого вида и переполнился счастьем.

«Какая обида, — размышлял Гришка, любуясь своим отражением, что я не смогу предстать перед Сельмой в своём новом немецком облачении. Таубе не пожадничал и выдал мне всё почти новое и крепкое, вот заявиться бы сейчас на Кукуй к ней в гости!» Но тут Гришка вспомнил о свирепом полковнике Коле, и настроение у него подпортилось. Это заметил Овчинников:

— Поспешим, Григорий, к столу, — сказал он, покидая скамью. — Немецкую одежду не снимай, пусть моя Агафья Марковна подивится на нового русского немца.

Нарва уже давно стала шведским городом, но русской привычки спать после обеда обыватели не оставили и даже заразили этим своих завоевателей, и многие шведы предавались послеобеденному храпу. Котошихин тоже вздумал было завалиться на лавку, но его остановило желание побольше побыть в немецкой одежке, чтобы с ней поскорее стерпеться и не чувствовать себя в тесноватом камзоле и коротковатых штанах незваным гостем.

Овчинников успел снабдить Гришку письменными снастями, и он, разложив перед собой на столе по-немецки нарезанную небольшими листами бумагу, открыл крышку чугунной чернильницы и погрузил в неё гусиное перо. Прошение о зачислении на государственную службу следовало подавать на имя нарвского губернатора, и Котошихин, стряхнув с кончика пера чернильную каплю, бодро заскрипел пером. «Прошу Ваше превосходительство, а также его величество дать

мне какую-нибудь должность по моим силам и услать меня подале от отечества. Впредь во всю жизнь обязуюсь служить королевскому величеству… Если превосходительству будет не угодно помочь мне, прошу и умоляю содержать письмо моё в тайне, дабы мне не попасть в беду, и я, несмотря на это письмо, мог бы безопасно ехать в Москву, а Вы, к моей погибели, не открыли бы всего и не послали письма моего вслед за мною в Москву. А вины я перед ней за службу королевскому величеству имею превеликие. В приезд посла Эберса на переговоры с Волынским я познакомил его с наказом великого государя русскому послу, где среди прочих секретов содержалась важнейшая переговорная тайна — сколько денег поволил дать царь на возмещение шведских претензий…»

У Гришки был немалый писарский навык, однако ни одна из сделанных им прежде грамоток не доставила ему таких трудностей, как эта, особенно опись своей жизни. Беглый подьячий в своих скитаниях жил тем днем, который был перед ним и страшился воспоминаний. И если что-либо приходило к нему на ум из прежней жизни, то он ощущал в груди стеснение, а затем её начинало холодить, как от сквозняка, будто покинувшая от предательства своё обиталище душа Гришки вновь вернулась в него на какое-то время и стала подвывать, постанывать и жаловаться на свою бесприютность, от которой ей не суждено было найти избавления во все времена.

В конце концов, после порчи десятка бумажных листов Котошихину удалось написать жалкое и вымученное повествование о своей жизни, мокрое от слёз, которые он, вынужденно предавшись воспоминаниям, пролил над своей жизнью, она, по его мнению, оказалась загубленной от многих неправд на спесивой и тупой Москве, определённой ему для прозябания неприступными для жалоб и возмущений высшими силами.

На другой день Гришка, одевшись во всё немецкое, поспешил к губернатору и добрался до его дворецкого, который принял документы и посоветовал Котошихину запастись терпением. Торопиться ему было некуда, и он неспешно обошёл крепость, почтительно отвечая на приветствия встреченных им обывателей. Постояв у открытых в сторону гавани крепостных ворот, Гришка прошёлся до корабельных причалов. Шхуны, доставившей его в Нарву, давно уже не было в гавани, сходни с причала были

перекинуты на торговое судно, по ним сновали грузчики и матросы, шкипер покрикивал на работных людей и торопил их поскорее закончить погрузку, чтобы выйти из гавани в открытое море до наступления темноты.

Гришка отошёл на самый край причала, где ничто не мешало ему видеть открытую воду, которая, по мере того, как простирался по ней его взгляд, меняла цвета: от почти чёрного у причала до пепельно-серого на самом краю морского среза, где вода соприкасалась и сливалась с небом в одну непроницаемую пелену зыбкого тумана. Гришка вглядывался в даль, ожидая увидеть спешившее в Нарву судно, которому не хотелось встречать темноту вдали от земли, и не ошибся. В зыбком тумане блеснуло нечто вроде солнечного блика, это был передний косой парус быстроходной лодки, которая добегала из Стокгольма до Нарвы всего за двое суток. Шурша деревянной обшивкой о брёвна причала, она встала как раз напротив Гришки, с неё сошли несколько шведских служилых людей и направились к крепости.

От вынужденного безделия Гришка стал всеми днями бродить по крепости и вокруг неё, иногда уходя в сторону русской границы, где поднимался на крутой и высокий холм, и с него жадно глядел на московскую сторону, будто что-то ожидал там видеть. Но за рекой было пусто, небольшие поля убраны, на них золотилась стерня, по которой бродило стадо невысоких и тощих коров, за ними, волоча за спиной кнут, плёлся пастух, берёзовая роща была наполнена гомоном собравшихся на предзимнее вече ворон, ветер доносил запах влажного дыма — всё это Котошихину было знакомо до боли и навевало на него неизбывную печаль.

Прошло ещё несколько дней, и размеренная жизнь обывателей и воинских людей в Нарвской крепости была нарушена хрипом трубы, прозвучавшем с русской стороны границы. Котошихин сразу понял, что к городу скоро прибудут люди царя, и взошёл на крепостную стену, чтобы разглядеть гостей, которые вполне могли быть посланы по его душу новгородским воеводой Ромодановским. Недоброе предчувствие Гришку не обмануло, не прошло и часа, как он увидел своего давнего знакомца капитана Репина и с ним пятерых солдат, которые торопились в Нарву.

Некоторое время Котошихин бестолково на них поглядывал, но затем спохватился и, скатившись по каменным ступеням,

кинулся бежать на подворье Овчинникова. Кузьма Афанасьевич уже знал, что в Нарву едут русские воинские люди.

— Это они по мою голову явились! — горько вымолвил Котошихин. — Надо бы губернатору давно меня спровадить в Стокгольм без всякой переписки с рикскансцелярией, Европа называется, а волокиты не меньше, чем на Москве!

— Зря пугаешься, Григорий, — хладнокровно сказал купец. — Капитан и пять солдат Нарву не возьмут. Пока в ней сидит губернатор Таубе, она неприступна. А без воли короля, на чью милость ты отдался, с твоей головы не осыплется ни один волос.

— Много ты знаешь о королевской милости! — махнул рукой Гришка. — Будет ему интерес, так король, не чихнув, отправит меня к царю.

Убеждённость Котошихина в грозящей ему опасности обеспокоила и Овчинникова.

— Ты посольский человек и повадки государей ведаешь лучше моего. Сиди здесь и не высовывайся, а я пойду, проведаю, зачем в Нарву явились русские воинские люди.

Когда Ивана Репина вызвал к себе воевода Ромодановский и назвал имя вора, коего надо изъять из Нарвы, то капитан не удивился:

— Оного Гришку мне довелось бить в батоги за умаление государева титула. Но он как ударился в воровство, так его и не покинул.

— Вот тебе мой наказ, — воевода Ромодановский взял лежавший перед ним лист бумаги. — Вычти его и знай наизусть, особливо запомни, что по двадцать первому пункту Кардисского договора шведы обязаны выдавать перебежчиков без всяких проволочек.

— Они станут его прятать, — сказал Репин. — Могу ли я Гришку вынуть у них силой?

— Это делать остерегись, — указал воевода. — Но если увидишь его на улице, то хватай без всяких колебаний.

Шведы встретили русских без ворчания, но и без радости. Командир шведской пограничной сторожи спросил Репина, с чем он явился, и капитан молча протянул ему воеводский наказ. Швед позвал переводчика, тот явился и вслух зачитал, с какой целью явился Репин и его полномочия. Сразу же один из шведов, находившихся в комнате, вышел из сторожи, прыгнул на коня

и помчался в Нарву, уведомить губернатора о приезде русских.

Как ни придерживали шведы, сопровождавшие Репина, своих коней, капитан всё-таки добрался до губернаторского дома, оставил своих солдат во дворе, а сам, сопровождаемый дворецким Карлом, поднялся на второй этаж, где в каминном зале его встретил в генеральском мундире Яков Таубе. Блеск стальной кирасы, шляпа с перьями, высокие сапоги с серебряными шпорами, шпага с золотым шведским гербом на эфесе произвели на стрелецкого капитана впечатление, но не смутили. Он довольно ловко, сняв шапку, вычитал государев титул и объявил, что прибыл в Нарву по делу особой важности.

Воспользовавшись тем, что капитан закрыл рот, хитрый швед перешёл на него своей изысканной вежливостью в наступление. Он простёр руку к стулу и предложил Репину присесть, а сам поместился напротив гостя. В этот миг к ним приблизился дворецкий с подносом, на котором стояли бутылка рейнского вина и два бокала на тонких и длинных ножках.

— Поясните, господин Репин, в чём суть русских претензий?

— Великий государь! — капитан встал и за ним поднялся Таубе. — Великий государь требует выдачи на суд и расправу беглого подьячего Посольского приказа ведомого вора Гришки Котошихина, который на сей час пребывает в Нарве!

— Карл, почему бокалы пусты? — мягко сказал Таубе.

— Виноват, ваше превосходительство, — дворецкий протянул руку к бутылке. — Но прозвучало: «великий государь» — перед этим все должно никнуть.

— Ты совершенно прав, Карл, — губернатор опустился на стул. — И вы присаживайтесь, господин Репин! Мы ведь соседи и должны жить по-соседски. Как вы сказали, Котошихин?

— Точно так, господин губернатор, Котошихин.

— Мне трудно, господин Репин, ответить вам, в Нарве этот человек или его здесь нет, потому что я этого имени не слышал.

— Я положительно утверждаю, — перестав коситься на бутылку, сказал капитан, — что вор скрывается в крепости.

— А ты, Карл, слышал об этом человеке? — повернулся губернатор к дворецкому.

— Никак нет, ваше превосходительство.

— В таком случае, господин Репин, может, быть вы сами укажете, где скрывается человек, коего вы считаете вором?

— В Нарве об этом знает каждая бродячая собака, — с некоторой развязностью сказал стрелецкий капитан и покосился на бутылку. — Гришка обитает на подворье купца Овчинникова.

— Это беспорядок, — покачал головой губернатор. — Передай майору Дитриху, чтобы он обыскал дом Овчинникова. И пусть он, Карл, поторопится.

Проводив взглядом дворецкого, Таубе обратился к гостю и, подняв свой бокал, пригласил его к нему присоединиться. Они сдвинули бокалы, закусили засахаренными персиками, но продолжить угощение им помешали. В зале появился дворецкий, за ним перетаптывался Кузьма Овчинников.

— Был у меня Котошихин, — сказал купец. — А вчера куда-то пропал. Если бы я знал, куда он девался, то доложил бы вашему превосходительству.

— Разумеется, ваше превосходительство не собирается спросить с купца потвёрже, где обитает вор? — нахмурился Репин.

— В этом нет надобности, — хладнокровно сказал Таубе. — Позабавились и хватит. Скажите, господин Репин, когда ваше правительство перестанет гоняться за всяким сбежавшим подьячим? Нас, шведов, и миллиона нет, московитов раз в пятнадцать больше. Но мы не держим своих граждан на привязи: не понравилось жить на родине — скатертью дорога.

— В наказе, данном мне воеводой Ромодановским, не сказано, как я должен отвечать на такой вопрос, — сказал Репин. — Мне велено взять Гришку Котошихина.

— Карл, гостевой дом готов?

— Так точно, ваше превосходительство, — поклонился дворецкий.

— Вы мне, господин Репин, понравились, — сказал Таубе. — И я вам помогу выглядеть в глазах воеводы Ромодановского офицером, достойно выполнившим приказ. Завтра вы получите официальный письменный ответ. А пока отдыхайте.

— А если я найду вора? — осведомился капитан. — Мне не помешают его взять?

— Вы свободны в своих действиях на улице. Но остерегайтесь покушаться на частную жизнь граждан. К тому же ваши требования о выдаче Котошихина не имеют правовой основы.

— Это как? — удивился Репин. — Котошихин перебежал к вам, в Нарву.

— Ваши сведения ошибочны, — мягко сказал Таубе. — Котошихин явился к нам из вольного города Любека, до этого жил в Польше. К нам он не перебегал, посему даже по статье Кардисского мира о перебежчиках выдаче не подлежит.

3

Декабрь в Стокгольме бывает почти всегда мрачноватым из-за наползающих из Атлантики на Скандинавию тяжёлых туч, наполненных зябкой сыростью, готовой в любой миг начать сочиться бесконечным дождём, в который временами густо вплетаются снежные нити. На крышах домов и кронах деревьев вырастают белые шапки, столица теряет яркость присущих ей красок, обычно многолюдный, особенно в портовой части, город замирает под туманно-облачным пологом зимнего ненастья.

В высоком зале дворца, велеречиво названного «Макалес», то есть Бесподобный, было почти холодно, хотя жарко пылал нагруженный дубовыми поленьями камин, возле которого стоял канцлер Магнус Гаврила де ла Гарди и слушал доклад шведского посла в Москве Адольфа Эберса о том, какие действия тот намерен предпринять, чтобы стребовать с московитов причитающиеся Швеции деньги за понесенные ею во время военных действий убытки.

— Московиты на всех переговорах, кои мы с ними вели, всегда проявляли увертливость, — сказал канцлер и простёр над каминным жаром озябшие руки. — Их ни в коем случае нельзя допускать к берегам Балтийского моря, а держать надо плотно закрытыми в московской берлоге. До последнего времени нам это удавалось, однако царь не оставляет своих мечтаний заиметь свою морскую гавань. Посему деньги, Адольф, требуй неотступно, и в тоже время ищи путей так досадить царю, чтобы он и не помышлял продвинуться в сторону Балтики.

— Наш самый главный враг на Москве — это Ордин-Нащекин, который из всех сил хлопочет уже не о мире, а о вечном союзе с Польшей, указывая королю Яну-Казимиру на выгоды этого соглашения. Помимо того, что этот союз будет направлен против турок и крымских татар, он сделает бессмысленным и Оливский договор, по которому у нас с поляками перемирие.

— А у тебя, Адольф, нет подходов к Ордин-Нащекину? — сказал канцлер. — Что он так старается для польских интересов?

— На мой взгляд, русский дипломат большой мечтатель: он вздумал устроить союз двух славянских народов, забыв, что они придерживаются разных вер. Ордин-Нащекин в своей затее обречён на неуспех, однако поляки и московиты в войне так обессилили, что мир между ними неизбежен.

— Султан и хан большие противники сближения московитов и поляков, — сказал канцлер. — Это нам на руку, для нас желательно, чтобы они продолжали между собой воевать, тогда наше возвышение не будет стоить нам ни гроша. Я сторонник наносить удары в самые чувствительные места и не только оружием, но и словом. Вчера Юнгеманс предоставил мне оттиск нового издания памфлетов, в них есть и то свежее, что ты привёз из Москвы.

— Царь чувствителен на словесные обиды, как малое дитя, — улыбнулся Эберс. — Да и все московиты сразу теряются, если их огорошить каким-нибудь злобным враньём. Вот Юнгеманс написал, что в московских церквах кончились запасы ладана и все службы приостановлены. Эта новость лишит великого государя здравого рассудка на целую неделю. Он бросит все дела, забудет о войне и мире, и станет негодовать на шведскую наглость, затем начнёт узнавать, есть ли ладан в церквах, потому что московиты крепко верят в то, что дыма без огня не бывает.

Обычно неподвижное лицо Магнуса де ла Гарди слегка сморщилось, и сия гримаса означала, что канцлер довольно улыбнулся.

— Ты, Адольф, прав: наш польский доброжелатель сообщает, что в окружении короля Яна-Казимира обрадовались памфлетному известию якобы о том, что все войска царя направлены против башкир, и поляки сразу стали выдвигать несуразные требования к московитам о выплате им десяти миллионов злотых.

— А вот этого я постараюсь не допустить, — сказал Эберс. — Тогда царю неоткуда будет взять полмиллиона рублей, которые он так неосторожно пообещал нам дать перед заключением Кардисского мира. К сожалению, мой платный доброжелатель, служивший подьячим в Посольском приказе, был отправлен из Москвы в войска князя Черкасского, и я потерял его из виду.

Канцлер де ла Гарди заинтересованно глянул на Эберса и вынул из ящика стола лист бумаги.

— Твоего корреспондента звали Котошихин? — по слогам произнёс канцлер имя беглого подьячего.

— Совершенно верно, ваше высокопревосходительство.

— Он не потерялся, — сказал канцлер. — Вот его прошение о предоставлении ему шведской службы, поддержанное губернатором Таубе. Если это тот человек, что доброжелательствовал нам в Москве, то потребуется твоё на него заключение.

— Я рад, что Котошихин жив и здоров, — сказал Эберс. — Днями я, по дороге в Москву, буду в Нарве, и оттуда направлю вам своё о нём заключение. По моему прежнему с ним общению могу сказать, что этот московит умён, превосходно знает, как работают все приказы московского царства, чем нам будет надолго полезен.

— Не учинит ли он нам здесь в Стокгольме какого-нибудь вреда? — сказал канцлер. — Московиты, хотя и чтут единого Бога, но повадками ещё дики и европейского политесу не разумеют.

— Насчёт политесу и галантности, — усмехнулся Эберс, — у Котошихина всё почти по-нашему. Московит получил весьма горячие уроки от самой доброжелательной дамы московской Немецкой слободы. Если он и здесь приударит за смазливой кухаркой, то, наверно, это интересам короны не повредит.

Канцлер де ла Гарди внимательно поглядел на посла, пожевал сухими губами и положил прошение Котошихина на стопку с делами, которые были им уже решены.

— Я доволен, Адольф, твоим заключением по этому московиту. Объяви ему, что король Швеции жалует его своей службой в русском отделении Коллегии иностранных дел.

В тот же час, когда канцлер Магнус де ла Гарди решал, позволить ли душе Котошихина и дальше трепыхаться, или выдать беглого подьячего на свирепую казнь московитам, сам Гришка дрожал от страха, как осиновый лист, в избе нарвского купца Овчинникова. Опасности и ранее витали над его головой, но по лёгкости своего пёстрого нрава о многих из них Гришка не догадывался, а от прочих легкомысленно отмахивался, но сейчас страх быть схваченным и выданным на беспощадный царский суд дохнул в его душу такой ледяной стылостью, что она стала падать в могильную темноту, а сам Котошихин

обезножел и едва смог взобраться по крутой лестнице на чердак, где устроился рядом с небольшим оконцем и стал выглядывать, что творится снаружи, за оградой купеческого подворья.

Улочка, на которой стоял дом Овчинникова, была оживлённой: по ней в гавань двигались телеги с русскими товарами, здесь были огромные кули с пенькой, бочки с зерном, лубяные короба с уложенными в них широкими пластами свиного сала, небольшие бочки с пчелиным воском, стопы кож и непромокаемые, из шкур морского зверя, мешки с мехами из Сибири. Не будь Гришка в таком страхе, он мог бы задуматься и посчитать, какую выгоду приносит Швеции обладание нарвским портом, но сейчас его занимал только собственный страх, и он лихорадочно вышаривал взглядом улицу, стараясь найти на ней приметы грозящей ему опасности от капитана Репина, явившегося в Нарву по его трепещущую душу.

Однако пока ни мужики с возов, ни кони, ни бродячие собаки не поглядывали в сторону овчинниковского подворья, но, не успев этому порадоваться, Гришка услышал, как в ворота кто-то крепко стучит. Он забежал в дальний угол чердака и сквозь щели увидел, что это явился к хозяину приказчик, которого Овчинников посылал по торговым делам в Лифляндию. Скоро из дома вышла хозяйка, отодвинула засов и прошла с приказчиком в дом.

Котошихин перевёл дух, вернулся к окошку, из которого приноровился выглядывать на улицу, поднял глаза и шарахнулся в сторону: на противоположной стороне улицы стоял парень и глядел прямо на него. Гришку обожгло страхом, он, чтобы не свалиться, ухватился рукой за стропило, потряс головой и приник к щели между досок. Парень стоял на прежнем месте и всё так же глядел на овчинниковский дом. По одежде это был явно здешний обыватель, одетый в смешанное русско-шведское платье, но рожа, по разумению Гришки, была у него явно ярыжная, пронырливая и наглая.

«Это репинский шиш, — подумал, покрываясь пупырышками озноба, Котошихин. — Его капитан послал присматривать за домом Овчинникова, чтобы я не смог отсюда незаметно скрыться».

Парень вдруг потянулся рукой к шапке и, согнувшись в поклоне, поприветствовал Овчинникова, который остановился возле своих ворот и погрозил ему через улицу кулаком. Парень ухмыльнулся и остался, притулившись к забору, стоять на прежнем месте.

— Что ж ты, Кузьма Афанасьевич, не надавал этому ублюдку затрещин! — упрекнул Гришка хозяина, когда тот переступил порог комнаты.

— Прогоню одного, так другой явится, — сказал Овчинников.

— Что губернатор? — дрожащим голосом вопросил Котошихин. — Ужели он меня выдаст?

— Пока до этого дело не дошло, — купец поплотнее задвинул занавеску на окне. — Однако тебе лучше из моего дома уйти.

— Как уйти! — переполошился Гришка. — Меня же на улице ждут солдаты Репина. Лучше я тут буду сидеть.

— Может случиться всякое, — сказал Овчинников. — Может, губернатор от тебя и отступится, но выдавать тебя он не станет. Скажет, что ты сбежал неведомо куда, и пусть Репин тебя сам разыскивает. В таком разе капитан сразу кинется на моё подворье, но я ведь не стану от него отстреливаться из мушкета.

— Добро, — сказал Котошихин, мрачно глянув на Овчинникова. — Куда же я денусь?

— Сейчас у меня в доме мой приказчик, — Овчинников заметно обрадовался, что беглый подьячий решил оставить его подворье. — Он тебя вывезет от меня, а ты спрячься так, чтобы даже я не знал, где ты скрылся.

— А это к чему? — удивился Гришка.

— А чтобы я не смог тебя выдать, — просто объяснил Овчинников. — Если тебя схватят, то в этом не будет моей вины.

Котошихин не сразу оценил купеческую честность, но скоро понял, что Овчинников был прав.

— Когда мне уходить? — спокойно сказал он.

— Я сейчас велю снарядить телегу с пустыми бочками, — обрадовался Овчинников. — В одной из них ты спрячешься, приказчик отвезёт тебя в гавань, а там есть места, где живёт много бездомных людишек.

Котошихин снял с вешалки подаренный ему губернатором немецкий наряд, повздыхал и повесил обратно.

— Одевайся в то, в чём явился из Любека, — сказал Овчинников. — А для тепла я тебе дам морскую на вате зимнюю куртку и шапку. Риксдалеры с собой не бери, чтобы ненароком не показать их лихим людям, я тебе дам мелкого серебра.

— И долго мне прятаться?

— Я думаю, до тех пор, пока не придёт ответ на твоё прошение из Стокгольма, — предположил Овчинников. — Так что жди. В бегах жить веселее, чем в царской тюрьме.

Скоро он принёс Гришке обещанную одежду. Следом за ним кухонная девка поставила на стол судок со щами, кашу с мясом, пирог с яйцами и капустой.

— Что ж ты, Кузьма, вина пожалел? — удивился Гришка.

— Вино тебя расслабит, — сказал Овчинников и, наткнувшись на насмешливый взгляд гостя, велел девке. — Возьми, Любка, в кладовке початый штоф с водкой и принеси сюда.

Котошихин взялся за ложку и не успел выхлебать из миски щи, как появилась водка. Он заглянул в штоф, скривился и перевернул его вверх дном над чаркой — водки налилось всего половина.

— А ты, Кузьма, жила, — вздохнул Гришка.

— За моё здоровье хватит и полчарки выпить, — сказал Овчинников. — За одним и кашу съешь.

Пока Котошихин набивал живот, зная, что так плотно наесться он сможет не скоро, Овчинников отсчитал ему серебро.

— Вот, рубля, думаю, хватит. А ты доставай риксдалеры.

— А вдруг мне деньги станут нужны?

— Репин долго в Нарве сидеть не будет. Ему губернатор даст письмо для новгородского воеводы и вытолкнет из крепости.

Бочка была просторной, но сидеть в ней было жёстко, каждый бугорок заставлял Гришку подпрыгивать на седалище и стукаться ягодицами о деревянное днище. Телега достигла гавани, там приказчик неподалёку от причала завернул во двор, крытый досками, где Котошихин покинул своё убежище и между рядов пустых и наполненных бочек, ящиков, кулей, брёвен и досок пошёл искать себе место, гожее для того, чтобы в нём можно было на несколько дней залечь.

Дойдя до края причала, Котошихин остановился и огляделся. Вокруг было тихо, безлюдно, однако, приглядевшись к деревьям на берегу, он увидел, как над ними струится лёгкий дымок. Поколебавшись, он осторожно двинулся в эту сторону, и через малое время увидел землянику, возле которой перед костром на корточках сидел мужик и помешивал в котелке какое-то варево. Других людей поблизости не было, и Гришка, спрятавшись за дерево, громко кашлянул. Мужик обернулся, и Котошихин опознал в нём того, кто помог ему в день приезда

в Нарву добраться к дому Овчинникова. Мужик поначалу насторожился, но узнал Котошихина и заулыбался:

— Что, надоело у купца гостить, решил ко мне подселиться?

— С чего это ты взял? — сказал Котошихин.

— Мне-то не знать, как к купцам в гости ходить. Сам такой был, да не как сейчас, Ларька, а Ларион Порфирьевич. Приехал по торговому делу из Ревеля в Нарву, а здесь меня судьба так ощипала, что до сей поры пребываю нищ и гол.

— Что с тобой, Ларион Порфирьевич, стряслось? — сказал Котошихин.

— Имел я два своих корабля, да они в одно лето пропали без следа вместе с товарами. За долги у меня взяли имение, тесть от меня отмахнулся, забрал свою дочь с внуком, а меня вытолкнули слуги взашей за ворота.

Варево в котелке поднялось пеной, пролилось на огонь, зашипело на углях. Мужик снял его с жара, поставил на пенёк и вынул из-за пазухи деревянную ложку.

— Если у тебя есть, чем хлебать, так приставай с другого боку. Сухарь я тебе дам.

— Я сыт, — сказал Гришка и отошёл в сторону, чтобы не мешать чужой трапезе.

Мужик чавкал, хрустел сухарём, несколько раз рыгнул, а потом довольно возгласил:

— Доброе варево получилось! А ты, гляжу, и, правда, сыт, ни разу не оглянулся, пока я трудился над хлебовом. Тебя как кличут?

— Гришкой.

— Ну и зачем, Григорий, ты явился сюда? Тебя что, Кузьма Афанасьевич, попросил опростать его подворье?

— Ты угадал, — сказал Котошихин. — Попросил меня несколько дней погулять на свежем воздухе.

Мужик цепко уставился на пришельца и спросил:

— Ты когда сюда шёл, кого-нибудь встретил?

— Нет. А что?

— А то! — мужик ощерился. — Про тебя уже во всей Нарве свист прошёл.

— Какой свист? — насторожился Котошихин.

— А такой, что тебя солдаты из Новгорода явились забрать на свою сторону.

— Откуда ты знаешь? — похолодел беглый подьячий.

— Заглядывал тут перед тобой один хлюст. Говорил, что за тебя можно полтину взять, если дать знать солдатам, где ты хоронишься.

— С чего ты решил, что меня ищут? — вякнул Гришка.

— Кого же ещё? — удивился Ларион. — Ты только что приехал из Любека, а теперь хоронишься на задворках гавани. Но я тебя не выдам.

— Это откуда такая доброта от бродяги?

— Ты меня не замай! — ощерился мужик. — Это на Москве я был бы гулящим людишкой, а в Швеции я подданный его величества короля Карла одиннадцатого. И доброты у меня к тебе нет, но я тебя спрячу, если ты, не сходя с места, пожалуешь меня целковым, но не медью, а серебром.

— На это я не согласен, — сказал, подумав, Гришка. — Я за сегодняшние полдня дам тебе пять копеек серебром, а за каждый следующий день буду давать десять копеек.

— Добро, — согласился Ларион. — Давай пятак и полезай в землянку. Выходить из неё станешь только ночью.

Котошихин сунул руку за пазуху, достал деньги и протянул хозяину.

— Вот тебе десять копеек, на пятак принеси еды.

— Можно и вина купить, — сладко вымолвил Ларион.

— Трать на хмельное свои деньги, — отрезал Котошихин. — А мне купи хлеба и хорошей рыбы. И ещё скажу: ты, Ларион, купцом никогда не был, самое большее — приказчиком.

Мужик попытался пострашнее на Гришку напыжиться, но не сдержался и захохотал.

— Как ты понял, что я тебе налгал?

— Очень уж ты на копейки падок, — сказал Котошихин. — Нет у тебя тяги к размашистому разгулу.

Ларион заставил Гришку залезть в землянку, а сам побежал тратить полученные деньги. Котошихин, оставшись один, сначала ничего не различал вокруг себя, но со временем его глаза пригляделись к земляночному сумраку. И он увидел широкий лежак, на который, не торопясь, возлёг и стал дожидаться прихода хозяина. Ларион вернулся поздно, мыча, улегся рядом с Котошихиным и вскоре захрапел. Гришка его обшарил и нашёл сверток, который попахивал копчёной рыбой. Она оказалась так вкусна, что он не заметил, как всю её съел без остатка. От рыбы ему захотелось пить, Гришка выбрался из землянки и при полной

луне скоро нашёл ведро с припахивающей плесенью водой, к которой он припал надолго и жадно.

От лунного света вода в гавани казалась подсвеченной снизу, над ней восходило серебристое свечение, тем более яркое, что берега были темны, и светящаяся дорожка от причалов, через бухту тянулась к открытой воде, и Гришке, захмелевшему от еды и свежего ночного воздуха, она казалась проезжей дорогой до сказочного града Стокгольма, где он надеялся найти надёжное убежище даже от самых проворных государевых людей.

Котошихин ушёл от Овчинникова как раз вовремя. Одержимый служебным рвением капитан Репин, не заходя в гостевой дом, который был определён для постоя русским, кинулся, прихватив с собой солдат, на подворье купца. Кузьма Афанасьевич встретил нашествие почтительно, но без дрожи.

— Отдай вора Котошихина! — потребовал капитан.

— Я на своём дворе злодеев не держу, — спокойно ответствовал купец. — Однако, раз ты явился, Иван Сидорович, то прошу к столу как дорогого гостя.

— Ты, Кузьма, не оплетай меня лаской, — осерчал Репин. — Отдай вора, не то твоей торговле не будет проходу во всём Новгороде. Ужо донесу воеводе Ромодановскому о твоих шашнях с врагами великого государя!

— Беда мне! — по-настоящему испугался Овчинников. — Иван Сидорович, милостивец, не губи меня перед воеводой. Не скрою, был у меня Гришка, да ушёл, а как — не знаю, где скрывается, вот те крест, не ведаю!

— Даю тебе сутки, чтобы ты нашёл вора! — велел Репин. — За то я тебе исхлопочу от воеводы торговые поблажки. Но если ты, суконное рыло, меня обманешь, то отведаешь батогов, как явишься на русскую сторону!

Овчинников впал в великий страх и позабыл даже сунуть стрелецкому капитану посул, чтобы смягчить его заскорузлую от ежедневных неправд душу, но ему невольно помог губернатор. На следующее утро он призвал к себе Репина и протянул ему перевязанный толстыми нитками и облитый сургучом пакет:

— Это моё письмо воеводе Ромодановскому. Чтобы вы, господин Репин, были осведомлены, вкратце довожу до вас его содержание. Итак, оный Котошихин прибыл в Нарву из Любека, посему не является русским перебежчиком через шведскую границу. По прибытии Котошихин изъявил желание вернуться

на родину, которое ему затруднительно было выполнить из-за отсутствия у него средств. По моему распоряжению от губернаторской казны ему были выданы платье и пять риксдалеров на дорогу до Москвы. К сожалению, после этого Котошихин исчез и по свидетельству лиц, его знавших, он уехал в Псков к Ордин-Нащекину, с сыном которого он сдружился в Польше.

Репин принял пакет, но губернатор не дал ему покинуть зал, и, мягко взяв под локоть, подвёл к столу, где стояло вино и сахарная закуска.

— Не сердитесь на меня, господин Репин, — сказал Таубе, поднимая чарку. — Вы такой же служивый человек, как и я, и оба мы слуги своих государей и живём по их воле.

— Я премного доволен вашим гостеприимством, — склонил голову капитан. — Но жалею, что не смог схватить вора и предателя Гришку Котошихина.

— Ни одно государство не обходится без услуг этих, согласен, отвратительных лиц, — улыбнулся Таубе. — Я понимаю ваши чувства, и чтобы у вас осталась хорошая о нашей встрече память прошу принять от меня личный подарок.

После этих слов в каминном зале появился дворецкий Карл, который держал поднос, на котором стоял некий закрытый ослепительно белой салфеткой предмет. Губернатор снял накрывашку, и капитан Репин не смог сдержать довольной улыбки. Подарок был не только дорогим, но и прекрасным — серебряный бокал немалой величины, с золотой узорчатой инкрустацией.

«Московиты ещё ведут себя, как дети, и не умеют скрывать своих чувств, — подумал Таубе, глядя, как непритворно радуется Репин. — Но что будет с нами, шведами, когда они повзрослеют?»

На прибрежной окраине гавани обитатели землянки тем временем повылазили из неё наружу, протёрли глаза, и Ларион стал поглядывать на Гришку с вполне понятным любопытством, но тот от этих взглядов или отворачивался, или отводил в сторону глаза.

— Солнце уже вон куда забралось! — сказал Ларион. — Давай, брат, гривенник, пора и прогуляться до торгового ряда.

— А мне какое до этого дело? — пожал плечами Котошихин. — Вот начнёт темнеть, и получишь расчёт.

— Тогда давай пятак за половину суток, — нашёлся Ларион. — А вечером остаток додашь.

Подхватив и сунув за щёку деньги, Ларион скрылся из виду, а Гришка спустился к воде, сел на вытолкнутый волной на берег обломок бревна и стал бездумно вглядываться в морскую даль. В тёплой куртке ему было тепло и покойно, но насидеться ему не дал Ларион. Он ещё издали стал кричать и размахивать руками.

— Иди к Овчинникову, он тебя разыскивает!

— Откуда ты знаешь? — насторожился Котошихин. — Может, это не он меня разыскивает, а государевы люди.

— Они уже из крепости убрались на русскую сторону. Купец тебя ждёт.

— Добро, поверю, раз он зовёт, — сказал Котошихин и поднялся с бревна.

— Изволь, Гришка, пятачком меня пожаловать, — сказал, хитро щурясь, Ларион.

— Хватит тебе и той полтины, что за меня тебе дал Овчинников, — усмехнулся Котошихин. — Ты горазд раскатать губищу на дармовщинку.

— Разве пятак для тебя деньги? — прикинулся сиротой Ларион. — Пятак — это жалкий объедок с того стола, за коим ты сегодня будешь пировать с купцом.

— Ладно, репей, получи! — Котошихин кинул на песок несколько копеек и поспешил покинуть бродягу, пока тот был занят собиранием мелочи.

Овчинников встретил своего гостя тем, что не пустил его на порог.

— Иди за мной и не приближайся! — сказал он и повёл Гришку в сторону бани, где заставил его раздеться в предбаннике, одежду подцепил на палку и вынес во двор и велел дворовому человеку её сжечь, а место на полу, где раздевался Котошихин, заставил окатить кипятком.

— Не удивляйся тому, что видишь, — объяснил Овчинников. — Гавань — рассадник хворей, которые свозят туда со всего света. Лучше излишне поберечься, чтобы вернее избежать чумы или холеры. А теперь ступай в парную, а после прошу к столу.

4

После удачного спасения от капитана Репина, судьба подарила Котошихину две недели спокойной жизни на подворье Овчинникова. Хозяин уехал по делам, а Гришка рано ложился спать, проснувшись, допоздна валялся на пуховике, прикрытый, по взятому у ляхов обычаю, другим пуховиком сверху, утром повадился сметану запивать свежими сливками, стал требовать себе оладьи на меду, пироги со всячинкой, добрался до белого амбара, где купец хранил окорока, грудинки, шейки, балыки, и прикладывался к ним каждый день до полного насыщения. Обильное питание и отдых пробудило в нём то, что, казалось, уже навсегда отпылало и иссохло: он почувствовал, как у него проснулась игривость, и обихаживающей его кухонной девке стало это известно в первую очередь, когда Гришка поманил её к лавке звоном риксдалеров. И чем больше он от сытой жизни круглел и наливался сытостью, тем прочнее в нём становилась уверенность, что угроза быть выданным на расправу царю покинула его навсегда.

Страх Гришку покинул, но далеко не ушёл, а притулился за дверью, и когда она задрожала от крепких ударов приказчика, то беглый подьячий вскинулся с лавки, будто ошпаренный, и, метнувшись к порогу, вякнул враз осевшим голосом:

— Что надо?

— Поспеши, Григорий! — крикнул приказчик. — Тебя требует к себе губернатор!

— Зачем я ему понадобился? — почувствовав, как слабеют ноги, просипел Котошихин.

— Не ведаю. Но по городу шведы засуетились.

«Вот она как приходит, беда, — обречённо подумал Гришка. — Что за разнесчастная у меня судьба: только зажил, как опять что-то свалилось на мою голову».

Близость к кухонной девке имела для Котошихина ту выгоду, что одежда была у него вычищена и приведена в порядок. Он надел короткие штаны, башмаки, камзол, накинул на плечи плащ и поспешил на улицу, где действительно шведов стало больше, чем обычно. Судя по всему, недавно в порт пришёл корабль из Стокгольма, и с ним в Нарву явилось много служилых людей. Гришка попытался подслушать, о чём они говорят, но они

вели себя сдержанно, что, впрочем, было для шведов делом обычным.

Дворецкий Карл с крыльца углядел Котошихина, как только тот вывернул из-за угла к губернаторскому дому, и замахал ему рукой.

— Господин дворецкий, — с поклоном сказал Гришка. — По какому случаю меня кличет губернатор?

— Поторопитесь! — важно возгласил Карл. — Тебя желает видеть важная особа из Стокгольма.

«Пан или пропал!» — мелькнуло в голове беглого подьячего, и он поспешил следом за дворецким, тот отворил двери каминного зала и, шагнув за порог, Гришка замер от неожиданности: рядом с окном, весело поглядывая, стоял шведский посол Адольф Эберс.

В Гришке взыграл привычный с малых лет рабский обычай, он упал на колени и ткнулся лбом в дубовый паркет каминного зала.

— Не выдай, милостивец, на московскую расправу! — воззвал Гришка слёзным голосом. — Яви королевскому величеству мои услуги, что я совершил для твоей милости на Москве, и затем много претерпел, скитаясь, уже больше года по польскому и литовскому чужеземью, терпя и голод, и холод, и унижения!

Самоуничижение беглого подьячего, которого он на Москве знавал бойким и даже чересчур уверенным в себе молодцом, поразило Эберса и затронуло последнюю сохранившуюся в нём струну жалости. Он резво наклонился, схватил Гришку за шиворот и встряхнул над полом.

— Что такое, Григорий? — строго сказал Эберс. — Год с лишком не видишь Москвы, а рабьи привычки не оставил. Швеция — свободная страна, а ты за свои оказанные ей услуги скоро сможешь назвать её своим отечеством.

— Только одной этой надеждой и живу, — поправляя камзол, сказал Гришка. — А тут наехал капитан Репин, всколыхнулись во мне все былые мои унижения и заслонили разум.

— Забудь про Москву и всех её капитанов! — весело осклабился Эберс. — Король пожаловал тебя своей милостью. — Посол развернул письмо. — «Поскольку до сведения нашего дошло, что это человек, хорошо знающий русское государство и служащий в канцелярии великого князя и изъявляющий готовность сделать для нас важные сообщения, то мы всемилостивейше жалуем

этому русскому 200 риксдалеров и признаем за благо принять его на нашу службу».

Гришка покачнулся вперёд, схватил руку Эберса и покрыл её жаркими поцелуями.

— Опять ты за своё! — с некоторым недовольством воскликнул посол. — Отвыкай от московитских привычек. Не вздумай такое сделать в Стокгольме: ещё не заимев уважения, ты навсегда его лишишься.

— Но вы мой спаситель! — горячо вымолвил Котошихин. — От вас я получил новую жизнь, и поцеловать вашу руку — не унижение.

— Пусть будет так! — сказал Эберс и махнул дворецкому. — Я догадывался, Григорий, что моё сообщение тебя радостно удивит, но эту радость надо спрыснуть, чтобы удача тебя больше никогда не покидала.

Дворецкий наполнил чарки вином, и на этот раз оно показалось Гришке слаще обычного, наверно оттого, что перед ним уже и впрямь открылся широкий путь в Стокгольм и в новую неизбежно радостную жизнь.

— Стало быть, я могу покинуть Нарву? — сказал Гришка, поставив чарку поближе к бутылке, чтобы её не забыли наполнить.

— Корабль, на котором я прибыл сюда, уже стоит под погрузкой. Завтра он покидает гавань, посему поторопись распрощаться с приятной твоему сердцу особой. Или я не угадал, и ты готовился к монашескому бытию?

Лукавый вопрос застал Гришку врасплох, и он смутился.

— Нехорошо, Григорий, не помнить о Сельме, — улыбнулся Эберс. — Впрочем, она, кажется, обрела счастье с полковником, после того, как Коль, вполне по-русски, проучил её бичом за шашни с офицером его полка.

— Надеюсь, немец не повредил мягкости своей женки, — сказал Котошихин. — А как поживают другие?

— Они так прижились на Москве, что и не помышляют о Европе. И Блуме, и Крузе довольны своей жизнью. Но о них тебе помнить не надо, у тебя, Григорий, новое поприще.

— До него ещё нужно доехать, — сказал Котошихин — У меня в Стокгольме без вас нет ни одного знакомца.

— Такие найдутся, — потрепал Гришку по плечу Эберса. — О тебе знает начальник русского отделения Коллегии

иностранных дел советник Хольм. По приезду в Стокгольм сразу явись к нему. Он выдаст тебе деньги и определит место для проживания.

Заниматься попрошайничеством уже было для Котошихина не в новость, и он прикинулся сиротой:

— До королевской милости ещё надо добраться, а у меня в кармане пусто.

— Тебе, Григорий, надо отвыкнуть от русского расточительства, — назидательно сказал Эберс, — теперь тебе предстоит жить среди людей бережливых, и не вздумай, чтобы не прослыть среди них дураком, кичиться своей разгульной щедростью.

— Мне многому доброму и полезному предстоит научиться у шведов, — смиренно склонил голову Котошихин. — Век буду помнить, господин Эберс, вашу доброту.

Хотя посол был на ласку не падок и прижимист, он запустил руку в кошель и вынул десять риксдалеров, которые Гришка принял с обилием благодарственных слов, отчего Эберс поморщился и поспешил распрощаться со своим платным доброжелателем. Ему предстоял неблизкий путь на Москву, где его ждали на переговорном съезде жаркие прения с послами и дьяками.

Придя к Овчинникову, Гришка застал хозяина вернувшимся из поездки. Кузьма Афанасьевич порадовался, что Котошихину сам король дал службу, но гость не поверил в искренность его слов, однако ничем это не обнаружил и просил Овчинникова дружбу не забывать, а при поездке в Стокгольм не обнести старого приятеля радостной встречей. Купец не скупился на обещания, вечером им было устроено пированьеце по случаю отъезда беглого подьячего, который, после королевской милости, переступил последнее, что связывало его с православным отечеством.

Балтика в феврале нехороша своей погодой, западные ветры не дают ей успокоиться, в это время движение кораблей незначительно, купцы — корабельщики предпочитают не покидать гавани, и только редкие суда рискуют выходить в открытое море, и то по казенной надобности. Такой была и шхуна, на которой в Нарву прибыл Эберс. Ему надо было по мягкому санному пути добраться до Москвы. Обратно

судно должно было отправиться назавтра в полдень, и Гришка после пированьица проснулся, когда Кузьма Афанасьевич, обеспокоенный его сонливостью, пришёл в комнату и звякнул штофом о медное блюдо.

— Наливай! — не открывая глаз, сказал Гришка.

— Тебе надо поторапливаться, — Овчинников налил чарку. — На шхуне уже били в колокол, скликали команду.

— А может, мне вернуться в Москву? — Котошихин сел на лавке. — Ведь чует моё сердце, что я в этот окаянный Стокгольм за своей смертью еду.

— А в Москве тебя шаньгами встретят, — хмыкнул Кузьма Афанасьевич. — Не дури! Конечно, в Стокгольме жить скучно, нет там нашего русского веселья, зато покойно. Со временем женку себе из шведок присмотришь, у них этого добра полно, все рослые и в теле — есть чем заняться!

Гришка не ответил, кисло глянул на Овчинникова и стал одеваться.

— Ты что, друже, мимо чарки глядишь? — осведомился купец. — Или обрыдло хмельное?

— Оденусь полностью и выпью на дорожку. А ты, Кузьма, в Стокгольме будешь?

— Как не буду, конечно, когда явится на это причина.

Все вещи Котошихина уместились в малый холщёвый куль. Гришка завязал его верёвкой, присел на скамейку, помолчал, затем поднялся с чаркой в руке.

— Спасибо, Кузьма Афанасьевич, за приют, но, кажись, мне пора!

На шхуне Котошихину, которого не поленился приехать проводить один из знаменитых нарвских купцов Овчинников, место дали в тепле и под крышей. Много дней за бортом завывал ледяной ветер, на шхуну без устали наваливались огрузнувшие от дождя и снега волны, но Котошихин сошёл на стокгольмский берег сухим и здоровым, с опухшим от пересыпа измятым лицом.

Начальник русского отделения Коллегии иностранных дел Хольм, когда понял, кто перед ним стоит, весьма оживился и, встав с кресла, шагнул к гостю.

— О да! Как же, наслышан о вас, господин Котошихин! Господин советник Эберс дал вам весьма восторженную

характеристику. Нам такие люди нужны. Московия — очень закрытая страна, но, я надеюсь, с вашей помощью мы сумеем заглянуть в неё для пользы королевского величества.

— Постараюсь вам угодить, — сконфуженно сказал Котошихин. — Но мне надо устроиться, осмотреться, получить деньги…

— Обо всём поговорим завтра, — спохватился Хольм. — Сейчас вас проводят в гостевой дом, но завтра мы встретимся и всё обсудим.

Во второй свой приезд в Стокгольм Котошихин прибыл не царским гонцом, как в первый, а перебежчиком. И его не чествовали, и поместили не в парадных комнатах гостевого дома, а в пристрое, где находились кухня и чуланы. От близости к повару и ключнику Гришка не прогадал: повар его накормил от пуза жареным палтусом, а ключник пожаловал нового шведа самой мягкой, какая только нашлась, постелью, на которой тот разлёгся и без всяких снов проспал до позднего утра.

Увидев, что через широкое окно в комнату льётся свет, Котошихин соскочил с постели и засуетился, натягивая на себя одежду. Он корил себя за то, что в первый же день проспал на службу, но ключник его успокоил, сказав, что в Швеции никто с темна на работу не ходит, и Гришка ещё успеет доесть половину оставшегося от вчерашнего ужина палтуса.

На этот раз советник Хольм встретил Котошихина спокойно и деловито. Он велел находившемуся подле него служителю позвать некоего Анастазиуса, и когда тот явился, представил его Котошихину:

— Это наш переводчик с русского Даниил Анастазиус. Ему поручено перевести Соборное Уложение. Мне Эберс говорил, что вы, господин Котошихин, знаете русские законы, чуть ли не наизусть?

— Господин Эберс преувеличил мои знания, — сказал Гришка. —

Но Соборное Уложение мне знакомо.

— Вот и советуйте Анастазиусу, как следует понимать трудные речевые обороты. Но, главное, привыкайте к своей новой жизни.

— Моя служба шведскому престолу, — сказал Котошихин, — могла быть годна и тем, если бы я учил кого-нибудь русскому языку.

— Надеюсь, мы в дальнейшем воспользуемся вашим предложением, — советник повернулся к Анастазиусу. — Вы обсудили с супругой моё предложение, взять русского к себе в дом постояльцем?

— У нас есть комната, которую я мог бы предложить господину Котошихину, — сказал переводчик. — Но как он воспримет наш шведский стол после привычных ему московских разносолов?

— Я не привередлив, — улыбнулся Котошихин. — Шведская еда мне нравится. Но хватит ли денег, чтобы жить в людях?

— Вам положены квартирные, — успокоил его Хольм. — Их, конечно, не хватит, чтобы платить и за стол, добавите из жалования, которое, кстати, вам следует получить. Покажите, Даниил, Котошихину кассу и возвращайтесь.

Жалование выдавали в соседской комнате, Анастазиус оставил там Гришку, а сам поспешил к начальнику.

— Как вам, Даниил, показалось наше новое приобретение? — сказал Хольм.

— Ещё не знаю, — пожал плечами Анастазиус. — Если он знает Уложение на память, то это великий человек. Вы ведь видели этот фолиант, его прочитать, так года не хватит, а запомнить, так и жизни мало.

— Вот и используйте московита, не давайте ему лениться, — сказал Хольм. — Работать он будет у вас дома. В Коллегии ему делать нечего, да и опасно держать близ королевских секретов человека, который уже обнаружил неуемную тягу делиться ими за деньги с другими странами.

— Значит, он не просто перебежчик, но и предатель! — изумился Анастазиус.

— Он полезный для нас человек, — неодобрительно глянул на переводчика Хольм. — А это означает, что мы должны его оберегать от всяких случайностей. Запрещаю говорить о том, что известно о Котошихине, даже своей жене. Он предатель по своей судьбе, а в жизни — человек общительный и умный. Вы, Даниил, должны с ним сойтись для общего блага, чтобы он не выкинул нам такого, отчего господин канцлер Магнус де ла Гарди пришёл бы в ярость.

— Но, господин советник! — жалобно проговорил Анастазиус. — Я получаю жалование как переводчик, а вы нагружаете меня дополнительными обязанностями.

— Извините, Даниил, за мою забывчивость, — осклабился Хольм. — Извещаю, что вам на пятьдесят риксдалеров повышено годовое жалование.

Гришка был так крепко смущён известием, что ему придётся жить нахлебником в чужой семье и подчиняться во всём шведским обычаям, что, не пересчитывая, сгрёб жалование в кошель и вышел в коридор, там его сразу же подхватил Анастазиус и провёл в чулан, где Котошихин получил письменные снасти, а также большую стопу бумаги. С помощью переводчика всё это было доставлено в комнату, где за столами на стульях сидели занятые перепиской бумаг писцики. Анастазиус открыл замок на одном из шкафов, сложил туда всё, что они принесли, и достал толстую книгу.

— Узнаешь? — сказал он.

— Как не узнать, — Котошихин взял книгу и взвесил её на руке. — Фунтов на десять потянет. Этим Уложением и быка можно оглушить.

— Держи крепче, — сказал Анастазиус. — Заберём её домой. Я буду иногда работать здесь, а тебя, Григорий, придётся расположить в моём доме. Так велел советник Хольм. У нас в Швеции строгое во всём послушание. Тебе это, конечно, в новинку, у вас ведь принято перечить друг другу, или не так?

— Ничего вы, шведы, про русские порядки не ведаете, — обиделся за Москву Котошихин. — Мы вам наврали про наше безурядье, а вы и рады этому до смерти. У нас и порядок есть, и законы. Беда только в том, что они часто друг другу противоречат.

— Такого быть не может! — после некоторого раздумья горячо возразил Анастазиус. — Порядок и закон — это одно и то же понятие.

— У шведов, может статься и так, — возразил Котошихин. — Порядок — это тот уклад жизни, когда она подчинена здравому смыслу. А ему-то как раз и противоречат законы.

— Быть того не может! — повторил швед с прежней горячностью. — Ты докажи это примером.

— Да вся Россия пример, — поморщился Котошихин. — По здравому смыслу не надо до конца разорять людей, чтобы они были годны платить налоги и на другой год, а по тому же Уложению можно свободного человека не только разорить, но и сделать его рабом.

— Что ж, ты, наверно, эти порядки лучше моего ведаешь, — сказал Анастазиус. — Только и мы не ангелы, и у нас есть такое, отчего душу воротит.

После такого разговора Котошихин и Анастазиус почувствовали друг к другу приязнь, и, не сговариваясь, зашли в питейное заведение, где переводчик был хорошо известен хозяину, который живо явил перед ними на столе вино и закуску. Гришка всё это с удовольствием обозрел и довольно ухмыльнулся: по всему, жить в Швеции было вовсе не худо, и увидели бы подьячие московских приказов, как заседает Котошихин в сотне саженей от королевского дворца с кружкой рейнвейна, то сразу бы сбежали из Москвы и не оглянулись.

К удивлению Котошихина, в трактире не было пьяных, шведы вольготно толковали о всяких делах весёлыми голосами, не толкались на крыльце и в дверях, не лезли друг через друга к прилавку; вкусив отдыха и веселья, они шли по своим делам, а не пили без меры, не лопали винище, пока оно не потечет из ушей, не кидались друг на друга с кулаками, а мирно беседовали.

Не собирался напиваться допьяна и Анастазиус, опорожнив свою чарку, он достал кошель и вынул из него деньги.

— Мы уходим? — удивился Гришка. — В таком разе я заплачу.

— В Швеции принято платить каждому за себя, — остановил его Анастазиус. — Это наш похвальный обычай — не одалживаться у чужих людей, чтобы не стать им обязанным.

— Но у меня сегодня праздник, — сказал Котошихин, когда они уже шли на южную сторону города, где Анастазиус имел свой дом. — Даже два праздника: приезд и новоселье. Без вина являться к тебе было бы неудобным.

— Это будет последний раз, когда восторжествует московский обычай, — засмеялся Анастазиус. — На моей улице есть торговая лавка, и вино там не дурное.

«Стало быть, Анастазий, не так уж и строг по части винопития, — смекнул Гришка. — Знать бы только — мне это к добру или к худу?»

В лавке, где торговали всяким товаром, Котошихин купил глиняную бутыль вина, и они уже скоро стояли возле ворот дома, которые были невысоки, и через них было видно всё, что делалось во дворе. Дом был сделан из бруса, выкрашенного

светло-коричневой краской, имел два просторных окна на улицу, высокую и крутую тесовую крышу, и сделанные из такого же бруса хозяйственные постройки. Двор был посыпан песком, прибран, вокруг дома был разбит сад по зимнему времени невидный, но с чисто убранной от листьев чёрной землей.

Появление Котошихина, этой возбуждающей любопытство московской невидали, вызвало среди домочадцев Анастазиуса лёгкий переполох. Хотя они ждали его прихода, но женщинам всегда не хватает каких-то мгновений, чтобы приготовить себя к выходу. Не стали исключением и обитательницы дома Анастазиуса: пока Гришка, руководствуясь указаниями хозяина, разоболокался и снимал сапоги, затем примеривал домашние туфли, они кинулись, толкая друг друга к зеркалу, чтобы наложить последние штрихи на свою красоту, а затем выстроились шеренгой в гостином зале.

Весьма смущённый предстоящим знакомством, Гришка, потупившись, последовал за хозяином, а тот голосом счастливого обладателя несметного богатства представил ему жену Марию, дочь Валентину и сестру жены Линду.

— А это будущие толмачи и переводчики Коллегии иностранных дел! — объявил Анастазиус, указывая на мальчиков лет шести и семи, которые чинно стояли в одной шеренге с взрослыми.

Котошихин осмелел, поднял голову и поздоровался, в ответ вся шеренга его приветствовала — женщины лёгким приседанием с оттопыриванием локтей, а мальчики поклоном.

— А сейчас, Григорий, мы оглядим твою комнату.

По коридору, застеленному полосатой ковровой дорожкой, они прошли в конец дома.

— Хотя мои сыновья добродетельны, но иногда шалят. Поэтому я даю тебе комнату в стороне от других.

— Неплохо бы знать, где тут у тебя царское место? — сказал Котошихин.

— Какое царское место? — не сообразил Анастазиус.

— А такое, куда даже царь пешком ходит.

Хозяин молчал, похлопывая глазами, а затем расхохотался.

— Это совсем недалеко от твоей опочивальни, сразу за углом.

Комната, в которой предстояло жить и работать Котошихину, была просторной и светлой. Возле широкого окна, с видом на сад,

стоял стол с приставленным к нему стулом. У стены находилась кровать, застланная клетчатым одеялом, рядом с ней находился широкий и поместительный шкаф.

— Ну, как? — сказал Анастазиус. — Может, что-нибудь не годится?

— Всё годится.

— А что ж ты нахмурился?

— Я опечалился тому, что у нас на Москве не многие дворяне живут так, как живёт переводчик в Стокгольме.

— Не торопись судить, Григорий, — сказал Анастазиус. — Швеция будет поболее моего дома, и у нас своих бед немало.

Он подошёл к столу, выдвинул из него ящик и поманил Котошихина.

— Здесь всё необходимое тебе для письма. Потом всё это оглядишь, а теперь нам надо поторапливаться к столу.

Едва они вошли в столовую, как жена Анастазиуса сразу обнаружила, кто в доме имеет большую власть: она сама взяла Котошихина за руку и указала ему место за столом, как раз напротив её. Пока она двигалась перед ним и шевелилась, Гришка не преминул заметить, что её тело, стиснутое тесным одеянием, вкусно поигрывает своими мягкостями, и ощутил, как его голова слегка запошумливала, почти также, когда он спешил к Немецкой слободе на встречу с Сельмой.

К счастью, головокружение у Гришки длилось всего мгновенье, его взор обратился к столу, заставленному праздничной шведской снедью. Главным событием на белой холщёвой скатерти был копчёный гусь, помещённый на тонком медном блюде, на него и нацелился с ножом Анастазиус, быстро и умело разделивший птицу на доли, которые все брали на свои тарелки по старшинству. Затем были наполнены чарки, и Котошихин с некоторым замешательством увидел, что хозяйка себя не обнесла вином, как и свою сестру Линду.

Гришка потянулся к своей чарке, но тотчас отдёрнул руку: Анастазиус, сцепив кисти рук над столом, прочёл молитву, затем все выдохнули: «Аминь!» Гришка промолчал, и сразу, вслед за хозяином и хозяйкой, взялся за чарку, опрокинул её и впился зубами в ногу копчёного гуся.

5

Далеко не сразу, но со временем Котошихин притерпелся и привык к своему стокгольмскому бытию, благо оно было сытным, покойным. Никто не стоял у него над душой, никакой страх не нависал над его головой, он усердно, по одной странице в день, исправлял и выверял переведённый Анастазиусом текст свода русских законов, и, чтобы совсем не обленииться, по своей охоте учил отпрысков квартирного хозяина русскому языку, но и эти хлопоты не заслоняли Гришку от скуки, которая стала наваливаться на него всё чаще, всё неодолимее. Кажется, он жил так, как мечтал об этом на Москве, достиг желанной свободы ругать московские порядки и думать обо всём, что только похочет, но неправды Москвы в Стокгольме мало кого интересовали, сочувствовать каторжной доле подьячих в московских приказах шведы не спешили. Сначала беглого московита вежливо слушали и даже испускали сочувственные стоны, но вскоре даже Анастазиус, на которого Гришка тратил в трактирах полученные у Хольма риксдалеры, стал явно скучать и смеживать в дремоте очи, а если спохватывался, то только за тем, чтобы приложиться к чарке, до которой он обнаружил неуёмную любовь.

Мария скоро спроведала, кто спаивает её благоверного, и задала Котошихину крепкую взбучку, после чего тот надолго остался без собутыльника, а в одиночку ему не пилось, и он стал раздумывать о своей жизни, и чем усерднее Гришка искал ответа на вопрос, что его ждёт впереди, тем острее стал понимать, что его судьба похожа на сгнивший и подламывающийся настил, под которым дымится бездна преисподней.

Котошихин впал в отчаянье, которое в самое близкое время могло привести его к мысли совершить над собой дурно, но его спасло знакомство с Олафом Баркгузеном, переводчиком Коллегии иностранных дел, который обратился к нему за разъяснением переводимого им текста. За работой они разговорились, прислушались, присмотрелись друг к другу, и между ними возникли приязненные отношения. Гришку тянуло выговориться, Олаф умел слушать и поддерживать разговор вовремя поставленными вопросами. Он принадлежал к редкому числу иноземцев, которые, не зная России, не спешили её охаивать, и с явным интересом стремился узнать о ней как

можно больше самых разных сведений, к тому же швед обладал добрым и чувствительным сердцем, и искренне сочувствовал Котошихину, которому волей случая пришлось покинуть отчизну и жить, хотя в прекрасной, но незнакомой стране.

Настоящей причины, по которой он оказался в Стокгольме, Гришка своему новому приятелю не открывал, а тот её не искал. Баркгузена интересовала Россия, и об этом они говорили часами напролёт, по большей части, не сидя дома, а прогуливаясь по тихим и чистым улочкам Стокгольма, что стали нарядны и привлекательны, особенно, в предместьях, садами и цветниками, которые попадались здесь на каждом шагу.

Баркгузен был очень умён и не лишён литературного дара, он смог вполне оценить те сведения, которыми располагал Котошихин, и как-то обратил его внимание на то, что тот держит в голове готовую книгу об устройстве Российского государства, и её надо только записать.

— Если бы ты знал, Олаф, как мне опротивело письмописание на Москве! — сказал Котошихин. — Сколько себя помню, только этим и занимался. Да и кому нужно знать устройство России?

— Как можно так неразумно относиться к тому, чем обладаешь? — удивился Баркгузен. — Допустим, ты прав, сегодня Россия находится на задворках Европы, но через век она станет одним из мировых центров. К тому же, написав книгу, ты прославишь своё имя.

— Такое дело не по мне, — после долгого раздумья сказал Котошихин. — А своё имя я прославил так, что и вспоминать не хочется.

Баркгузен не стал настаивать на своём предложении и продолжал расспрашивать беглого подьячего, удивляясь его памятливости и острому уму, однако от своей затеи не отказался и как-то явился к приятелю весьма озабоченным.

— Сегодня состоится важное событие, — сказал Олаф. — На кладбище для некрещёных младенцев будут вынимать из могилы гроб великого француза Ренэ Декартуса.

— Чем же он так прославился? — заинтересовался Котошихин. — И что француз поделывал в Стокгольме?

— Нам надо поторопиться, если мы хотим увидеть это событие, — сказал Баркгузен. — А по дороге я поведаю тебе то, что о нём слышал.

Южное предместье Стокгольма, где жительствовал Котошихин, было благоустроено так же, как и другие окраины столицы, но выделялось из них наличием мрачного по своему предназначению пустыря, на котором обезглавливали преступников, и кладбищем для некрещёных младенцев.

Обычно улицы в этот час были безлюдны, однако, когда они вышли из дома Анастазиуса, Гришку удивило большое число карет и всадников, которые следовали со всех концов города на его южную окраину.

— Этот Декартус, видимо, и на самом деле был сильным человеком, если посмотреть на то, как его изымают из могилы, спешат лучшие люди Стокгольма, — сказал Котошихин, с большим интересом оглядывая людской поток.

— Вряд ли здесь найдётся и десяток людей, которые спешат к отверстой могиле великого мыслителя Франции, что отдают себе отчёт, кем был этот человек, — с сожалением произнёс Баркгузен. — Большинством из них движет любопытство — ещё один идол человеческого мышления, о котором промолчал Френсис Бекон. Я хорошо помню приезд Декартуса в Стокгольм, поскольку в 1649 году закончил университет и был принят на службу во французское отделение Коллегии иностранных дел. Декартус прибыл в Стокгольм по приглашению королевы Христины, и я был среди встречавших на Стокгольмской пристани, вместе с французским послом Шаню. И надо сказать, учёный меня удивил внешним видом, но, видимо, галлы не могут без того, чтобы не поражать всех своим оперением, и Декартус был наряжен, как щёголь, по наимоднейшему парижскому образцу — в пышном, расчёсанном на крупные локоны сивом парике, камзоле, украшенном бельгийскими кружевами, ботфортах с раструбами. Однако, он скоро сменил сей пышный наряд на скромное платье, и я его часто встречал прогуливающимся в обществе французского посла. Но в Стокгольме ему не пожилось, через несколько месяцев он умер.

— Почему же столь славного человека погребли в непристойном месте? — удивился Котошихин.

— Королева Христина распорядилась похоронить Декартуса в главном соборе Стокгольма, но этому воспротивился посол Шаню, который посчитал, что не место католику быть среди лютеран, пусть даже все они покойники.

Пространство кладбища для некрещёных младенцев было обнесено изгородью из колючего кустарника, который цвёл мелкими белыми цветками. На подходе к нему находилось до тридцати карет и несколько десятков осёдланных коней. Приехавшие на них важные господа, сняв головные уборы, глядели, как могильщики достали из могилы гроб, крепкий на вид, но покрытый белыми пятнами плесени, и погрузили его на широкую телегу, запряжённую парой сытых коней. Католический священник прочёл над покойным недлинную молитву, и процессия тронулась в сторону гавани, где стоял присланный за величайшим сыном Франции военный корабль.

Котошихин и Баркгузен проследовали вместе с провожающими до причала. На французском корабле для встречи Декартуса был приспущен флаг и звонил корабельный колокол. Матросы сняли гроб с телеги и внесли его на палубу, где, обнажив головы, его встретили моряки и несколько важный особ.

На Гришку ритуал проводов Декартуса произвёл тягостное впечатление, и чтобы от него избавиться, он нащупал в кармане два риксдалера.

— По русскому обычаю, — сказал Котошихин, — надо бы Декартуса помянуть чаркой вина.

Баркгузен с предложением приятеля согласился, и они вошли в припортовый трактир, где нашли свободный стол и, усевшись за него, заказали по чарке водки и куску солёной рыбы.

— Почему Декартусу в своё время не пожилось во Франции? — сказал Котошихин, глядя в окно, за которым был виден край гавани. — Он ведь не был мятежником, не хулил ни Бога, ни короля.

— Ему были не по душе божьи королевские слуги, что, как водится, заслоняли собой свет истины, который исходит от всевышнего и монарха, — объяснил Баркгузен. — Учёному и у нас не пожилось. Гонимый католиками, он, поговаривают, пытался вернуть королеву Христину к папскому престолу. Я знаю людей, которые собрались учинить против Декартуса войну, даже сегодня их видел рядом с его гробом.

— Зачем же они пришли? — поразился Гришка. — Что они искали рядом с его останками?

— Сейчас высший свет Европы подчиняется Парижу, а там последние два года явилась мода на Декартуса. После того, как его прах захоронят в церкви святой Женевьевы, он обретёт

бессмертие в памяти людей. Наш стокгольмский высший свет тоже не против прикоснуться к славе великого француза, потому и сбежался на кладбище. О Декартусе будут идти толки ещё не меньше года, и всякий раз тот, кто был сегодня на его проводах из Стокгольма, сможет покрасоваться заученным наизусть рассказом о своём участии в этом событии.

Баркгузен спешил на уроки, которые он давал великовозрастному оболтусу, сыну своего начальника, и в трактире они не засиделись, рассчитались каждый за себя и вышли на улицу, где пообещали друг другу встретиться через два дня. Котошихину некуда было спешить, и он медленно двинулся в сторону дома Анастазиуса. Его крепко задело увиденное им возвращение останков Декартуса на покинутую им из-за чинимых на ней неправд отчизну. Это напомнило ему о собственной судьбе, и он, затосковав, подумал, что царь за ним никогда не пришлёт корабль, скорее, рядом с ним появится капитан Репин с ножом за пазухой, и никакой посмертной славы у него не будет, и ему как православному суждено остаться зарытым на кладбище для некрещёных младенцев.

«Но ведь и я в силах оставить после себя немалое дело, — вдруг ожгло догадкой Котошихина. — Олаф мне все уши прожужжал, что мне надо написать книгу о московских порядках. Почему бы это не начать мне делать тотчас, не сходя с этого места?»

Озарение не покинуло Гришку, и он сумел обозреть мысленно всю книгу, которую ему предстояло написать, и чтобы жажда к труду не проходила, он сразу же нашёл себе поддержку в мысли, что эта книга необходима для иноземцев, которые не пропустят её мимо глаз, прочитают и заинтересуются, что это за учёный московит пребывает в безвестности, а слава на родную землю чаще приходит из чужих краев. Книга, по задумке Котошихина, должна была заслонить в глазах соотечественников совершённое им предательство. «Россия для иноземцев всё ещё неизвестная земля, и я её открою Европе, как Колумбус Америку».

Гришка поспешил домой, в голове у него уже теснились изначальные строки книги, и, забежав в свою комнату, он сразу кинулся к столу, достал письменные снасти, и на ослепительно-белом листе бумаге вывел чернилами: «О царях и царицах и о царевичах и о царевнах и о женитьбе царской, коим обычаем бывает веселие».

Обмакнув подсохшее перо в чернильницу. Котошихин без промедления продолжил резвый ход своей мысли: «Великий князь Иван Васильевич Московский, Гордый со многими своими князи и боляры, ходил войною со многими войсками под Казанское и Астраханское и Сибирское царствы…

Он так увлёкся письмописанием, что спохватился, когда в комнате стало темнеть. Гришка зажёг свечу, добавил чернил, сменил начавшее царапать бумагу гусиное перо, и продолжил работу с прежней горячностью. Хозяйская дочка Валентина позвала его на ужин, но он от неё отмахнулся и приник к бумаге, страшась только одного, что неслышный голос, нашёптывающий ему всё, до запятой, о чём он должен писать, пропадёт, и ему уже никогда больше не удастся погрузиться в блаженство сотворения слов, которое он испытывал сейчас, впервые в жизни.

Котошихин оставил работу, когда небо стало светлеть новым днём, и погрузился в сонное беспамятство, из которого вынырнул через несколько часов в великом страхе, что не сможет написать ни строчки, но, подержав несколько мгновений в руке перо, он услышал, как вновь зазвучал в нём вчерашний голос, и всего его окатило волной восторга перед своим всесилием повелевать словами и вызывать на свет такое, о чём он даже не догадывался в своей жизни ни разу.

Баркгузен явился к Котошихину, как и обещал, через два дня и почти не узнал приятеля, подумав, что тот захворал горячкой, глаза у него лихорадочно поблескивали, лицо пылало жаром, речь стала бессвязной.

— К тебе надо звать лекаря! — воскликнул Олаф и собрался за ним сходить, но Гришка его усадил на стул и, кинувшись к столу, подал ему с десятка три исписанных листов.

— Что это такое? — заинтересовался Баркгузен. — Я не настолько владею русским, чтобы всё это прочитать с одного раза.

— Тогда читай хотя бы первые строки, — потребовал Гришка, которого распирала вполне понятная гордость автора.

— Ты решился на книгу! — воскликнул Олаф. — И уже написал две главы! Да ты, брат, скородел, стало быть, не станешь долго мучить меня ожиданием, когда закончишь работу.

— Два дня назад будто что на меня сверху свалилось, — смущённо произнёс Гришка. — Вдруг узрел всю книгу целиком и загорелся. Теперь боюсь, что остыну и брошу на полпути, поэтому о том, чем я занят, помалкивай.

— Но мне-то ты будешь давать на читку, что напишешь? — сказал Баркгузен. — Может, и я сумею что-нибудь подсказать. Могу и, не читая, дать совет: пиши правду и ничего не придумывай.

— На Москве такое водится, что в других странах и в толк не возьмут, как русское государство не рухнет. Ведь всё в нём устроено так, чтобы схватить человека за шиворот и не выпускать его до самой смерти. Разве и такую правду надо писать?

— Обязательно! — подтвердил Баркгузен. — Однако отыщи и найди причины, почему на Москве такие порядки?

— Они все на виду: русские люди породой своей спесивы, не научены ни к чему доброму, кроме спесивства и бесстыдства, и ненависти и неправды. Тебе это ведомо по русским послам, как они от своих слов отказываются, вину возлагают на переводчиков, юлят, выкручиваются, выдают чёрное за белое, и наоборот.

— Вряд ли они хуже других послов, — сказал Баркгузен. — Все дипломаты таковы, что правды от них не услышишь. Но почему московиты мало способны к наукам и ремёслам?

— Где же они им обучатся, когда без повеления царя никто не может выехать в другую страну? — помрачнел Котошихин. — Что, и об этом писать?

— Ты на меня не гляди! — сказал Баркгузен. — Приступай к работе, а я тем временем прочитаю то, что тобой уже написано.

— Читай, да только бумагой не шурши, чтобы не сбивать меня с толку, — строго промолвил Гришка и, прочитав и исправив последний написанный им лист, борзо застрочил пером по бумаге, забыв обо всем, что происходило вокруг. Баркгузен тихонько посиживал в сторонке и старательно вникал в подьяческое письмописание. «Московиты, наверно, самый многословный народ в Европе, — думал переводчик. — Сколько лет учу русский язык, но до сих пор понимаю с пятого на десятое. Странное дело: говорят они ёмко и понятно, а как начнут писать, то нагородят и навьют столько словес, что невозможно уловить мысль. Это у них, наверно, идёт от византийского православия, греки были великие мастера на всякие словесные уловки и хитрости».

С этих дней для Котошихина началось главное дело его жизни — создание обширной докладной записки «О России в царствование Алексея Михайловича», как её впоследствии назовут исторические исследователи. По сути дела беглым

подьячим Посольского приказа был написан весьма подробный и достоверный путеводитель по России, интересный для дипломатов, военных, торговых людей и приоткрывающий завесу тайны, которая окружала Московию до появления книги Котошихина. Она, безусловно, была хорошим подспорьем для всех, кто интересовался Россией, ибо кроме рассказа о жизни царской семьи, в нём подробно рассказывалось: о царских чиновных людях (от бояр до всяких служилых и дворовых людях); о титулах, которые пишутся государям иных стран; об устройстве посольской службы, жалованьи посольским людям, величине подарков, которые даются иноземным государям, о порядке приёма и провозов иноземных послов. Котошихин центральное место в своей книге отвёл описанию устройства стержневых механизмов Русского государства — многочисленных приказов, которые ведали всеми сторонами жизни страны: экономической, военной, правовой, государственным управлением и обеспечением царского двора. Не преминул Котошихин доложить шведам об устройстве русской армии, с перечислением полков и вспомогательных войск, описанием их вооружения и устройства.

Свою книгу Котошихин закончил почти через год, и единственным её читателем пока был Олаф Баркгузен, который иногда задавал автору уточняющие вопросы, на которые Гришка ответил письменно, и впоследствии включил свои ответы в книгу. Оценка благожелательно настроенного шведа работы Котошихина была весьма высокой.

— Теперь рукопись надо переписать набело и переплести в книгу,— убеждал Баркгузен.— Её просто необходимо представить его высокопревосходительству Магнусу де ла Гарди. Она ему, безусловно, понравится, и ты, Григорий, через это приобретёшь хорошую должность и достойное вознаграждение.

— У меня нет сил на неё смотреть,— отнекивался Гришка.— Может, кто другой перепишет рукопись, а я с будущей награды с ним рассчитаюсь.

— Такого человека не найти во всей Европе,— убеждал его Олаф.— Тебе надо переписывать книгу самому. Так ты узришь в ней свои ошибки и выправишь, а переписчик их пропустит, да ещё и своих наделает, в придачу к твоим.

Это соображение убедило Котошихина вновь взяться за перо, и через два месяца переписанная книга была в руках Баркгузена.

— Надо её переплести,— сказал он.— У тебя есть на это деньги?

— Я давно пуст,— помрачнел Котошихин.— На меня Анастазиус косо поглядывает, только Мария ко мне снисходительна.

— Не завёл ли ты с ней шашни?— обеспокоился Олаф, заметив, что Гришка сладко произнёс имя жены Анастазиуса и вкусно причмокнул.— Не зови, Григорий, на свою голову лихо! Отойди от соблазна подальше! Я могу тебя поместить на квартиру, где женским духом не попахивает.

— Это мои заботы,— легкомысленно произнёс Гришка, который, после завершения книги, почувствовал в душе присутствие весёлой лёгкости, коя случилась с ним и в прежние дни на Москве, когда он совершал свои сумасбродные поступки.— А тебя, Олаф, я прошу взять на себя заботы по переплёту книги в крепкую и мягкую кожу.

— Это я тебе обещаю,— сказал Баркгузен.— Сегодня же книга будет у переплётчика, но ты не забудь моё предупреждение. Анастазиус во хмелю бывает прилипчив со своими дикими выдумками. Сейчас мы терпим друг друга молча, а было время, когда он меня обвинил в ухаживании за своей женой и бросался в драку.

— Меня ему обвинять пока не в чем,— лукаво произнёс Гришка.— А там поглядим.

Баркгузен сожалеюще повздыхал, поглядывал на готового сунуть голову в западню Котошихина, взял рукопись и покинул дом Анастазиуса, из которого его взглядом проводила Мария, немедленно поспешившая в комнату русского жильца.

— Что с тобой, Мария, стряслось?— вскинулся Котошихин.— На тебе лица нет!

— Даниил опять загулял,— чуть не плача, вымолвила Мария.

— На какие зажитки он гуляет?— удивился Гришка.— Жалованье ещё не давали.

— Из Нарвы приехали русские купцы, он подрядился им толмачить, и тебе должно быть ведомо, что московиты без водки жизни не знают.

— В этом ты права, без хмельного нашему брату и в Швеции скучно.

Мария тесно приблизилась к Гришке, он учуял терпкий запах здорового и свежего женского тела и сказал дрогнувшим голосом:

— Не знаю, чем и помочь твоей беде.

— Разыщи Даниила и приведи домой. Я только сейчас поняла, какую сделала глупость, когда вышла замуж за порченого пьянством вдовца с дочерью. Я однажды, забрав детей, уже уходила из дома, ведь он губит не только себя и меня, но и ребят.

— Где он гуляет? — сказал, взявшись за шапку, Котошихин.

— В каком-то портовом трактире.

Гришка вышел из дома, вокруг уже начали сгущаться сумерки, на улице до самой гавани он повстречал всего несколько человек, но это были служивые люди, ночная стража на конях. Они Котошихина знали, молча, приветствовали его кивками и продолжали свой путь. По сравнению с Москвой в шведской столице ночью было скучно: в ней не раздавалось ни песен подгулявших горожан, ни душераздирающих криков ограбленных, ни топота стражников и выстрелов по убегающим разбойникам. Шумно было только возле портовых трактиров, но и там не как на Москве, с ором и мордобитием, а чинно и благопристойно: немецкие матросы шаркали по столешницам наполненными пивными кружками и, обхватив друг друга за плечи, горланили песню финны, притоптывая сапожищами во след каждой проглоченной ими чарке вина, англичане жгли табак в своих коротких трубочках и поглядывали по сторонам, не бросает ли кто в их сторону насмешливых взглядов, с тем, чтобы немедленно рассчитаться с обидчиками крепкими тумаками.

Гришка заглянул в один трактир, в другой — и нашёл русских купцов только в пятом питейном заведении, где они посиживали в просторной комнате и разговаривали с шведскими торговыми людьми. Котошихин ожидал встретить своего нарвского приятеля Кузьму Овчинникова и не ошибся, он был здесь, и как углядел Гришку, то с пьяной слезой радости в голосе бросился ему на шею.

— Рад тебя видеть, Григорий Карпович, в добром здравии! — возгласил купец. — А я целый день тормошу Анастазиуса, чтобы он тебя привёл, а ты сам явился.

— Я и не ведал о твоём приезде, — сказал Гришка, оглядывая подгулявших купцов. — А где Даниил, что-то я не вижу его лысины над столом.

— Данилка, брат, отдыхает на полу под столом. А тебе он зачем? Или до сих пор с ним не наговорился?

— Меня за ним его жена прогнала, — сказал Котошихин. — Сходи, говорит, отыщи моего мужа у московитов, пока он жив, и приведи до дому.

— Данилка скоро оклемается, — сказал Кузьма Афанасьевич. — А ты о себе скажи, как живётся-можется?

— Рад бы, Кузьма, и по-другому жить, да не могу, — вздохнул Гришка. — Из московской неволи попал в шведскую волю, а счастья не ведаю.

— А ты пореже о нём мечтай, тогда оно скорее явится, — посоветовал Овчинников, подвигая к Гришке наполненную вином чарку. — Это наш русский швед Григорий Котошихин! — объявил он. — Если Анастазиус завтра не сможет толмачить, то он нас выручит.

Здесь были купцы из Пскова, и о бегстве подьячего Посольского приказа они знали, как и о том, что московские власти требуют выдачи предателя, и не замедлят отрубить ему голову, если он попадётся им в руки.

Нескромные взгляды торговых людей насторожили и обидели Котошихина, и он тронул Овчинникова за рукав:

— Тормоши Анастазиуса, мне пора тащить его домой.

— Поднимай его сам: ты ему свой, а на меня он может разобидеться, — сказал Овчинников.

Гришка взял Анастазиуса под руки, поставил на ноги, но он тотчас стал валиться на сторону, и его пришлось крепко держать.

— Он же спит стоймя, — сказал Кузьма Афанасьевич. — Давай, Григорий, я его поддержу, а ты три, что есть силы, ему ладонями уши.

Котошихин не пожалел силы и старания, и скоро Анастазиус захлопал очами и стал вырываться из рук Овчинникова. Купец его отпустил, и толмач зашарашился вокруг стола.

— Бери его, Григорий, и волоки на улицу! — велел Овчинников. — Завтра я тебя жду, Данилка вряд ли оторвёт от подушки голову, будешь вместо него толмачить, и не даром, а за деньги.

Анстазиус некоторое время плёлся рядом с Котошихиным, затем стал спотыкаться и присматриваться к мостовой, чтобы на неё улечься. Гришка потрепал его за уши, и швед взбодрился, но скоро опять заспотыкался, и Гришка его вновь взбодрил. Так они передвигались к южному предместью города, пока не повстречали конную ночную стражу.

— Сегодня у переводчиков праздник, — сказал служивый и, наклонившись, схватил Анастазиуса за шиворот и погрузил его поперёк коня перед собой.

— Господин стражник! — испугался Котошихин. — Не забирайте господина Анастазиуса в холодную, у него слабое здоровье.

— Это у вас, московитов, людей отрезвляют вымораживанием, — заявил стражник. — А мы их доставляем к своим постелям.

Он шевельнул поводьями и в сопровождении своего товарища и поспешающего за ними вперебежку Котошихина направился к дому Анастазиуса. Ночная стража по прежним встречам знала Даниила как гуляку, и не раз помогала добраться ему до калитки.

Анастазиус кулем сверзился с коня и начал похрапывать. Гришка подхватил его под руки и волоком подтащил к крыльцу, на которое, пылая гневом, выбежала Мария. Она помогла Котошихину дотащить мужа до кровати, сняла с него сапоги и ослабила на животе пояс.

Гришка добрался до своей комнаты и, пользуясь лунным светом, не зажигая свечи, разделся и возлёг на свою постель. День выдался для него хлопотным, его стало клонить в сон, и перед тем, как закрыть глаза, он посмотрел на дверь. Она была не заперта на крюк, и кто-то за ней стоял. Послышался лёгкий скрип, Гришка уже знал, кто присел с ним рядом, но не открывал глаз, пока не услышал:

— Если бы ты знал, как он мне опротивел…

— Молчи, Мария, — шепнул Гришка, и, опрокинув её рядом с собой, стал подниматься на четвереньки.

6

На следующее утро Котошихин, весьма приуставший от крепких и душных объятий квартирной хозяйки, залежался в постели и продрал глаза уже после того, как оторали все стокгольмские петухи. Он выпростался из одеяла и голяком прошёл к скамейке, на которой в медном тазу была вода для умывания, ополоснул лицо и, взяв полотенце, стал утираться перед зеркалом, в котором вдруг что-то промелькнуло. Гришка обернулся и, ойкнув от неожиданности, прикрыл полотенцем причинное место: за окном стояла Валентина, падчерица Марии, устремив на него пронзительный немигающий взгляд. Свой испуг обозлил Котошихина, он отбросил полотенце в сторону и зашлёпал босыми ногами к окну.

— Ты сюда явилась в гляделки играть? — сказал он, открыв створки. — Лезь в комнату.

Валентина, не дрогнув ни одной жилкой, отвернулась от Гришки и ушла, а он сплюнул через окно и стал поспешно одеваться. Сегодняшний день обещал быть хлопотным, но сулил, в случае удачи, хороший заработок у русских купцов, которым нужен был толмач. Выйдя из комнаты, Гришка сунулся к Анастазиусу, но тот спал и не думал просыпаться. Возле кухни он столкнулся с Марией, она потянула его за рукав в кухню, где подала ему большую кружку тёплых сливок и кусок мягкого хлеба.

— Я иду с русскими купцами, — сказал Котошихин. — Объяви это Баркгузену, если он будет здесь.

Прогулка по утренним улицам города взбодрила Котошихина, от усталости, с которой он встретил новый день, не осталось и следа, он весело смотрел вокруг себя, улыбаясь встречным служанкам, спешившими с большими корзинами к торгу за свежей провизией. Этот еженедельный выход был для них праздником, и они готовили к нему наряды, чтобы покрасоваться друг перед другом и столичными щеголями, которые норовили их ущипнуть за мягкие места и необидно потешиться над девичьей стыдливостью.

Однако дойти до русских купцов Котошихину сразу не удалось, его перехватил Баркгузен, окликнув из кареты, а затем явивший перед ним своё весёлое лицо.

— Ты чему так рад, Олаф? — спросил Гришка.

— Сейчас и ты будешь доволен, — улыбнулся Баркгузен. — Твою книгу я смог показать самому Магнусу де ла Гарди. Его высокопревосходительство велел мне перевести главу о ратных делах, весьма её одобрил и тут же указал повысить тебе оклад до трёхсот риксдалеров в год. Этот доход, Григорий, сможет сделать твою жизнь приятной и полноценной: на него ты сможешь содержать жену.

— У меня, Олаф, никогда не было такого бескорыстного доброжелателя, как ты, — обрадовано произнёс Гришка. — Ведь тебе от твоего старания нет никакой выгоды, и тебя мне отблагодарить нечем.

— Считай, что и среди лютеран встречаются великодушные люди, — лукаво усмехнулся Баркгузен. — Просто я сочувствую твоим несчастьям и вижу в тебе горемыку, коего судьба разом одарила большими способностями и не меньшими бедами.

От нежданного сочувствия Гришка невольно расчувствовался, у него на ресницах вспыхнули искорки слёз, а к горлу подкатил жёсткий комок, который он с трудом сумел проглотить.

— Спасибо тебе, Олаф, за добрые слова! Я их почти никогда не слышал, даже в детстве. Хотя я помню свою матерь, и у меня жив отец, я вырос как сирота, без доброго поучения и ласки. Оттого, наверно, все мои несчастья, да ещё от пестроты нрава, как говорил дьяк Алмаз Иванов.

— С новым жалованием у тебя есть возможность зажить по-новому, — сказал Баркгузен. — От Анастазиуса тебе надо съезжать. Там тебе оставаться опасно.

— Это почему? — насторожился Гришка. — В чём ты усмотрел для меня опасность?

— Сейчас для тебя очень важно получить о себе мнение как о добропорядочном человеке, — осторожно сказал Баркгузен. — Мы, шведы, очень щепетильны в отношениях с другими людьми и руководствуемся сложившимися в обществе мнениями…

— Нельзя ли всё объяснить проще и покороче, — перебил его Гришка, который боялся опоздать к утреннему винопитию русских купцов.

— Что ж, можно и проще, — смущённо сказал Олаф, который уже раскаивался в том, что начал этот разговор. — Опасность в тех дамах, которые находятся близ тебя в доме Анастазиуса. Всему Стокгольму известно, что Даниил живёт шумно, Мария

уже несколько раз от него уходила, но возвращалась, там же живёт её сестра, падчерица, которой пора выходить замуж. Анастазиусов обсуждают во всех домах южного предместья, а значит, обсуждают и тебя, потому что ты живёшь у них. Скажу даже, что наши кумушки начинают находить в тебе причину разлада в этой семье.

— Этого мне только не хватало! — воскликнул в сердцах Котошихин. — Ты прав, Олаф, мне надо от Анастазиуса бежать. Вот получу сегодня от русских купцов деньги и съеду в портовую гостиницу. А ты, Олаф, приглядывай мне жилище поспокойнее. На триста риксдалеров я заживу барином.

— Я очень хотел бы, чтобы ты продолжил своё описание Московии, — сказал Баркгузен.

— А что эта книга тебе разонравилась? — ревниво осведомился Гришка.

— Она великолепна! — воскликнул Баркгузен. — Но у тебя будет возможность её сделать ещё лучше, то есть расширить её новыми главами. Скоро я тебя сведу с учёными людьми из университета в Упсале, они обязательно заинтересуются твоей книгой, и через них она может стать известной всей Европе.

— Я не против своей славы, — усмехнулся Котошихин. — Но сейчас мне надо сшибить несколько риксдалеров у купцов. Загляни, Олаф, ко мне завтра, и мы обо всем потолкуем.

И Котошихин устремился по улице к гостинице, где остановились русские купцы. О том, что они продрали глаза, а некоторые уже приняли на грудь по доброй чарке водке, Гришка узнал по громким голосам, которые слышались из комнаты, где они находились. Он широко распахнул дверь и увидел всех за столом. Овчинников, сплюнул на пол рыбную кость и распростёр объятия:

— Ты, Григорий Карпович, угодил как раз к столу!

— А это ещё что за невидаль? — сказал, обжигая пришельца красными с перепоя глазками, важный с виду купчина.

— Это, Елистрат Фадеевич, бывший подьячий Посольского приказа Котошихин, который нынче состоит в королевских переводчиках.

— Так он что, русский? — сказал купец.

— Русее быть не может! — объявил Овчинников. — Судьба только вот заманила его в Стекольню, то бишь Стокгольм.

— Стало быть, ты предатель? — медленно выговорил Елистрат Фадеевич. — Иуда, значит! Мне, Кузьма, такой толмач не нужен. У меня переговоры на пять тысяч рублей, а этот переметчик-переводчик стакнется со шведами и обнесёт меня на тыщу рублей или поболее. А где вчерашний толмач Данилка?

— С похмелья мается, где же ещё? — сказал Овчинников.

— Как же быть? — забеспокоился купец. — Может, ты, Кузьма, потолмачишь?

— Уволь от такой чести, Елистрат Фадеевич, — отказался Овчинников. — Неровен час, совершу ошибку в переводе, ты же меня со света сживёшь. Жди Данилку, когда-то и он просохнет.

Дверь в комнате была неплотной, и возле неё в коридоре стоял Анастазиус и всё, что о нём говорилось, слышал.

— А я и не промокал, Кузьма Афанасьевич, — обиженно произнёс он, переступая порог. — У меня наоборот всё нутро ссохлось. И от полной чарки рейнского я бы не отказался.

— Испей, Данилка, — сказал Елистрат Фадеевич. — Да поторапливайся, успей губы промокнуть, а то, я слышу, ко мне торговые люди уже подходят.

В коридоре слышались несколько голосов, по-шведски спрашивающих о русских купцах. Анастазиус утёр губы ладошкой и, высунувшись в коридор, позвал торговых людей в комнату. Гостей было двое, они чинно поздоровались и выжидательно поглядели на Елистрата Фадеевича. Купец догадливо ухмыльнулся и обратился к своим спутникам:

— Извольте, дружье, побыть снаружи, пока я с гостями перетолкую. И прихватите с собой предателя, глаза бы мои на него не глядели!

Гришку слова именитого купца обожгли насквозь, он уже забыл, живя среди шведов, кем он является для своих соотечественников. Он жалко скривился и обиженно глянул на Овчинникова:

— Зачем ты, Кузьма Афанасьевич, объявил мое имя перед купцами? Теперь мне надо уходить, никто меня себе толмачом не возьмёт.

— Промашка, Григорий, вышла. У меня после вчерашнего попоища в голове петухи горланят.

— Я надеялся заработать несколько денег, — укоризненно сказал Котошихин. — Я тут совсем прожился.

— Не беда, Григорий, — обрадовался купец. — Я тебе помогу, дам риксдалеров десять, но я торговый человек, посему даю только в долг.

— Мне без разницы, — сказал Гришка. — Канцлер де ла Гарди сегодня повысил мне жалование до трёхсот риксдалеров в год. Беру у тебя двадцать монет.

— За что же тебе канцлер жалование повысил? — недоверчиво сказал Овчинников, но кошель с пояса снял.

— Я написал важную для королевского величества книгу, — надменно произнёс Котошихин. — Сыпь риксдалеры.

Переговоры торговых шведов с русским купцом длились долго. Остальные купцы и Овчинников ушли по своим делам, а Гришка мыкался возле гостиницы, как телок на привязи. Только соберётся отойти от неё совсем, сделает с десяток шагов и опять возвращается и ждёт Анастазиуса, а зачем — и сам того не ведает.

Даниил вышел из гостиницы изрядно навеселе, отягощённый десятком риксдалеров и песцовой шкурой, которую держал на плечах, как воротник.

— Гришка, друг! — воскликнул он, сходя на подламывающих ногах с гостиничного крыльца. — Я при деньгах, но в них ли счастье?

— Пойдём домой, Данила, — сказал Котошихин, придерживая Анастазиуса за руку. — Тебе надо отоспаться, чтобы советник Хольм на тебя не прогневался.

— Что Хольм? — закуражился Анастазиус. — Я в Коллегии иностранных дел лучший переводчик с русского, твой приятель Баркгузен мне в подмётки не годится, ведь так?

— Всё так, Данила, — сказал Котошихин. — Однако пойдём к Марии. Она, кажется, сегодня собралась выставить на стол копчёного гуся.

Напомнив Анастазиусу про его женку, Гришка задел самые жалобные и плаксивые струны в душе переводчика. Даниил скорбно посмотрел на Котошихина и проникновенно вымолвил:

— Для меня, Гришка, Мария дороже жизни. Я её обижаю своей гульбой, поэтому ей сегодня сделаю подарок. Ступай за мной!

— Куда? — не отстал от него Котошихин. — Сделаешь подарок на трезвую голову.

— Я давно ей обещал купить золотое кольцо! — заявил Анастазиус. — И даже присмотрел в этой лавке.

— Господа ошиблись дверью! — загородил дорогу Анастазиусу приказчик. — Питейное заведение в следующем доме.

— Вот и сбегай туда за вином! — отодвинул его в сторону Анастазиус. — А я пока приценюсь к золотому кольцу.

Позвякивание монет в замшевом кошеле убедило приказчика, что к нему явились серьёзные покупатели. Он мигом выдвинул ящик, где на чёрном бархате лежали драгоценности, и допустил к нему Анастазиуса, который, не колеблясь, указал на золотое кольцо с сапфиром.

— Подбери для подарка достойную коробочку!

— Извольте подождать! — раболепно воскликнул приказчик, исчез за ширмой и через мгновение появился вновь с вычурной кожаной коробочкой, в которую с великим бережением уложил покупку, ловко отстранил Гришку от Анастазиуса и, поддерживая его за локоть, вывел его из лавки на мостовую.

Совершив покупку, Анастазиус заметно протрезвел и выглядел вполне уверенно. Он уже не походил на расслабленного нытика, каким был совсем недавно. Гришка искоса на него поглядывал и усмехался, он живо помнил, с кем делил ночью постель, и чувствовал не угрызения совести, а сытость обожравшегося соседской сметаной кота. Конечно, Мария не шла ни в какое сравнение с Сельмой, но по Гришкиному разумению, чужая женка — всегда лакомство, от которого невозможно отказаться, как от найденного на дороге полного штофа с вином.

Эти шальные мысли так развеселили Гришку, что он чуть было не начал приплясывать, но вдруг его будто кто-то толкнул в грудь. Он глянул перед собой и почувствовал, что его душа вот-вот сорвётся вниз: в десяти саженях от него стоял весь в чёрном православный монах и пристально глядел на Котошихина. «Это моя смерть!» — мелькнуло в голове беглого подьячего, и он юркнул за спину Анастазиуса.

— Ты кого так напугался? — сказал Даниил. — Монаха?

— Его, — пролепетал Котошихин побелевшими губами. — Откуда он здесь взялся?

— Наверно, явился в Стокгольм в свите русского посланника Ивана Леонтьева. Но ты зря испугался: я переводил перечень русских претензий шведской короне, и ты в них не упомянут. А монах, видать, заблудился, да и нас испугался, его уже и след простыл.

Однако слова Анастазиуса не успокоили Котошихина, его душа, хотя и вернулась на своё, отведенное ей Господом место, но продолжала вздрагивать, предчувствуя новые и скорые напасти. Гришка не сомневался, что явление монаха не было делом случая, но спрятаться от грядущей беды ему было некуда, кроме как в доме Анастазиуса, который потянул Котошихина в лавку, где купил несколько посудин с водкой и рейнским вином.

— Я виноват перед Марией тем, что гуляю без неё, — бормотал Анастазиус. — На это она и обижается. Сегодня будет её праздник.

На выходе из лавки Гришка опять испытал потрясение: ему снова привиделся монах возле калитки во двор Анастазиуса. Он потряс головой, сознание очистилось, у калитки стояла Мария и презрительно оглядывала приближающегося супруга. Не дожидаясь, пока он к ней кинется на шею, Мария ушла в дом, а Даниил со вздохом произнёс:

— Захотел угодить ей подарком, да не пришлось. Что делать, Григорий?

— Неси золотое кольцо на вытянутой вперёд руке, чтобы она раньше его увидела, а уж потом твою хмельную рожу.

Выставив вперед себя кольцо, Анастазиус скрылся в дверях дома. Гришка не поспешил за ним следом, и скоро до него донеслось сладкое чмоканье, затем послышался весёлый смех и несколько радостных голосов: Валентина, Линда и Мария принялись разглядывать и нахваливать подарок Даниила, который на них самодовольно поглядывал и раздувал щеки.

Гришка, оставив вино в прихожей, протиснулся мимо радостных домочадцев в свою комнату, разулся, разделся и лёг на постель. Встреченный им монах не выходил у него из головы, как и то, что в Стокгольме появился посланник Леонтьев. Ещё не радость то, что он не потребовал у шведских властей Гришкиной выдачи. Может, монах бродил по южному предместью Стокгольма за тем, чтобы найти дом, где обитает Котошихин и наслать на него злодея, которому лишить человека жизни плевое дело. «Ясно, что не к добру привиделся мне нынче черноризец, — размышлял Котошихин. — Надо сидеть дома и выходить из него только по крайней нужде».

Гришка верно ощутил приближавщуюся беду, но она шла не с улицы, а была рядом, за двумя комнатными перегородками,

где в своей спальне, кусая до крови губы, ходила из угла в угол падчерица Валентина. Она чувствовала великую обиду на всех, но больше всего на мачеху, только что получившую на её глазах в подарок золотое кольцо, о котором она мечтала сама. Злость вспыхнула в девице не случайно, она копила её давно, с тех пор как после конфирмации и первого причастия поняла, что в семье Анастазиуса, имевшего от брака с Марией родных детей, ей уготована судьба безмужней девицы на всю свою жизнь, и тут случай дал ей в руки орудие мщения.

Валентина появилась утром перед окном комнаты Котошихина вовсе не случайно, она ещё раз захотела взглянуть на место преступления своей мачехи, чему она стала обрадованным свидетелем, когда, заслышав тяжёлые шаги в коридоре, выглянула в дверь и, убедившись, что Мария зашла к Котошихину, накинула на плечи шаль и выскользнула из дома, и подобралась к окну квартиранта, осторожно заглянула в него и увидела в освещённой лунным светом комнате то, что было ей уже давно ведомо из подглядываний за родителями.

Всю ночь впечатлительную девицу терзали бредовые сновидения, в которых к ней явился Котошихин и не давал ей покоя до самого утра своими руками, губами и чем-то ещё, отчего Валентина испытала величайшую сладость. Проснувшись, она долго лежала, прислушиваясь к себе, затем встала с кровати и, одевшись, побывала рядом с окном квартиранта, а после зашла на кухню, села на стул и долго смотрела на Марию, которая от ночных радостей была весела, и даже не упрекнула Валентину, что та сидит без дела и смотрит на неё полубезумным взглядом.

Ближе к вечеру в доме вкусно запахло: копчёный гусь был готов и так проникновенно возглашал о своём присутствии, что это стало ведомо крепко почившему после прихода домой Анастазиусу. Он завозился, собирая ногами одеяло, на своей постели, простёр руку и взял бокал с яблочным соком, ополоснул им своё пересохшее нутро и стал одеваться к выходу. Гусь требовал, чтобы к нему относились почтительно, и Анастазиус облачился в тонкие шёлковые штаны, рубаху с кружевным воротником и куртку из красного сукна, расшитую на груди и рукавах серебряными нитями. Он одобрил свой вид, глядя в зеркало, а вихор, торчавший над макушкой, стал пришлёпывать смоченной яблочным соком ладонью, когда позади него возникла дочь, Анастазиус резко обернулся и нахмурился:

— Ты почему, Валентина, явилась в мужскую комнату без стука?

— Беда является без предупреждения, — девица разглядывала отца без всякого стеснения.

— Что-то я тебя, барышня, не пойму, — строго произнёс Анастазиус. — Прекрати говорить загадками!

— Какие уж тут загадки, — повела плечом Валентина. — У меня одни разгадки. Спроси свою жену, на чьей кровати она провела ночь.

Анастазиуса от этого известия крепко покачнуло, но он устоял на ногах и жалобно, сквозь слёзы, промолвил:

— Где она была? Ты её видела?

— Так же хорошо разглядела, как золотое кольцо, которое ты ей подарил. На кровати у русского.

— Значит, Гришка?

— А кто же ещё? — взялась за ручку двери Валентина. — Ты его сам и привёл сюда на свою голову. Поторопись, чтобы он без тебя копчёного гуся не сожрал.

Анастазиус кинулся за ней следом, но на пороге столкнулся с Марией, и от неожиданности оторопел, стоял, выпучив глаза, и бессмысленно взмыкивал.

— Тебе плохо? — обеспокоенно сказала она и, подхватив обмякшего супруга, возложила его на постель. — Что стряслось Даниил? На тебе лица нет. Это всё от пьянки!

Последние слова озлили Анастазиуса, и он восстал из полупокойников:

— Это со мной не от винопития, а от твоих шашней с Гришкой! — выпалил, сжав кулаки, Анастазиус. — Ты вчера всю ночь кувыркалась с ним на его постели!

— И кто снабдил тебя такими сведениями? — не дрогнув, сказала супруга. — Можешь не отвечать — это Валентина. Она сейчас была у тебя и оболгала меня самым постыдным образом.

Неожиданно Мария разразилась столь громким и обильным плачем, что Анастазиус опешил, а потом запаниковал: он не мог переносить вида чужих слёз, и захлопотал вокруг супруги, поглаживая её по мягкостям, шепча нежные слова и покрывая поцелуями всё, к чему только смог дотянуться губами. Мария перестала реветь белугой и начала поскуливать и тесниться к Даниилу своей преобширной грудью, в которую он, в конце концов, и зарылся лицом и сладко запостанывал.

У супругов не было желания отлипать друг от друга, но их требовал к себе копчёный гусь, о чём им напомнила, постучав в двери, Линда. Анастазиус растёр ладонями помятое в мягкостях супруги лицо, Мария смахнула с ресниц влагу, и они, улыбаясь, проследовали к столу, где изнывал от сухости во рту Котошихин. Анастазиус по-хозяйски разделил гуся, Мария разлила по чаркам вино, супруги, влюблённо всматриваясь друг в друга, выпили и принялись за гуся, Гришка ждал приглашения угоститься, но его не последовало, и он злился, забыв, что у шведов не принято надоедать гостям за столом, где каждый ест и пьёт в свою меру.

Он нехорошо глянул на Анастазиуса, взял самую большую чарку, наполнил её всклень крепким вином. Опорожнил одним духом и потянулся к гусю.

— Надо отложить гуся мальчикам! — спохватилась Мария и завладела блюдом.

От закуски на столе остался вчерашний яблочный пирог, Гришка оторвал от него кусок, и утишил им пылавшую в горле винную горечь. Он уже не просто злился, но был близок к тому, чтобы вспыхнуть яростью. Масла в огонь подлила Валентина, которую скорое примирение супругов возмутило своей поспешностью: она взяла ещё нетронутый ею кусок гусятины и положила перед московитом.

— Угощайтесь, господин Котошихин,— ласково пропела девица.— Вы здесь уже свой человек и почти родственник.

Эти слова развеселили Гришку, он налил вина хозяину и себе и поднял чарку.

— Ты, Данила, точно мне стал братом. Ты мне крепко помогаешь обосноваться в чужой для меня стране. Я тебе многим должен, за всё и не рассчитаться, в моём уважении к тебе ты можешь не сомневаться.

Анастазиус и Мария благожелательно слушали Котошихина, и вдруг эту благостность разрушил неистовый издевательский хохот Валентины. Она прямо-таки забилась в корчах, и едва совладав с собой, прохрипела:

— Он тебе, отец, ближе, чем брат, ближе!..

Лицо Марии исказила ненависть, она схватила падчерицу за волосы и, награждая оплеухами, поволокла в коридор, где стала её пинать и топтать. Девица визжала, но оставшиеся в столовой её не слышали. Котошихин и Анастазиус стояли, набычившись, друг против друга, и хозяин в руке стискивал нож, которым он разделывал копчёного гуся.

Линда оцепенело вглядывалась в готовых совершить убийство соперников и едва слышно вскрикивала:

— Не надо! Не надо!

Ни Гришка, ни Даниил не отличались храбростью, но их разум затмили отчаянье и ненависть, и они медленно сходились, Анастазиус, выставив нож, а Гришка, поскрипывая зубами. Линда вскочила со стула и кинулась между ними, но опоздала: Гришка вырвал нож из руки Анастазиуса, замахнулся и не мог остановить руку — нож ударился в серебряную брошь на груди женщины, и, соскользнув с неё, глубоко погрузился в тело.

Гришка удержал нож в руке, и оторопело глядел, как с лезвия сочатся и падают, разбиваясь на мельчайшие брызги, крупные капли крови. Белый как снег Анастазиус пятился к двери и Гришка бросился за ним следом, шибанув плечом Марию так, что она отлетела к стене коридора. Анастазиус решил искать спасение в супружеской спальне, закрыв за собой дверь на защелку, он кинулся к сундуку с постельным бельём, лёг в него и стал закрывать над собой крышку, когда под крепкими ударами Котошихина дверь распахнулась, и он вбежал в спальню и сразу кинулся к сундуку, где Анастазиус пытался совладать с крышкой. Гришка вырвал её из судорожно скрюченных пальцев хозяина, раскрыл настежь и, рыча, стал бить Анастазиуса ножом, пока не промахнулся и так ударил рукой по краю сундука, что нож отлетел в сторону и загремел под кроватью.

Хрипло дыша, Котошихин опустился на пол, пошарил рукой, поднял её к лицу, она была обильно смочена кровью. Из сундука доносилось повизгивание, которое издавал смертельно раненый Анастазиус. Ощущая в голове дребезжание, Гришка поднялся на ноги, заглянул в сундук и с содроганием узрел в нём кровавое месиво, время от времени испускавшее розовые пузыри. Шатаясь, Котошихин вышел в коридор и увидел, как на него идёт огромный швед со шпагой в руке. Гришка упал на колени и протянул к нему окровавленные руки. Швед вложил шпагу в ножны, схватил его за шиворот и выволок через сени и крыльцо к раскрытым воротам, где толкнул к другому шведу, ловко спеленавшему Котошихина крепкой верёвкой. Это были ночные стражники, совершавшие свой первый объезд южного предместья столицы и поспешившие на зов о помощи, раздавшийся из дома Анастазиуса. Они привязали верёвку к седлу, и Котошихина повлекли по вечерним улицам Стокгольма к тюремному замку.

7

Тюремный служитель втолкнул Котошихина в камеру, заскрежетали ржавые пружины дверного замка, и Гришка оказался в непроницаемой и вязкой темноте, которая навалилась не только на сотрясаемое ознобом тело, но и на его едва живую душу. Он долго стоял, вглядываясь, вслушиваясь и внюхиваясь в темноту, и вдруг до него донеслось лёгкое едва слышимое поскрёбывание, затем попискивание. Гришке показалось, что он погрузился в забытье, но сделанный им щипок в ухо убедил его в обратном. Попискивание и поскребывание приближалось, оно было уже рядом, и Котошихина объял ужас. Он сделал несколько шагов вперёд и свалился на лавку, где нащупал какие-то ремки, замотался в них с головой и не открывал глаз до тех пор, пока его не толкнул в бок тюремный служитель.

— Кушать подано! — возгласил он, указывая на стол. — Как изволили почивать, господин переводчик, после того, как искровянили до смерти почтенного отца семейства Даниила Анастазиуса?

— Значит, он мёртв? — дрожащим голосом пробормотал Котошихин. — Скажите, господин, что теперь со мной будет?

— Пока ничего, — служитель поставил перед ним миску с овсянкой. — Впрочем, спроси господина советника, к которому я тебя провожу, когда ты съешь свою кашу.

Гришка принялся ковырять овсянку, а тюремщик тем временем познакомил его с предметом, без которого жизнь в камере была бы затруднена — деревянной бадьёй с крышкой, служившей узнику переносным отхожим местом.

— Будешь его мыть и скоблить, когда выйдешь на прогулку, — сказал тюремщик. — Во дворе замка есть чан с водой, возле которого всё это делается.

Гришка слушал его наставления в пол-уха, он всю ночь провёл в обморочном состоянии и сейчас приводил свои мысли в порядок, стараясь вспомнить, что он натворил в доме Анастазиуса. В воспалённом воображении, как в пламени костра, минувший вечер отражался кровавыми всполохами видений, как он ударил ножом Линду и увидел на лезвии ножа первую алую вспышку крови, потом со дна распахнутого сундука

всплыл окровавленный Анастазиус и Котошихин, свалив на пол оловянную миску, упал лицом на стол и безутешно разрыдался.

Тюремщик, покряхтывая, нагнулся за миской и больно треснул ею узника по затылку.

— Все вы на один лад! — ворчливо произнёс он и, схватив Гришку за волосы, ударил его лицом о стол. — Хочешь свою чёрную душу слезами отмыть добела? Вставай, и пойдём к господину советнику.

В добропорядочном Стокгольме уголовные преступления случались нечасто, большинство камер были пусты и стояли с открытыми дверями. Служитель довёл Котошихина до следственной половины тюремного замка, и передал его в руки чиновника, который завёл Гришку в обширный кабинет, где восседал за огромным столом королевский следователь по уголовным делам.

Советник юстиции Роге всем своим видом излучал добродушие и приветливость, когда расспрашивал Котошихина, откуда тот родом, как попал на шведскую службу, давно ли проживает в Стокгольме. Гришка обрадовался, что следователь оказался таким участливым человеком, и стал надеяться на сочувствие, но советник Роге указал на медного болвана, изображавшего весёлого мужика в шляпе с пучком розг в руке, который стоял перед ним на столе, и строго вымолвил:

— Это медный Матте. Сей господин своим присутствием напоминает, что ни одно преступление в королевстве не останется безнаказанным.

— Что же со мной будет, господин советник? — в Гришке проснулся животный страх: он упал на колени и бухнулся лбом в пол.

Советник живости Котошихина крепко удивился и, привстав со стула, велел ему подняться на ноги.

— Я запрещаю тебе под страхом наказания розгами, — сказал господин Роге, — своими подлыми московитскими ужимками мешать отправлению шведского правосудия!

И в знак того, что он настроен решительно, следователь положил руку на медного Матте.

Гришка поднялся с пола и, наполнив свой голос искренними слезами раскаянья, промолвил:

— Какой кары мне следует ждать за моё нечаянное злодейство?

— Разве оно было нечаянным? — удивлённо сказал советник. — Домочадцы Анастазиуса в один голос твердят, что ты уже не раз грозил потерпевшему. Ты совершил преступление умышленно, и это отягощает твою вину. Теперь ты должен молить своего московитского бога, чтобы Анастазиус выжил. Если он умрёт, то ты будешь казнён.

— Стало быть, он может и выздороветь, — почти обрадовано произнёс Гришка. — Я не хотел, господин советник, причинить ему зла, но так уж вышло.

— Мой стол не место для раскаянья, — сказал господин Роге. — Тебе нужен священник и, на твоё счастье, он в Стокгольме есть. Вчера меня посетил русский посланник Леонтьев в сопровождении монаха. Москва требует твоей выдачи на свою расправу. У тебя есть желание отправиться к царю?

— На Москве меня ждёт неизбежная казнь, — побледнел Котошихин. — И я верю в шведское правосудие.

— Твоё преступление избавило тебя от возможной выдачи царю, — сказал советник. — Ты совершил его на шведской земле и будешь судим здесь по законам королевства. Но с тобой желает встретиться монах, и я не могу ему запретить этого. Всё зависит от твоего решения.

— Не хочу видеть ни чёрных, ни белых, ни пёстрых монахов! — охваченный невесть откуда свалившимся на него ужасом взвизгнул Гришка. — Заприте меня, господин советник, покрепче и держите там до суда.

— Ты поступаешь умно, — одобрительно сказал Роге. — Отдавшись шведскому правосудию, ты можешь быть уверен в его справедливости и беспристрастности. Возможно, тебя казнят, если Анастазиус умрёт, но ты находишься не в московском застенке, а в королевском тюремном замке, и здесь до тебя никто не коснётся даже мизинцем.

Вернувшись в камеру, Котошихин оглядел её взглядом человека, который избавился от большей беды, чем та, что осталась нависать над его головой. За каменным порогом он ступил на полосу яркого солнечного света, который падал из окна на пол и кирпичную стену, возле которой стояла лавка. Гришка сел на неё, сгрёб в кучу ремки и опрокинулся на них вверх лицом, испустив в тяжкий и продолжительный вздох.

— Хватит стонать, — сказал служитель. — Тебе сейчас в самый раз просить Бога, чтобы он тебя не забыл. Видишь дыру в потолке?

— Вижу, а что?

— Ты не первый в этой камере, чью душу надеется перехватить чёрт, когда она начнёт освобождаться от тела.

— Ты хочешь сказать, что в дыре схоронился чёрт?

— Он там, — с торжественной убеждённостью в голосе вымолвил тюремный служитель. — И многие бывшие здесь до тебя сидельцы его видели. И сразу начинали просить, чтобы к ним пришёл пастор.

— Мне он не нужен, — мрачно произнёс Гришка. — Я был православным и другой веры не знаю.

— Тогда ожидай своей участи, — сказал служитель. — Вот скончается бедный Анастазиус, тогда спохватишься, как спасти свою душу.

В Стокгольме стояло бабье лето, через щелку в окне в камеру проникали запахи опадающей листвы; стояли тихие солнечные дни, и один раз до Гришки донеслись едва различимое щемящее душу курлыканье пролётных журавлей. Он вскочил с лавки, на которой целыми днями пролёживал до онемения бока, и, схватив стул, подставил его к окну, взобрался на самый верх деревянной спинки, подтянулся, уцепившись за железную решётку руками, к запылённому стеклу, но не увидел небо, ему лишь открылась верхушка осины, на которой подрагивали несколько красных листьев. Этот цвет смутил Гришку напоминанием о том, что случилось с ним несколько дней назад, и он стал ходить из угла в угол, чтобы утомить себя и забыться недолгим сном, а, проснувшись, тупо смотреть в кирпичную стену, считая на ней ряды кирпичей, пока не наступит вечер и не раздастся крысиное попискивание и шуршание лапок по каменному полу. К присутствию тварей Гришка притерпелся, они кружили свои хороводы в темноте, а он, замотавшись с головой в ремки, погружался в сонный бред, который уводил его сознание в сторону от того, что с ним произошло и что неизбежно случится. Беспамятство помогало Гришке коротать время, он выходил из него, чтобы освободить миску от тюремной еды и вынести бадью во двор, и снова навлекал на себя бесчувственное тупосердие, однако от беды не схоронишься,

и как-то средь белого дня тюремный служитель выпростал Гришку из ремков и совлёк с лавки ногами на пол.

— Извольте, господин Баркгузен, лицезреть своего приятеля, — сказал тюремщик. — Я буду рядом, а то, как бы московитом после вашей новости не овладела злоба.

Баркгузен дождался, пока служитель не вышел из камеры, и взглянул на Котошихина, который, пожалуй, за две недели ничуть не изменился, и лишь слегка опух от спанья и безделья.

— До сего дня меня к тебе не пускали, — сказал Олаф, жалостливо разглядывая Гришку, который к встрече с приятелем отнёсся без волнения, сел на лавку и смотрел мимо гостя в кирпичную стену. — Я пришёл тебе сказать, что Анастазиус до следующего утра не доживёт.

— Откуда ты знаешь? — встрепенулся Гришка. — Ты ведь не лекарь.

— Я разговаривал с господином Рудберком, когда тот осмотрел Даниила. Доктор сказал, что его часы сочтены.

— Стало быть, меня неизбежно казнят! — Котошихин соскочил с лавки и забегал по камере, размахивая руками. — Что делать, Олаф, как спастись? Куда же глядит царский посланник Леонтьев, почему он позабыл требовать моей выдачи великому государю. На Москве я бы точно спасся, она продажна, а тут собрались на мою голову праведные тюремщики и палачи! Что медлит Леонтьев?..

— Никто тебя ему не выдаст, Григорий, — как можно мягче произнёс Баркгузен. Единственное, что я могу для тебя сделать, это помочь подготовиться к неизбежному.

Котошихин поднял на Олафа наслезенный взгляд и покачал головой:

— Спасибо, Олаф. Но тому, кто уже мёртв, не поможешь, — Гришка задумался. — Я уже не страшусь смерти, но что со мной будет после неё?

— Как что? — удивился Баркгузен. — Похоронят на краю кладбища для некрещёных младенцев, где была могила Декартуса. Не такое уж плохое место. А я сорок дней буду поминать тебя в своих ежедневных молитвах.

— Благодарю, добрый Олаф, — вздохнул Котошихин. — Но я свою душу так погубил предательством, что ей уже не спастись. Только Бог ведает, какие муки ей предстоит вынести.

Но мне определено мучаться после смерти не только душой, но и телом!

— Что ты имеешь в виду? — удивился Баркгузен. — Казнь отсечением головы почитается за самую лёгкую смерть, потому она и существует в нашем королевстве.

— Так судит тот, кому она не грозила, — Гришка поднял на Олафа взгляд, в котором подрагивали невыплаканные слёзы. — Против неё я не спорю, мою душу подхватит чёрт, и тут я тоже ничего не смогу поделать, но за что будут терзать после смерти моё тело? Во что я облачусь в грядущее Воскресение, которое не обойдёт даже такого, как я?

— Я же сказал, что тебя похоронят на том кладбище, где находилось тело Декартуса.

— Ты, Олаф, хотя и швед, а порядков в королевстве не знаешь, — обречённо промолвил Котошихин. — С моим телом сделают то, что разрешает закон об останках преступников. Ты о нём хоть слышал?

— Нет, я же переводчик, — пожал плечами Баркгузен.

— А меня о нём просветил несколько лет назад Кузьма Афанасьевич Овчинников, — сказал Котошихин. — Теперь слушай, что с моим телом проделают, когда моя голова упадёт в корзину. Зеваки отвернутся и пойдут по своим делам, останутся двое служителей, которые подождут, пока из меня сойдёт кровь, и погрузят тело и голову на телегу, и доставят их в Упсалу на медицинскую часть университета. Мои останки занесут в большую каменную избу, где один служитель начнёт разжигать большой очаг и наливать в котёл воду, а дугой — станет ножом расчленять моё тело, отделяя от него части по сочленениям: руки, ноги, опустошённое от кишок и внутренних органов тулово — всё это служители побросают в кипящий котел, последней кинут туда голову, и они будут вариться до утра, пока мясо не отойдёт от костей…

— Хватит, Григорий! Мне нехорошо, — замахал руками Баркгузен. — Может, всего этого не случится.

— Нет, ты уж дотерпи, — сорвавшимся до шёпота голосом произнёс Котошихин. — Узнай до конца, что будет со мной… Кости мои вынут из варева, вымоют, высушат и соберут проволочными кольцами в скелет, по которому студенты Упсальского университета станут изучать устройство человека

на протяжении нескольких десятков лет, пока кости не начнут ветшать и распадаться на костную пыль.

— Советник Роге позволил мне принести для тебя подарок, — к месту вспомнил Баркгузен, водружая на стол корзину, из которой высовывалось горлышко бутылки, а от свёртков исходили самые заманчивые запахи. Олаф, чтобы отвлечь Гришку от дурных мыслей, засуетился, выкладывая припасы, и скоро наполнил принесённые с собой чарки.

— Выпей, Григорий… И не горюй: ещё неизвестно, что ждёт каждого из нас в будущей жизни. Я недавно обрёл слова апостола Павла: «Весь человек есть ложь». Стало быть, люди все равны во лжи, и отличает их друг от друга лишь то, что они успели сделать при жизни. Конечно, это добрые дела, и за тобой есть книга о Московии. Люди тебя не забудут до тех пор, пока будет стоять Москва.

— Какая это, Олаф, малость перед тем, через что мне суждено пройти уже в ближайшие дни, — опрокинув одну за другой, две чарки, сказал Котошихин. — К моему несчастью, я не дурак, чтобы утешиться книгой. А вот за вино хвалю, в нём, брат, поболе истины заключено, чем во всех святых писаниях. Жаль, что мне не дадут умереть хмельным, или поднесут чарку?

— Этого я не знаю, — с сожалением вымолвил Баркгузен. — А ты на меня не поглядывай, пей и ешь, а я всё своё время высидел, меня ждёт советник Хольм с переводом ответов русского посланника на королевские претензии к московитам.

Баркгузен не обманул Котошихина: ночью Даниил Анастазиус от многочисленных ран, нанесённых ему обласканным королем, но взбесившимся московитом, тихо скончался. Утром об этом стало известно Королевскому судье, который на следующий день назначил заседание уголовной палаты по обвинению в убийстве шведского гражданина Анастазиуса неким Котошихиным. Суд был недолгим, а приговор справедливым: казнить преступника отсечением головы в обычном для этого месте, близ кладбища для некрещёных младенцев на южной окраине Стокгольма.

Приговор Котошихин встретил спокойно, тюремщики не усилили строгость содержания узника, и на другой день допустили к нему Баркгузена, который явился к Гришке не только с корзиной, полной выпивки и закуски, но и в сопровождении тихого белокурого господина в чёрной одежде, на которой ясно

выделялся белый воротничок, известивший о том, что незваный гость является пастором лютеранской церкви.

— Я рад, Олаф, что ты не забыл прийти на нашу с тобой последнюю встречу, — криво усмехнулся Котошихин. — После приговора я вдруг ощутил, что стал находиться в новом для себя положении.

— Как ты это понял? — спросил Баркгузен.

— Когда я споткнулся на пороге судейской комнаты, то советник Роге успел поддержать меня под руку, как титулованную особу, и отряхнул измазанный мелом рукав моей куртки. Вот и ты оказываешь мне ещё непонятную честь: привёл лютеранского попа.

— Прошлый раз, Григорий, ты горевал о своей посмертной участи, вот я и подумал о священнике. Впрочем, если ты против, он уйдёт.

Котошихин изучающее оглядел пастора: тот гляделся невидно, и своей статью был не сравним с соборным протопопом, у которого Гришка был последний раз на исповеди, этак лет пять-шесть назад. При белизне волос и лица пастор имел красные глаза, был безбород и безус, стоял, опустив очи долу, и в сомкнутых перед собой руках держал потёртый молитвенник.

— Пусть остаётся, — тихо вымолвил Котошихин. — Ты, Олаф, угадал моё желание перейти из православия в лютеранство, если сие возможно и незатруднительно.

— Наша религия своей простотой не идёт ни в какое сравнение с православием, и её обряды у всех на виду и доступны каждому, — мягко возгласил пастор. — Но мне важно знать, имеет ли новообращённый достаточно твёрдой решимости исповедовать веру во Христа по лютеранскому обряду?

Приход Баркгузена и пастора был для Котошихина весьма кстати, ибо отвлёк его от страшного смысла только что прозвучавшего приговора Королевского суда, коим он был по сути дела объявлен мёртвым человеком, и теперь от настоящей смерти Гришку отделяли всего несколько формальностей, самой зловещей и заключительной из которых должна была стать казнь. Поэтому он проявил к пастору повышенное внимание, и Баркгузен это заметил и стал отступать к двери, чтобы избежать долгого и слёзного прощания. Котошихин услышал шорох и, не оборачиваясь, сказал:

— Ты уходишь?.. Тогда прощай, Олаф! Скоро ты мне станешь по-настоящему братом в лютеранстве.

— Прощай, Григорий! — с болью в голосе произнёс искренне полюбивший московита Баркгузен.

Некоторое время Котошихин и пастор поглядывали друг на друга, не решаясь приступить к столь важному и сокровенному разговору. Гришка оказался менее сдержанным, он находился в состоянии глубокой нервной встряски и решил не стесняться священника: вынул из корзины выпивку, закуску и наполнил чарки рейнским вином.

Пастор покосился на пододвинутую к нему чарку и, сдержанно кашлянув, тихо произнёс:

— Согласитесь, господин Котошихин, что вино здесь излишне и может помешать решению, которое вы намереваетесь принять.

— Русскому человеку чарка никогда не повредит, — не согласился с ним Котошихин. — Особенно в моём теперешнем положении. А я должен объявить сейчас такое, о чём вы ещё никогда не слышали от христианина.

Пастор заинтересованно уставился на московита, а Гришка хладнокровно опорожнил чарку и осушил бороду ладошкой.

— Я так понимаю, что мне ещё предстоит исповедаться, когда буду зачислен в лютеранство, — сказал Котошихин. — Но ещё до этого я должен объявить вам, господин пастор, что у меня нет души.

— Как это нет души? — обеспокоено посмотрел на Гришку священник. — Она у каждого человека есть.

— В любом случае с некоторых пор я не ощущаю в себе её присутствия, она не даёт о себе знать даже малейшими проявлениями. Вот и думаю, что внутри у меня пустота.

— Когда же эта беда с вами случилась? — пастор весь обратился во внимание. — Есть, наверно, и причина, отчего всё началось?

— Думаю, что это от моего предательства, — мрачно вымолвил Котошихин. — Я преступил свою подьяческую присягу и выдал за деньги тайну великого государя шведскому послу. Я клялся на святом кресте и евангелии и преступил клятву. Тогда-то душа меня и покинула.

Пастору ещё не приходилось выслушивать подобного признания, он смутился, но покрепче сжал в руках молитвенник и вскоре обрёл потерянную было уверенность.

— Измена, пусть даже в пользу шведского короля, есть великий грех, — нравоучительно произнёс он. — От великого греха случилось и великое повреждение душе. Но она сейчас находится там, где ей и следует находиться, и ты её чувствуешь своим раскаянием.

— Нет у меня раскаянья, господин пастор, — уныло сказал Котошихин. — Я после своей измены стал другим человеком: думаю и вспоминаю о прежних днях, как будто это не я родился в Москве, служил в Посольском приказе, сошёлся с послом Эберсом. Таким, какой есть сейчас, я стал, когда передал шведскому послу отписку наказа царя послу Волынскому.

— Столь горячая обеспокоенность о своей душе внушает мне надежду, что вы не только по здравому размышлению решаетесь принять истинную веру, но и по зову самой души, — заключил пастор. — Вот вам и верное доказательство, что душа ваша не испарилась, а возжаждала обрести подлинную веру.

Однако Котошихин не меньше, чем душа, беспокоила будущность своего тела, и он, помявшись, задал свой главный вопрос:

— Мне известно, что в Швеции закон суров не только к приговорённому, но и к тому, что после него останется. Принимая лютеранство, я хочу иметь уверенность, что не буду стоять скелетом в университете.

Столь неожиданной просьбы пастор не ожидал услышать, но он ни чем не обнаружил своего удивления.

— Мы скоро продолжим нашу беседу, а пока мне нужно предупредить господина Хольма о вашем решении обрести лютеранскую веру. На это понадобится несколько дней, и казнь должна быть отсрочена.

Советник Хольм сидел в своём кабинете над только что оглашённым приговором Котошихину и придирчиво его вычитывал, отыскивая, не вкралась ли в решение суда какая-нибудь погрешность.

— Как там наш московит? — сказал он. — Последний наш клиент, душитель Бильт, потребовал, чтобы его накормили похлёбкой из бычьих хвостов. Что пожелал иметь на столе московит?

— Котошихин решил принять лютеранство, — тихо сообщил пастор. — Посему казнь надо отсрочить.

— Что ещё удумал сей неугомонный московит? — настороженно вопросил Хольм.

— К сожалению, ему известен закон об останках казнённых преступников, и он желает быть погребённым в земле.

— Вот незадача, — вздохнул Хольм. — Я не против, чтобы останки московита зарыли на краю кладбища для некрещёных младенцев, но на них нацелился доктор Рудберк. А он уже третий год мне надоедает с одним и тем же: когда будет казнённый труп? Но где я его возьму, если в эти три года в королевстве не случилось ни одного преступления, которое каралось бы смертью. Сейчас Рудберк ждёт пополнения для упсальского анатомического театра, но для Королевского суда мнение церкви станет решающим. Итак, ваше слово, господин пастор.

— Я должен сообщить о желании московита епископу, поскольку нахожусь в большом сомнении. Котошихин заявил, что с некоторых пор он не имеет души. Конечно, это его выдумки. Я знаю, что у шведов, датчан, даже у финнов, такого быть не может, чтобы у человека взяла и сама собой потерялась душа. Однако мы имеем дело с московитом, а о них у всей учёной Европы бытует мнение, что они не совсем такие люди, как мы, а их хвалёное православие суть византийское словоблудие и потёмки.

— Вопрос о загадочной русской душе находится вне компетенции Королевского суда, — сказал советник Хольм. — Казнь Котошихина будет отсрочена на две недели. Надеюсь, за это время вы сумеете отыскать у московита душу или окончательно удостоверитесь в её отсутствии.

…В первых числах ноября 1667 года лютеранин Григорий Карпович Котошихин при небольшом стечение публики, среди которой выделялся своим радостным оживлением доктор Рудберк, был обезглавлен. С его телом поступили согласно шведскому закону об останках преступников, и более тридцати лет Котошихин своим скелетом утолял жажду знаний студентов медицинского отделения Упсальского университета.

От безвестности Котошихина спас Олаф Баркгузен, который не забыл своего обещания и перевёл его книгу на шведский язык,

и её прочитали с немалой пользой для себя государственные мужи Шведского королевства. Затем книга была сдана в Королевский архив и пролежала там до 1838 года, пока её не обнаружил профессор Гельсингфорского университета Сергей Васильевич Соловьев, однофамилец известного русского историка.

Первое издание труда Котошихина вышло в России в 1841 году под названием «О России в царствование Алексея Михайловича. Сочинение Григория Котошихина». Затем последовали ещё несколько переизданий, но при советской власти книга не издавалась, хотя труд Котошихина является настольной книгой для русских и зарубежных историков, изучающих Россию XVII века.

Полотнянко Николай Алексеевич

ЖЕРТВА СЛАДОСТИ НЕМЕЦКОЙ

Редактор *Л. И. Полотнянко*
Дизайн обложки *О. Ю. Морозова*
Компьютерная вёрстка *Л. И. Полотняко*
Корректор *Е. С. Бармина*

Подписано в печать 17.08.2013
Формат 60х90/16. Гарнитура Times New Roman
Бумага офсетная. Усл. печ. л. 18,27.
Тираж 500 экз.